

Историко-литературный очерк  
Н. Белозерской,  
удостоенный Уваровской премии в 1893 году

Историко-литературное исследование «Василий Трофимович Нарезный» впервые напечатано в «Русской Старине» 1888 г., №№ 5, 6, 8; 1890 г. № 9 и 1891 г. №№ 5, 6, 7, 8; затем оттиски из «Русской Старины», с обширными рукописными добавлениями, были представлены, в 1892 году, в Академию Наук на соискание Уваровской премии. В сентябре следующего 1893 года историко-литературное исследование «В. Т. Нарезный» удостоено Уваровской премии, на основании разбора, составленного акад. К. Н. Бестужевым-Рюминым и напечатанного в «Отчете о тридцать пятом присуждении награды графа Уварова»

## ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ НАРЕЖНЫЙ

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«Русских романистов было много, а романов мало, и между романистами совершенно забыт их родоначальник Нарезный... Появление Булгарина в качестве романиста было упреждено появлением на том же поприще Нарезного, человека с замечательным и оригинальным талантом... (В. Г. Белинский, Соч., т. VI, стр. 68-69, т. XII, стр. 508) (1)

Со времени Белинского название «первого русского романиста» осталось за В. Т. Нарезным в нашей литературе. Равным образом, большинство рецензентов сочинений В. Нарезного признают в нем сильный самобытный талант, наблюдательность, оригинальный ум, творческую силу воображения, а также «познание сердца человеческого, искусство ловить комические черты, рассказывать просто, занимательно» и пр. (2). Но, в настоящее время, русской читающей публике приходится верить всему этому на-слово, потому что Белинский, занятый текущей литературой, должен был ограничиваться лишь общими обзорами ее прежней поры. Последующие критики еще менее обращали внимания на прошлое нашей литературы, так что к ним едва ли не в бóльшей степени применим упрек Гоголя, некогда обращенный им к русской критике в статье «О движении журнальной литературы»: «Нигде не встретишь, говорит он, чтобы упоминали имена уже окончивших поприще писателей наших... о влиянии их еще заметном. Наша эпоха, кажется, какбудто отрублена от своего корня, как будтоу нас вовсе нет начала, как будтоистория прошедшего для нас не существует»... (3).

Не подлежит сомнению, что знакомство с прошлым русской литературы значительно продвинулось вперед, благодаря капитальным монографиям и исследованиям, вышедшим в новейшее время, но пока разработаны только известные отделы и периоды. Многое осталось почти нетронутым, как, например, вопрос о постепенном развитии романической литературы в России и, другими словами, о времени возникновения переводного романа, перехода его в подражательный, а затем в более или менее самобытный. Естественно, что вместе с тем остался незатронутым и Нарезный. Историки общей литературы отвели сравнительно невидное место нашей первоначальной романистике и все, кроме А. Д. Галахова (4), по той или иной причине не сочли нужным заняться разбором и оценкой сочинений Нарезного. В биографических и энциклопедических словарях, даже наиболее пространных, или вовсе не упоминается о нем, или же мы встречаем самый краткий отзыв о «первом русском романисте», почти в одинаковых выражениях; — при этом обыкновенно упомянуты два-три его романа.

Между тем до сих пор почти во всех петербургских библиотеках для чтения можно встретить десять томов романов и повестей В. Нарезного изд. 1835-1836 гг. Кроме того, в 1814 г. был напечатан его замечательный, по тому времени, роман «Российский Жилблаз или похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова», приостановленный цензурой после появления третьей части, вследствие чего это сочинение уже в 1820 году составляло редкость (5). Затем В. Нарезный написал пять трагедий, не считая од, стихотворений, басен, драматических сцен, исторических повестей и рассказов, помещенных в повременных изданиях конца прошлого и начала нынешнего столетий.

Понятно, что при таком отношении литературы к нашему первому по времени романисту стала мало по малу забывать о Нарезном и русская читающая публика. В настоящее время не мало найдется образованных людей, которые едва знают о существовании Нарезного, хотя помнят имена многих современных ему, более мелких и даже бездарных писателей. Его случайные читатели могут теперь судить о нем только с эстетической, а не исторической точки зрения, особенно важной в данном случае, и не смотря на безусловную талантливость его произведений должны неизбежно находить их устарелыми, местами скучными, и быть может, даже лишёнными смысла. Они вправе упрекать его в тяжелом слоге и даже подчас в недостатке художественного вкуса, в чем, впрочем, упрекали его и современники, хотя эта слабая сторона таланта Нарезного была менее ощутительна для них, нежели для нас.

Причины такого неза заслуженного забвения со стороны литературы и публики довольно сложные, и настолько же зависели от общего состояния литературы и положения прозаических писателей в первую четверть настоящего столетия, как и от характера произведений Нарезного и условий его личной жизни. С разбора этих причин и уяснения вопроса, насколько Нарезный заслуживает название «родоначальника наших романистов» и что нового представляют его произведения, сравнительно с предшествующей романической литературой — начинаем наш историко-биографический очерк.

## I

В. Т. Нарезный, писатель последних годов прошлого и начала нынешнего столетия, начал свою литературную деятельность при самых неблагоприятных условиях для развития его таланта. Русский роман и повесть находились в зачаточном виде, и тогдашняя русская беллетристическая проза не представляла, в этом отношении, готовых образцов как по форме, так и содержанию. Приходилось прокладывать новый путь, и естественно, что, согласно общему ходу нашей культуры и подчас чрезмерному поклонению всему западному, наша романическая литература начала с рабского подражания западным образцам. Русская публика зачитывалась переводными иностранными романами и наши первые романисты должны были неизбежно следовать в своих произведениях господствующему вкусу и требованиям. Хотя во многих из них проглядывает очевидное стремление к сближению с русской действительностью, но это стремление выражалось пока в виде единичных и большею частью крайне слабых проблесков. В одном только «Российском Жилблазе», первом значительном произведении Нарезного, изданном в 1814 году, мы видим положительный поворот к созданию вполне русского романа. Но здесь, как и в двух позднейших лучших своих романах: «Бурсак» и «Два Ивана», Нарезный, в силу естественного закона постепенного развития, заплатил известную дань подражанию, хотя в неизмеримо меньшей степени, нежели кто либо из его предшественников.

Малоразвитая русская читающая публика конца XVIII и начала нынешнего века, встречая в подражательных романах и повестях, выдаваемых за «оригинальные российские сочинения», или рабское копирование иностранных произведений, или много общего с ними по форме, характером героев и героинь, равно и содержанию, могла легко смешивать их с последними и не замечать случайных самобытных черт. Этим только и можно объяснить, до известной степени, безразличное отношение тогдашней публики к нашей первоначальной романической литературе, кроме подражательных повестей Карамзина; значительный успех их, как нам кажется, главным образом, объясняется авторитетом, который приобрел Карамзин среди русской публики изданием «Писем русского путешественника» в 1791-1792 гг., судя по тому, что его первая сентиментально-любовная повесть «Евгений и Юлия», напечатанная года за два перед тем, прошла бесследно (6). Затем из четырёх повестей, помещенных в «Московском Журнале» 1792 года (7), больше всего посчастливилось «Бедной Лизе», которая настолько пришлась по вкусу большинства тогдашних читателей, что обратила на себя общее внимание. Об успехе ее можно судить из того, что семь лет спустя она не была забыта, хот взгляд на самого Карамзина значительно изменился, по крайней мере в людях известного направления, как видно из письма А. И. Иванова, соученика А. Х. Востокова по академии художеств и его близкого друга <sup>1)</sup>.

А. И. Иванов писал Востокову из Москвы от 15-го (24-го) августа 1799 года: «С 1792 года повесть о Бедной Лизе продолжает занимать всех. По приезде отправился осматривать место, очарованное пером Карамзина... Нашел я пруд, стоящий среди поля и окруженный деревьями и валами; опять севши я продолжал читать. Тетрадь чуть не вырвалась у меня из рук и не скатилась в самый пруд к великой чести Карамзина, что копия его во всем сходствует с оригиналом. Ныне пруд здесь в великой славе, часто гуляет около него народ станицами и читает надписи, вырезанные на деревьях вокруг пруда, и я читал их и не нашел ни одной пут-

ной; везде Карамзина ругают, везде говорят, что он наврал, будто Лиза утонула, никогда не существовавшая на свете. Есть, правда, их них и такие, кои написаны чувствительными, тронутыми сею жалкою историею, но оне жалки и писаны, кажется, петиметрашками...» В следующем письме, от апреля 1800 года, Иванов опять пишет о Карамзине: «Здесь так о нем худо говорят, что я потерял в нем половину прежнего почтения и любопытства его видеть, от того по сию пору не видел его... Мне кажется, что он был некогда таким, каким он по сочинениям своим казался, жил так, как в книжках пишут, пока не вступил в большой свет. Ему в доказательство можно поставить послание его к Дмитриеву... Ты, может быть, сию пьесу наизусть знаешь. Она, мне кажется, положила предел Карамзинской невинной жизни. С сих пор, он, видя, что она между людьми неуместна и находя себя имеющим право пользоваться мирскими благами, так как все пользуются, вырывая друг у дружки, стал жить как умный человек и пр. ... Ты хвалишь Нарезного, а я похвалю тебе князя Долгорукого, коего я читал недавно две или три пьесы в стихах, весьма прекрасныя, по моему мнению...» (См. «Сборник 2-го отделения Имп. Акад. Наук», т. V, вып. 2, стр. VIII-IX).

## II.

Продолжительное, почти исключительное господство различных видов стихотворства, драматической литературы, сатиры и басни, приучило русскую публику считать *писателями* только тех, которые подвизались на этом поприще, хотя она вообще не отличалась разборчивостью и подчас одинаково восхищалась первоклассными и мелкими поэтами, талантами и бездарностями. Такие писатели пользовались особенным уважением и всякий грамотный человек пытался быть стихотворцем, драматургом или баснописцем, тем более, что на занятие литературой смотрели как на приятное препровождение времени, свободного от службы и других серьезных дел. Особенно распространены были стихотворения и оды, которые появлялись по поводу самых разнообразных случаев и едва-ли не в большем количестве, нежели где-либо. Большинство наших известных тогдашних литераторов, как, например, Карамзин, Капнист, Крылов, Востоков и другие, писали, между прочим, и стихи, а у некоторых, как, например, Мерзлякова, стихи значительно преобладают над прозой (8). Равным образом и Нарезный, быть может под давлением господствующего вкуса в литературе, начал с писания од, стихотворений, драматических сцен и трагедий, как о том свидетельствуют его первые литературные опыты, помещенные в московских журналах: «Приятное и полезное препровождение времени» 1798 года (9) и «Иппокрена или Утехи Любословия» 1799 и 1800 гг. (10). Стихи Нарезного, повидимому, в свое время имели почитателей и в том числе Востокова, как показывает одна фраза в конце приведенного нами письма И. А. Иванова, от апреля 1800 года.

Между тем писатели-прозаики были далеко не в таком блестящем положении и не пользовались большим почетом. что, между прочим, подтверждается отзывом одного из них, который ещё в 1810 году жалуется на равнодушие и отсутствие поддержки со стороны читателей: «Публика причиной, говорит он, что многие с талантом и познаниями начали скучать упражнением в словесности и посвящают свои дарования государственной службе... одобрения и награда слабы, а досада и неудовольствия, сопряженные с состоянием писателя, так велики, что должно иметь самую страстную любовь к словесности, чтобы заниматься ею долго; я говорю о *прозаических писателях*» (11). Справедливость этого отзыва подтверждается современными известиями, из которых видно, что переводчики, особенно классических произведений, ставились на одну доску с оригинальными прозаическими писателями, а некоторые из них впоследствии даже приобрели известность, как, например, Мартынов, А. Алексеев, П. Голенищев-Кутузов, Ф. Пospelов, М. Невзоров, М. Глебов и др. (12). Какое значение придавали тогда переводам вообще, сравнительно с оригинальными произведениями, можно видеть из следующего отзыва издателя «Новостей русской литературы» Сохацкого в 1804 году: «Признавая чистосердечно наши словесные произведения (выключая весьма немногих привилегированных на бессмертие писателей), это, большею частью, только опыты. Но и птенцы перепархивают сперва с ветви на ветвь, пока укрепятся столько, чтобы смело пуститься в пространства воздушные»... Затем Сохацкий задает вопрос: «Переводы принадлежат-ли к новостям русской литературы?» и дает такой ответ: «По всему праву, если только они выработаны старательно, точно, чисто, с сохранением оригиналов» (13).

Почти все тогдашние писатели, не исключая и Нарезного, наряду с оригинальными произведениями, занимались в значительной степени переводами, которые были даже выгоднее с материальной стороны. Так, например, московские журналы, издававшиеся в большом количестве до 1812 года, отдавали в этом отношении преимущество переводчикам, которые одни получали плату, «хотя и скудную», что объясняется положением журналов, издаваемых, повидимому, из любви к искусству, судя по незначи-

тельному числу подписчиков (иногда менее 100 и не свыше 300), а также кратковременному существованию многих из них. Издатели тратились преимущественно на печать, бумагу и переводы, тем более, что оригинальные произведения и стихи доставлялись даром, «из чести быть напечатанными». Что же касается книгопродавцев, о невежестве и корыстолюбии которых говорит И. И. Дмитриев в своей автобиографии, то «они покупали и печатали переводы, платя за них по произвольной оценке и с согласия переводчиков, книгами из своей книжной лавки» (14). Но даже не принимая в расчет нравственных качеств и степени образования тогдашних книгопродавцев, можно предположить, что они более дорожили переводами, нежели подражательными романами и повестями. Известным ручательством успешного сбыта того или другого перевода служило для них имя иностранного автора, более или менее популярное среди русской публики, благодаря множеству издававшихся тогда переводных романов и повестей, не говоря о рукописной литературе.

### III

Помимо неблагоприятных литературных условий, равнодушия и непонимания со стороны публики, не менее должно было тормозить развитие начинающих доморожденных романистов и в том числе Нарезного, отсутствие надлежащей критики, которая была в таком же зачаточном виде, как и наша романтическая проза. Тогдашняя критика рассматривала сочинения, преимущественно, со стороны языка, строго преследовала всякое отступление от принятых правил пиитики и риторики и, в большинстве случаев, ограничивалась возгласами и отрывочными указаниями на неудачные слова и выражения. Рельефным образчиком такой критики служит рецензия 1804 года, за подписью «Неизвестный», представляющая разбор трагедии В. Нарезного «Димитрий Самозванец», напечатанной в Москве отдельной книгой в 1804 году.

«Правосудия, милостивые государи, правосудия! восклицает «Неизвестный» рецензент, обращаясь к редакции журнала «Северный Вестник» (15). «Вы добровольно взялись быть судьями нелицеприятными и показали на самом деле свое правосудие, я доставлю вам новый случай показать его»... После такого оригинального воззвания рецензент считает долгом сделать оговорку, что если его замечания покажутся ошибочными, то он просит «указать ему ошибки», а затем уже приступает к разбору трагедии «Димитрий Самозванец». Он особенно нападает на автора за отступление от правил, изложенных в книге аббата Batteux «Principes de Litterature» и указывает на главы о драме и трагедии:

«Всякое театральное сочинение, говорит он, разделяется на действия. Первое действие должно показать ясно, в чем состоит главное содержание, дать понятие о действующих лицах и кончиться, заставив зрителей внимательно ждать последствий. Место действия должно быть единственное... Места видов своих не переменяют. Но если сочинитель найдет себя принужденным переменять места, то, по крайней мере, должен он это сделать при начале действия, а не в середине, что совсем непозволительно»... При этом для большей наглядности следуют указания, в каких собственно сценах Нарезный отступил от принятых правил:

«Я читал две Шиллеровых трагедии в этом же роде, замечает далее рецензент, но "Самозванец" не может равняться ни с трагедией "Разбойники", ни с трагедией "Заговор Фиеска в Генуе"... Есть, однакож, в "Самозванце" прекрасные места!» восклицает затем рецензент и в подтверждение своих слов приводит довольно престранные выдержки из трагедии Нарезного, хотя без всяких объяснений, так что при чтении их невольно является вопрос: почему указанные сцены могли показаться «прекраснее» других.

Не менее своеобразен отзыв Неизвестного о слоге «Димитрия Самозванца» и его наставление сочинителю, которое служит заключением рецензии:

«Надобно много бумаги, говорит он, чтобы вписать все мои замечания на слог, которым написана сия трагедия. Скажу только, что я нашел множество непонятных выражений, как то: смотрит во все глаза, адом бьется сердце, сегодня ночью... везде га! и г-м! и множество других с непростительными ошибками против правил грамматики»,

«Вообще видно, что если г. Нарезный забудет расположение немецких трагедий, если прочтет "Principes" Batteux, согласится переделать свою трагедию, выбросить лишние разговоры и оставить необходимые для главного содержания, поправит слог и реже будет говорить о диаволах и сатанах, то напишет прекрасную трагедию». Подписано: «Неизвестный».

Однако, и в те времена, когда писались рецензии, подобные вышеприведенной, и печатались в журналах, так и позже встречаются единичные попытки более дельной и осмысленной критики, как, напри-

мер, П. Макарова, Каченовского, Л. Неваховича, Е. Станевича, Д. Дашкова, Писарева, Мерзлякова, Строева и других, между которыми видное место занимает разбор книги Шишкова «О старом и новом слоге русского языка», написанный Макаровым (16). Но такие единичные случайные явления не могли иметь прочного влияния на нашу литературу, как это сознавали и тогдашние критики, судя по словам Макарова, приведенным Н. Гречем (17): «Критика наша не для авторов и переводчиков, а единственно в пользу тех любителей чтения, которые для выбора книг не имеют другого руководства, кроме газетных объявлений».

#### IV

С другой стороны не малым препятствие для развития критики могло быть и то условие, что тогда по принципу не допускались какие-либо нападки на признанных писателей и господствовал такой взгляд, что «чтобы судить об авторе отличном, нужно быть таким же». Еще в 1815 г. А. Ф. Мерзляков, профессор поэзии и красноречия в московском университете (с 1804 по 1830 г.), приступая к разбору «Россияды», поэмы Хераскова (18), должен был сделать в этом отношении ряд оговорок и доказывать необходимость критики: «Хотите ли, говорит он, чтобы число авторов умножилось (?). Будьте к ним внимательнее. Еще скажу, разбирайте их и не осуждайте разборов. Писатель никогда не достигнет совершенства, когда публика не в силах будет судить о них. Критика благоразумная раздражает его честолюбие и побуждает к великим усилиям: равнодушие наше убийство словесности. Публика и писатель взаимно друг друга совершенствуют» и пр. Но наряду с таким прогрессивным взглядом Мерзляков высказывает следующее мнение: «Разбор посредственных писателей, не возмогших действовать на умы и сердца, есть разбор без цели. Они не приносят ни малейшей пользы, не представляя ни красот высоких, достойных подражания, ни недостатков, увлекающих еще неутвержденный вкус молодых людей»...

Вообще должно заметить, что разбор «Россияды» очень характерен, как для обрисовки состояния критики одиннадцать лет спустя после приведенной нами рецензии «Неизвестного» 1804 года, так и самого Мерзлякова, не раз называемого в литературе *нашим первым* (по времени) *критиком*. Любопытны его постоянные колебания между тем, что предписывала «теория» и чего ей недоставало; старая привычка к классицизму слишком часто пересиливала в нем чувство изящного; он опасался всяких нововведений и литература опередила его; еще при жизни его явились новые критики, более соответствующие духу времени, как кн. П. А. Вяземский и Марлинский (А. А. Бестужев).

Мерзляков, изложив в своем разборе содержание «Россияды», рассуждает о том, насколько предмет, избранный Херасковым, «есть совершенно предмет эпической и достойной бессмертной эпопеи», и ссылаясь на пример Гомера и других классических писателей, говорит о необходимости «единства действия», находит недостатки «в изобретении, содержании и в расположении», равно и в описании «чудесного». В то-же время, делая попытку разбора характеров лиц, изображенных в поэме, он трактует о правилах Аристотеля и правилах эстетики вообще, а затем, переходя к слогу, распространяется о соблюдении «постепенности», напоминает, что для оживления повествования необходимы противопоставления, сравнения и уподобления и пр.

В этом же разборе, по поводу «Россияды», Мерзляков высказывает свой взгляд на романы вообще и на их главную задачу: «Сладкие чувства родства, дружбы, любви, великие пожертвования, добродетели и пороки, прелестные виды природы, картины, доставляемы прошедшим и настоящим: все это вместе составляет запасный магазин романиста. Хорошо, когда бы романы всегда устремлены были к доброй цели, когда бы писали их Ричардсоны и Филдинги! — Хорошо, когда бы романы могли служить к величайшей цели жизни, приобретаемой наукой, к познанию нас самих, способствовали бы к образованию нашей нравственности»...

В виду такого взгляда, а также основываясь на аналогии, мы решаемся высказать предположение, что если бы Мерзлякову пришлось разбирать которое либо из романических произведений, хотя бы «Жилблаза» В. Нарезного, вышедшего за год перед тем, то он прибегнул бы к тем же критическим приемам, как и в рецензии поэмы Хераскова. Правила принятой тогда теории изящного, вероятно, играли бы немалую роль в его разборе, равно и слог, который еще в 1815 году, судя по его собственному отзыву, продолжал быть спорным вопросом в русской литературе: «Одни, говорит он, укоряют других в

излишнем употреблении слов славянских, а другие в излишнем отступлении от славянского и в ослаблении языка»... (19).

Не подлежит сомнению, что тогдашнее неудовлетворительное состояние критики уже не могло иметь такого большого значения в области нашей сатиры, стихотворной поэзии, драматической литературы и басни, из которых каждая достигла известной, довольно значительной степени развития, имела, так сказать, свою историю, сложившуюся постепенно, в течение многих лет. Молодой писатель, выступающий в этом направлении, чувствовал под собою почву, находил опору в готовых традициях и, внося новое в свои произведения, пользовался результатами опыта своих предшественников. Молодые таланты встречали непосредственную поддержку со стороны живущих и отживающих знаменитостей, которые, в большинстве случаев, относились с патриархальным добродушием к своим преемникам и становились их добровольными руководителями.

Совсем в ином положении были наши первые прозаические писатели романов и повестей. Здесь не было прошлого, не было ни истории, ни готовых традиций; существовавшие правила творчества, преподаваемые теорией словесности, могли только стеснять авторов и задерживать их развитие; приходилось им создавать самую манеру писания, находить новые сюжеты для содержания, выработать форму, даже слог.

## V

Тяжеловесный, в значительной мере искусственный язык Ломоносова, с его полуславянскими, полулатинскими и немецкими оборотами речи, продолжал господствовать в нашей литературе конца XVIII века, хотя сильно видоизмененный последующими писателями, то в лучшую, то в худшую сторону. Этим языком (за исключением Карамзина и его подражателей) писали все русские беллетристы того времени, не исключая Нарезного, как видно из его первых произведений, помещенных в упомянутых московских журналах: «Приятное и полезное препровождение времени» 1798 г. и «Иппокрена или утехи любословия» 1799 и 1800 гг. В этих журналах принимали также участие некоторые из университетских товарищей В. Нарезного и, между прочим, воспитанники московского благородного пансиона, имевшие с 1800 года свой печатный орган, в котором исключительно помещались их труды (20).

Слог Нарезного, как в переводах, так и в оригинальных произведениях, напечатанных в двух названных журналах, не представляет никаких резких отличий или особенностей, сравнительно с другими сотрудниками. Направление его также пока не определилось; он находится под непосредственным влиянием классиков, изучаемых в университете, заметно подражает Державину в своих стихотворных опытах. Но в этих юношеских произведениях видны проблески сильного таланта, полная ясность мысли и отсутствие сентиментальности.

В то же время, сравнительно значительное количество его литературных опытов, помещенных в том и другом журнале, служит доказательством, что на него смотрели, как на молодого писателя, подающего большие надежды. Но литературное занятие в те времена не представляло никакого материального обеспечения для писателя и не могло сделаться профессией для такого бедняка, каким по всем данным был Нарезный. Едва окончив университетское образование в 1801 г., он поступил на службу «при письменных делах» в новооткрывшееся «Грузинское правительство» и уехал на Кавказ, где находился до половины мая 1803 года.

Таким образом В. Нарезный на двадцать первом году своей жизни, прямо с университетской страны, был перенесен в полудикую страну, в чуждый для него канцелярский мир и должен был приняться, в качестве мелкого чиновника, за обязательную механическую работу, не имевшую ничего общего с свободными литературными занятиями. Этот внезапный переход и в особенности удаление из Москвы, представлявшей до 1812 г. средоточие умственного и литературного движения тогдашней России, было крайне неблагоприятно для развития его молодого, неокрепшего, хотя и несомненного таланта. Он был слишком рано оторван от образованной среды, окружавшей его во все время, проведенное им в московской гимназии и в университете, лишен книг и общения с людьми, которые могли поддержать его в первую пору литературной деятельности и быть до известной степени его руководителями и критиками (21). В Москве жили Карамзин и Дмитриев, около них вращалось все лучшее в литературе и группировались молодые таланты, для которых их приговор имел решающее значение. Не мало было и других домов, где при патриархальном гостеприимстве «допожарной» Москвы сходились литераторы разных по-

колений, как, например, дом князя А. И. Вяземского (отца писателя), Нелединского-Мелецкого, Иванова, мало замечательного писателя, но радушного хозяина, имевшего много приятелей среди литераторов и др. Вообще оживлению общественной жизни тогдашней Москвы в значительной мере содействовало влияние старейшего из русских университетов, чтение публичных лекций, на которые собиралась многочисленная публика, а также значительное количество издававшихся журналов.

С отъездом В. Нарезного из Москвы, насколько нам удалось проследить, прекращается его участие в московских повременных изданиях. Мы не встречаем его имени даже в «Новостях Русской Литературы», изд. от 1802 до 1805 г., хотя этот журнал составлял собственно продолжение «Иппокрены», где Нарезный был деятельным сотрудником. Между тем участие в журналах имело тогда немаловажное значение для начинающих писателей, особенно прозаиков, если они не находились под непосредственным покровительством которого либо из литературных корифеев. Это был для них едва ли не единственный путь для приобретения известности, судя по тому, что этим способом выдвинулись многие из товарищей Нарезного по гимназии и университету, а также некоторые из его сверстников. В числе подобных примеров мы можем указать на талантливую, но рано умершего А. Бенецкого, автора так называемых «восточных повестей», нигде не писавшего, кроме журналов, и на П. Львова, бездарного, но плодовитого сочинителя подражательных романов и повестей, начавшего свою литературную деятельность в разных журналах.

Время, проведенное В. Нарезным на Кавказе, а затем водворение в Петербурге, совершенно чуждом для него городе, и почти непрерывная служба в качестве мелкого чиновника разных ведомств, были для него большой помехой к приобретению известности и окончательно укрепили его литературную отчужденность. Предоставленный самому себе и собственным силам, он очутился вне какого бы то ни было влияния вообще и в частности того или другого писателя. Если при этих условиях талант его мог выиграть в смысле самобытности и оригинальности, то с другой стороны, как литературный самоучка, он впал в крайности, свойственные в большей или меньшей степени всем самоучкам, даже наиболее скромным из них. У него явилась слишком большая уверенность в собственных силах и связанные с нею упорство и неподатливость, близкие к застою. Нарезный не хотел делать никаких уступок господствующим литературным взглядам, неизбежному прогрессу времени, даже там, где они были необходимы до очевидности. Отсюда происходит, как нам кажется, недостаточная выработка в нем художественного вкуса, отсутствие меры, тяжелый, подчас невозможный слог, особенно в его позднейших произведениях, сравнительно со слогом других современных писателей, даже самых посредственных.

## VI

В. Нарезный приехал в Петербург в 1803 году, в пору раздвоения, вызванного появлением в нашей литературе «Писем русского путешественника» (22) и повестей Карамзина, написанных новым языком. Весьма возможно, что это раздвоение прошло бы незаметно и с течением времени кончилось бы образованием единого литературного языка, видоизменяемого субъективными особенностями различных писателей. Но такому естественному ходу развития языка помешала несвоевременная и слишком усердная защита старины, в лице вице-адмирала А. С. Шишкова, выступившего в 1803 г. с своим известным «Рассуждением о старом и новом слоге российского языка». Шишков в качестве ветерана между литераторами и академиками и восторженного поклонника Ломоносова, Сумарокова, Хераскова и Державина, считал себя призванным бороться против ложного вкуса, начинавшего проникать в нашу литературу. Он горячо напал на последователей нового карамзинского слога и впал в другую крайность, вследствие своего чрезмерного пристрастия старине и к славянскому языку, чем вызвал не менее жестокие нападения со стороны своих противников.

Образовались два враждебных лагеря, одинаково беспощадных и нетерпимых друг к другу, но В. Нарезный не примкнул ни к одному из них и продолжал идти своим путем. Чуждый ходульности, фразы, сентиментальности, искренний и реальный до простодушия, хорошо знакомый с темными сторонами русской действительности, Нарезный не мог сочувствовать бедности содержания подражательных повестей Карамзина, их салонной искусственности, напускной слезливости и театральному изображению лиц, особенно крестьян. Не мог нравиться ему и самый слог повестей и писем Карамзина, легкий, удобочитаемый, но переполненный галлицизмами, составлявший полную противоположность его собственному, выразительному, хотя и грубому языку.

Но как нередко бывает в подобных случаях, Нарезный, увлекаемый недостатками модного литературного направления, не хотел видеть хороших сторон Карамзинского слога, который, при всех своих погрешностях, заключал задатки самобытного развития, как это мы видим в сочинениях некоторых молодых последователей Карамзина. Так, например, Беницкий, П. И. Макаров, Подшивалов, М. Н. Муравьев, по справедливости, считались в свое время хорошими стилистами; их произведения вообще легко читаются до сих пор и не представляют резких шероховатостей языка.

Наряду с этим, по многим данным, Нарезный совершенно не разделял литературных вкусов петербургского шишковского кружка и его пристрастия к славянской речи, как видно из его слов в предисловии к первой части «Российского Жилблаза»: «Славянский язык, говорит Нарезный, бесспорно высок, точен, обилен; однако-ж, тот из нас, кто, стоя перед красавицею, будет нежить слух ее названиями: лепообразная дево! голубице, краснейшая рая, — едва ли не должен быть почтен за сумасброда, а такие витязи и до сих пор у нас находятся и не без последователей! ...» Наконец, Нарезный и в самом тексте «Жилблаза» выставил в уродливо-комическом виде одного из любителей славянщины, под именем Трисмегалова (23), нелепые типы которых он мог наблюдать в Петербурге, где шишковское направление должно было неизбежно породить их.

## VII

В 1809 году вышла первая часть «Славенских вечеров» Нарезного, представляющая ряд исторических поэм, писанных прозой, которые встретили самый лестный отзыв в «Цветнике» того же года, антишишковском журнале, издаваемом сторонниками нового литературного направления (24). Безымянный рецензент, в числе других похвал, распространяется о слоге Нарезного, находит его «величественным, чистым, плавным» и в заключение говорит, что «Славенские вечера» «могут служить образчиком чистоты языка и хорошего слога».

В следующем году Нарезный представил издателям «Цветника» две новые повести: «Георгий и Елена» и «Анастасия», тогда же напечатанные в журнале (№№ 2 и 7) и составляющие как бы продолжение повестей, изданных под общим именем «Славенских вечеров». Насколько последние вообще ценились в данное время, можно видеть из того, что Н. И. Греч в своей книге «Избранные места русских сочинений и переводов» 1812 года, приводит, в числе лучших образцов русской прозы, выдержки из повести В. Нарезного «Кий и Дулеб», вошедшей в состав первой части «Славенских вечеров», напечатанной в 1809 году (25).

Между тем «Славенские вечера» Нарезного, повидимому, написанные им под непосредственным впечатлением «Слова о Полку Игореве», впервые переложенного на современное наречие Мусиным-Пушиным в 1800 году и обратившим на себя особое внимание нашей тогдашней литературы (26), едва ли могут быть названы удачными. Самая мысль подделаться под тон «Слова о Полку Игореве» в ряде эпических поэм, написанных прозой, кажется нам неверной. Нарезный, старательно подражая древнему памятнику, становится натянутым и искусственным, извращает свой язык и портит общее впечатление, которое могли бы произвести прекрасные изображаемые им картины, художественные и поэтические выражения.

С другой стороны, сравнительный успех «Славенских вечеров» и похвалы, возданные слогу, которому в те времена придавалось такое важное значение, не замедлили отразиться на слоге его дальнейших произведений и в дурную сторону, особенно в слабых и подражательных местах, потому что в лучших, увлекаемый силой своего таланта, он давал волю перу и писал так, как думал и говорил.

## VIII

После напечатания двух упомянутых повестей в «Цветнике» 1810 года, имя В. Нарезного на некоторое время опять исчезает из современной литературы, хотя деятельность его, повидимому, не прекращалась, так как, по свидетельству Н. Греча, до 1812 года им уже были написаны три трагедии: «Лелена», «Светлосан» и «Святополк», а также его роман «Российский Жилблаз». Что касается трагедий, то в виду такого опасного соперника, каким был Озеров, едва ли кто из тогдашних книгопродавцев решился бы издать их, а сам он не мог позволить себе такой роскоши при своих скудных средствах, а тем менее мечтал о постановке их на сцену при отсутствии каких либо связей и вероятного неумения находить «протекцию».



«Российский Жилблаз», о котором мы скажем подробнее при общем разборе сочинений Нарезного, появился только в 1814 г., но был запрещен цензурой по выходе третьей части, чем объясняется молчание о нем современных газет и журналов.

Едва-ли можно сомневаться в том, что приостановка «Российского Жилблаза», безусловно первого русского романа, была тяжелым ударом для автора, предпринявшего совсем новую работу, о трудности которой мы едва-ли можем себе составить даже приблизительное понятие.

Удар этот был особенно чувствителен для Нарезного, так как за год перед тем он оставил канцелярскую службу в горной экспедиции Кабинета и в случае успеха «Российского Жилблаза», мог бы хотя на время посвятить себя исключительно литературному труду и «досуги свои проводить с единственным для него удовольствием»<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> См. посвящение В. Нарезного Петру Александровичу Буцкому в первой части «Славенских вечеров», изд. в Спб., 1809 года.

Как бы то ни было, весной 1815 года он опять поступает на службу, а именно в инспекторский департамент, преобразованный в следующем году и вошедший в состав главного штаба. Хотя здесь, в качестве столоначальника, он получал большее жалование, нежели где либо (1200 р. ассиг.), но, по видимому, все еще находился в стесненном материальном положении. По крайней мере, в 1818 году, быть может в связи с какими либо семейными обстоятельствами, он был вынужден прибегнуть к общественной благотворительности, хотя «пособие» было выдано ему «за представленное им сочинение».

В 1816 году кружок молодых литераторов при участии гр. Д. И. Хвостова, А. И. Крылова, и О. Н. Глинки положил основание «Вольному Обществу Любителей российской словесности» (27), которое в 1818 начало издавать журнал под названием: «Соревнователь просвещения и благотворения», в котором приняли, между прочим, участие Жуковский, Крылов, О. Глинка, кн. И. Долгорукий, Гнедич, К. Батюшков. Цель издания журнала была благотворительная, как видно из следующего объявления, напечатанного на обертке: «Вся выгода, приобретенная от издания, определяется на вспоможение тем, которые, занимаясь науками и художествами, требуют подпоры и призрения. Вдовы их и сироты обоего пола имеют равно право на пособие общества, которое для этой цели будет издавать полезные сочинения и переводы классических писателей»... Затем следует обращение к великодушию соотечественников, которые, по видимому, не замедлили своими пожертвованиями, судя по тому, что в том же 1818 году общество, на основании второй части устава, приступило к выдаче пособий.

В числе первых «пособий» этого года было выдано коллежскому ассесору В. Т. Нарезному, за представленное им сочинение, 300 руб.<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Остальные пособия, выданные как в этом, так и следующих годах, безымянные; так, например, сказано: «выдано пособие несчастному чиновнику» (вероятно, литераторствующему) или «выдано вдове художника», стольким-то «беднейшим семейства ученого звания», «на воспитание детей» и проч.

Неизвестно, относилось ли это к повести «Игорь» (и второй части «Славенских вечеров», прочитанной им в публичном заседании общества 20 мая 1818 г.) или за славенские повести, напечатанные в «Соревнователе», а именно: *Любослав* (№№ XI и XII, 1818 г.) и *Александр* (VII, 1819 г.). Замечательно, что при этом Нарезный, как видно из протоколов общества, не был записан в число членов, хотя в 1819 году приняты были в члены-сотрудники за представленные ими сочинения и переводы барон А. А. Дельвиг и серб Вук Степанович (Караджич)<sup>2)</sup>.

<sup>2)</sup> За год перед тем, в 1818 году, барон А.И.Дельвиг [опечатка; речь об Антоне Антоновиче] удостоился той же чести от «Вольного общества любителей наук, словесности и художеств», которое выбрало его в свои члены.

Участие Нарезного в «Соревнователе просвещения и благотворения» (изд. 1818–1820 гг.) ограничилось двумя упомянутыми повестями: «Любослав» и «Александр». Что же касается другого издания общества, а именно «Трудов вольного общества любителей российской словесности» (изд. с 1820 по ноябрь 1825 г.), в котором наряду с Жуковским, Крыловым, кн. Шаховским, Востоковым, О. Глинкой и друг. встречаются имена многих молодых входивших в силу писателей<sup>1)</sup>, то здесь мы не встретили ни одного произведения Нарезного.

<sup>1)</sup> Из них названы В. К. Кюхельбекер, кн. П. А. Вяземский, И. И. Лажечников, М. Н. Загоскин, еще не писавшие романов в то время: Булгарин (переводы), Н. Греч, барон Дельвиг, Е. А. Баратынский, П. А. Плетнев, К. О. Рылеев, Н. М. Языков и, наконец, в 1825 году, А. С. Пушкин (см. № 2).

Этот факт сам по себе, не говоря уже о полном умалчивании со стороны критики, может, как нам кажется, служить доказательством, что повести Нарезного, составлявшие продолжение прежних «Славенских вечеров» и ни в чем не уступавшие им, далеко не встретили такого лестного приема, как в 1810 г. Причина этого достаточна понятна: главный недостаток новых повестей Н. Нарезного заключался в том, что они ничем не отличались от старых и должны были показаться «отсталыми» сравнительно с другими произведениями тогдашней литературы, вступившей в новый фазис развития. Время как будто не коснулось Нарезного, не внесло никаких изменений в его сочинения, ни по форме, ни по способу изложения. Живя вне общества и литературы, старыми традициями, он продолжал писать так, как писал прежде. Ряд неудач, тем более ощутительных для него при вероятном сознании присущего ему сильного таланта, однообразная чиновничья жизнь, связанная с материальными лишениями, в тесном кругу приятелей, единственных ценителей его произведений, не могла располагать его к уступкам веянию нового времени.

## IX

Между тем русское общество в короткий промежуток нескольких лет пережило целую эпоху, благодаря своему непосредственному участию в политических событиях Европы. Напряженное политическое воодушевление 1812 года, охватившее всю Россию, ненависть ко всему французскому, дико выразившаяся даже в некоторых представителях интеллигенции, уступило место не менее дикому самохвальству, после изгнания неприятеля из Москвы, как это мы видим на литературе того времени. Но все изменилось в конце борьбы с Наполеоном, русское общество, вместе с пробуждением национального самосознания, обратило внимание на задачи внутреннего развития, чему не мало способствовало влияние русской военной молодежи, вернувшейся из-за границы с запасом новых идей и понятий. Подняты были небывалые вопросы о народности, требованиях века; газеты и журналы получили общеевропейский характер и стали заниматься тем, что происходило в других странах, особенно во Франции; самое число читателей значительно увеличилось.

Литература перенеслась в Петербург и вступила в новый фазис развития. Новые силы и знаменитости заняли место старых авторитетов, которые считались непогрешимыми. А. Пушкин, Баратынский, Дельвиг, Козлов, Рылеев и другие поглотили общее внимание; стихи их выучивались наизусть, распространялись в рукописях, вместе с Грибоедовским «Горе от ума», не пропущенным тогдашней цензурой. Поэзия опять вытеснила только что нарождавшийся роман. Блестящая, изящная по форме, богата талантами и материальными средствами, она водворяется в аристократическом салоне, который в те времена представлял, по словам П. А. Плетнева, средоточие высшей образованности, знакомства с европейской литературой и развитого вкуса.

Литература, а за нею и общество заговорили другим языком; художественный язык, благозвучность стихов Пушкина и его сверстников должны были до крайности развить а этом отношении требовательность русской публики. Хотя и в это время еще не вымерли последние могикане Шишковского направления и ещё в 1825 году заявляли о своем существовании <sup>1)</sup>, но во всяком случае число их не было значительно и они не могли иметь влияния на господствовавшее тогда направление литературы.

<sup>1)</sup> Так, «кружок любителей отечественной словесности» при издании своего «Собрания новых русских сочинений и переводов в прозе» (СПб, 1825 г., две части) сочло полезными напечатать в «Собрании» *несколько старых прозаических и стихотворных сочинений* с следующей оговоркой в предисловии: «Стихи Кантемира и Петрова и теперь имеют цену; проза Ломоносова, Хераскова, Козицкого, Гамалея и Подшивалова и теперь еще обворожает слух, пленяет воображение и убеждает разум»...

При этих условиях и пришлось выступить Нарезному, еще не вполне признанному, но уже за бытому писателю. Каким резким диссонансом, как бы отголоском другого отжившего мира, среди общего поклонения форме и художественности, в эту самую блестящую пору славы Пушкина, — должны были показаться «Новые повести» В. Нарезного, появившиеся в 1824 году и написанные тяжелым, неудобочитаемым слогом «Славенских вечеров». Несмотря на их несомненные достоинства, на богатство и новизну содержания, верность изображения действующих лиц и русской жизни, публика холодно встретила их и даже, быть может, весьма немногие прочли их. Та-же судьба постигла и другие, вышедшие затем более значительные произведения В. Нарезного, как «Аристион» и два лучших его романа: «Бурсак» и «Два Ивана»; а сатирический посмертный роман его «Черный год или Горские князья» остался

непонятным и вызвал резки отклик в «Атене» (28). Остальные весьма немногие рецензенты, удостоившие отзывами произведения В. Нарезного, отдавая полную справедливость его дарованию, нападали на «грубый необработанный вкус», «грязный колорит картин», «неприятный дикий язык» и проч. А. А. Бестужев (29) замечает, что повести г. Нарезного «имели бы в себе много характеристического и забавного, если бы в их рассказе было поболее приличия и отделки, а в происшествиях поменее запутанности и чудес». А. Е. Измайлов, извещая в своем журнале «Благонамеренный» о выходе «Бурсака» (30), называет его «самым лучшим из всех, вышедших до сего времени на русском языке оригинальных романов, не смотря на многие небрежности в слоге, погрешности против языка». Наконец, рецензент «Северной Пчелы» (31) в своем разборе романа «Два Ивана или страсть к тяжбам» говорит, что «Нарежный по оригинальности новейших своих произведений, по дару вымысла и немаловажному искусству тонко и умно связывать происшествия, стал бы наряду с почетными русскими литераторами. Теперь же известность его ограничена, и если бы кто сказал, что он имел больше дарований, нежели сколько имеют многие, по мнению приятелей, знамениты литераторы, то сказал бы тот совершенную правду и, однако-ж, ему не поверили бы. Отчего же? Вместо ответа предлагаю сравнение: всякий заметит отступление от приличий, но всякий ли в силах разгадать нравственный характер?»...

## Х

Мы указали, вследствие каких причин Нарезный не был признан современниками, которые стали заживо забывать его, а за ними забыла и последующая литература и потомство. Теперь нам предстоит уяснение не менее важного вопроса: насколько Нарезный заслуживает название «родоначальника наших романистов» и что нового представляю его произведения, в сравнении с предыдущей романической литературой.

Но выводы наши получают некоторую наглядность только в том случае, если мы бросим общий взгляд на русскую романическую литературу, и не только ту, которая непосредственно предшествовала Нарезному, но и более раннюю.

Только при таком обзоре разнохарактерные произведения Нарезного будут вполне понятны для нас и явится возможность отличить подражательные и так называемые наносные элементы от того, что эти произведения представляют нового и самобытного. Мы однако затронем этот вопрос лишь насколько считаем это безусловно необходимым для нашей задачи и начнем с переводного романа.

В настоящее время при широком развитии самобытной русской литературы, мы едва ли можем себе представить степень распространения и значение, какое имела у нас переводная романическая литература, в течение нескольких десятков лет, начиная с 60-х годов прошлого столетия. Между тем, наш печатный переводной роман не был новым явлением в русской умственной жизни того времени, а представлял продолжение более ранней и весьма обширной рукописной литературы, изучению которой посвящены труды: А. Веселовского, Л. Майкова, А. Пыпина, Н. Тихонравова и др. Рукописные «повести, переведенные в XV, XVI и XVII вв., целиком переходят в Петровское время, а содержание в более разнообразных формах передано XVIII веку и составляет важнейшее достояние его литературы в первую его половину» (32).

Эта ранняя литература, судя по старинным лубочным изданиям и уцелевшим остаткам, дошедшим до нас в рукописях, заключала несравненно более народных элементов, чем позднейшие печатные переводы. Рукописный переводной роман носил характер более или менее самобытной обработки на русский лад в виде извлечений и цельных пересказов, что уже само по себе должно было способствовать развитию русского романического творчества. В связи с этим встречаются попытки самобытной русской повести, как, напр.: «Новгородских девушек святочный рассказ, сыгранной в Москве свадебным», «Фрол Скабѣев» и «Похождения Ивана Гостиного сына», хотя в последней повести очевидно заимствование из иностранного образца.

При значительной дороговизне и ограниченном числе книг еще в 70-х годах прошлого столетия, печатные книги русские и иностранные проходили через множество рук; и цдлые тома по свидетельству современников тщательно переписывались. Поэтому книги являлись роскошью доступной для немногих; остальная читающая публика должна была довольствоваться рукописью, вследствие чего помимо добровольных переписчиков были и такие, для которых переписка повестей и романов составляла ремесло. Так, М. Чулков, наш первый собиратель этнографического материала, сообщая в своем

журнале «И то и сь» 1769 года (март, стр. 5), притчу, слышанную им от подьячего, передает о нем следующие подробности: «По прекращении приказной службы, кормит он голову свою переписыванием разных историй, которые продаются на рынке, как-то например: Бовы Королевича, Петра золотых ключей, Еруслана Лазаревича, о Франце Венецианине, о Герионе, о Евдоне и Берфе, о Арзасе и Размаре, о российском дворянине Алексаедре, о Фроле Скабѣеве, о Барбосе разбойнике и прочие весьма полезные истории и сказывал он мне, что уже сорок раз переписывал историю «Бовы Королевича» ибо на оную бывают большие походы, нежели на другие такие драматические сочинения».

Не подлежит сомнению, что за последние двадцать пять лет прошлого столетия при быстром увеличении книгопечатания и книжкой торговли, о котором свидетельствует Карамзин (33), должно было мало помалу уменьшиться количество рукописей, отчасти вошедших в печатные сборники конца XVIII века. С другой стороны *печатная* переводная и подражательная повесть, представляя более живой интерес для тогдашних русских «сочинителей», в виду большего круга читателей, могла группировать около себя лучшие силы возникающей русской беллетристики, оставив рукопись в руках неумелых сочинителей, переводчиков и переписчиков. Эти условия невыгодные для дальнейшего развития рукописной литературы, должны были отразиться и на содержании рукописной повести, которая не удовлетворяя более требованиям значительного числа прежних читателей, становилась все более и более достоянием народной литературы. Отечественная война 1812 года могла только ускорить исчезновение рукописи, так как в это время в Москве погибло множество драгоценных списков в общественных и частных книгохранилищах, а равно и запасы рукописей на рынке, у лиц, для которых она представляла предмет торговли.

## XI

Влияние предшествовавшей рукописной литературы особенно заметно на нашем печатном переводном романе второй половины прошлого столетия, который продолжается в том-же направлении. в нем еще долго проглядывает стремление переводчиков к русификации, в переделке иностранных имен и географических названий в русские имена и названия и в неумелых вставках на русский лад. Хотя в печатных переводах мы не встречаем такого смелого, чисто народного пересказа содержания иностранного сочинения, но продолжается то-же бесцеремонное отношение к подлиннику, в виде умалчивания фамилии иностранного автора, переименования заглавий переводимых сочинений до полной неузнаваемости и т. п.

Наша *печатная* переводная литература начинается собственно при Петре Великом и сразу получает значительное развитие. Но среди множества ученых, учебных классических и других книг и даже лубочных изданий мы не встречаем вовсе переводов беллетристико-романического содержания. В последующие царствования до 1756 года при общей поразительной скудости русской литературы вообще и сравнительном процветании разного рода драматических произведений появилось очень мало переводных романов. Так в течение тридцати одного года после Петра Великого издано всего пять романов<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> 1730. Ёзда в остров любви. Пер с фр. В. К. Тредиаковского. Спб. Перевод книги: “Le voyage de l’isle d’amour à Lycidas”, par Paul Tallement.

1747. Похождение Телемака, сына Улиссова, соч. Фенелона. Перевод с франц. Спб.

1751. Аргенида, повесть героическая, сочиненная Иоанном Барклаем. Пер. с лат. В. К. Тредиаковского. Спб.

1752. История о княжне Иерониме. Пер. с фр. Ив. Шишкиным. Спб.

1754. Похождения Жильблаза де-Сантилланы, соч. Лесажа. Пер с фр. Василий Теплов, 4 части. Спб.

С 1756 г. по 1814 год мы пользовались исключительно «Росписью российских книг» А. Смирдина, изд. в 1828 г. и *два* к ней «Прибавлениями» (1829 и 1833), тем более, что сюда внесена, как известно, более ранняя «Роспись» Плавильщикова 1820 года. Весьма возможно, что Смирдинская «Роспись» неполна и многие книги пропущены; но цифры, взятые из года в год почти за шестьдесят лет, должны были неизбежно дать хотя приблизительные, но более или менее верные общие выводы.

Судя по «Росписи» Смирдина, с 1756 года до вступления на престол Екатерины II в 1762 г., напечатано только восемь переводных романов с французского языка, и если мы допустим, что такое же количество не занесено в «Роспись», то все-таки их окажется немного. За бедность печатной переводной романтической литературы, в это время, говорит, между прочим, то обстоятельство, что переводы до напе-

чатания могли представляться для просмотра в Академию Наук, как это мы видим из примера «Аргениды»<sup>2)</sup> В. К. Тредиаковского в 1750 г., который при этом нашел приличным посвятить свой перевод императрице (34). Но вообще, какие бы ни были причины малочисленности печатных переводных романов, они не могли заключаться в недостатке поощрения со стороны правительства, по крайней мере, в царствование Елизаветы Петровны.

<sup>2)</sup> Под этим именем известный сатирик, шотландец Джон Барклай, издал на латинском языке в 1621 году роман, в котором аллегорически изобразил французский двор того времени.

Так, в 1747 году, 24-го июля, повидимому с целью облегчения печатания книг при Академии Наук, кроме прежней, основанной в 1727 году, учреждена новая типография, по именному указу императрицы следующего содержания:

«Типографиям быть двум, одной для печатания книг на иностранных языках и другой — для русского языка. В обеих типографиях быть одному фактору, которому иметь смотрение над всеми типографскими служителями, дабы вся должность свою отправлял прилежно и радетельно, а при том же литеры, формы и станы содержать под добрым охранением, дабы от кого в том фальши произойти не могло, как о том в особливых инструкциях пространнее изъяснено быть имеет, а сколько каких людей при обеих типографиях иметь — о том в штате ниже изображено» (35).

В следующем 1748 году, 27 января, граф Разумовский, во время присутствия в академической канцелярии, объявил именной ее императорского величества устный указ, приведенный Пекарским в его «Истории Академии», «коим всемилорстивейше повелено стараться при Академии переводить и печатать на русском языке книги гражданские различного содержания, в которых бы польза и забава соединены были с пристойным к светскому житию нравоучением».

Для выполнения этого поручения, в академической канцелярии был составлен, а потом напечатан в «С-Петербургских Ведомостях» 1748 г., № 10, такой вызов: «Понеже многие из российских, как дворян, так и других разных чинов людей, находятся искусны в чужестранных языках: того ради, по указу ее импер. вел-ства, канцелярии Академии Наук чрез сие охотникам объявляет, нежели кто пожелает какую книгу перевести с латинского, французского, немецкого, итальянского, англинского или с других каких языков, то-б явились в канцелярию Академии наук с тем намерением, что от них сперва будут взяты пробы их переводов, а потом, буде найдется их искусство довольно по переводу книг, то дана будет книга для перевода, а как скоро она будет переведена и, переписав начисто, принесена в канцелярию, то за труды оному, по напечатании с его именем, ежели он пожелает, выдано ему будет в подарок сто печатных экземпляров той-же книги».

«Переводчики, по свидетельству П. Пекарского, сначала уступали рукописи за небольшое количество печатных экземпляров своих трудов; потом стали требовать денежного вознаграждения, а под конец встречались уже примеры платы переводчикам по уговору с печатного листа и пр.<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> См. «История Имп. Академии Наук в Петербурге» П. Пекарского, т. II, стр. LI и LI. Спб. 1873 г. В связи со всем вышесказанным Пекарский делает следующее добавление: «Число романов, повестей, сказок, так умножилось впоследствии, что при Академии учредилась отдельная типография, называемая "новой", в отличие от первоначальной, из которой выходили преимущественно издания ученого содержания. При основании новой типографии именно имелось в виду «умножить в оной печатание книг, как для удовольствия народного, так и для прибыли казенной» и проч.

Однако, ни в Истории Академии, ни в П. С. Законов, несмотря на самые тщательные поиски, мы не нашли указа об учреждении еще какой-либо другой типографии при Академии Наук, кроме вышеупомянутой.

В другом сочинении П. Пекарского: «Образцы шрифтов типографии и словолитни Имп. Академии Наук», Спб., 1870 г., на стр. XIV мы читаем: «В 1758 году, кроме старой типографии, учреждена была при Академии другая, называвшаяся для отличия от прежней «новозаведенной» типографией. Она имела отдельное управление» и пр. ... «Любопытно в деятельности этой типографии, добавляет автор, что так как для нее нужны были произведения, которых нельзя было ожидать от пера академиков, то пришлось обращаться к посторонним переводчикам». Затем следует вышеприведенный вызов: «Понеже многие из российских, как дворян, так и других разных чинов людей, находятся искусны в чужестранных языках: того ради» и пр. Между тем, этот вызов напечатан в «С.-Петербургских Ведомостях» 1748 г., № 10, что подтверждает и сам Печерский в своей «Истории Академии», т. II, стр. LI, так что здесь очевидная неточность в указании времени на десять лет.

«Новозаведенная типография, говорит в заключение Печерский, прекратила свое отдельное существование и присоединена к старой академической типографии с вступлением директора Академии Наук графа В. Орлова в 1766 году».

Однако, не смотря на такую заботливость со стороны правительства, число переводчиков, по видимому, не было особенно велико, судя по тому, что в 1761 г., № 70, в «С.-Петербургских Ведомостях» было напечатано вторичное обращение к переводчикам следующего содержания: «Сим объявляется, что имеющие у себя исправно переведенный на российский язык книги, которые бы для народной пользы могли быть напечатаны, объявили оные в академической книжной лавке, за что чинено им будет пристойное награждение деньгами или равномерно некоторым числом экземпляров по напечатании той книги. Ежели кто пожелает в свободное время переводить книги из платы, то оные даны будут ему из оной же книжной лавки, выбирая такие материи, к которым кто наибольшие склонности и способности иметь будет».

Медленному развитию печатной переводной романической литературы могло отчасти способствовать то обстоятельство, что в это время на нее еще не было особенного спроса. Известная часть общества, охваченная французоманией, при знании языка могла читать в подлиннике французские оригинальные и переводные романы или же по старой привычке довольствовалась русскими переводами и переделками, ходившими в рукописях. Остальная публика восставала против чтения романов и даже приписывала им порчу нравов, — явление, которое встречается и во второй половине XVIII века. Такой взгляд еще более чем впоследствии находил поддержку в литературе, как видно из слов Сумарокова в «Трудолюбивой Пчеле» 1759 г. (июнь, стр. 374-375), который открыто высказывался против чтения романов. «Пользы от них мало, писал он, а вреда много. Говорят о них, что они умеряют скуку и сокращают время, то-есть век наш, который и без того короток. Чтение романов не может назваться препровождением времени; оно погубление времени. Романы, писанные невеждами, читателей научают притворному и безобразному складу и отводят от семейственного, который один только важен и приятен... Я исключая Телемака, Докишота и еще самое малое число достойных романов. Телемака причисляли к эпическим поэмам, но что всего смешнее, Телемак не поэма; нет ни эпической поэмы, ни од в прозе. А Донкишот сатира на роман... Ежели кто скажет, что романы служат к утешению неученым людям для того, что другие книги им не понятны: это неправда, ибо и самой высочайшей математики основания понятно написать удобно, хотя и подлинно, что книг таковых мало видно... Однако, много еще книг и без романов осталось, которые вразумительны и самым неученым людям. Довольно того чем и просвещаяся можно препровождать время, хотя бы мы и по тысяче лет на свете жили...»

## XII

При Екатерине II начинается процветание переводной романической литературы, чем в значительной мере содействовало само правительство. Так, в 1667 году, при Академии Наук учреждено было особое собрание под названием «Переводного Департамента», занятия которого продолжались до основания Российской Академии в 1783 году. Упраздненный в это время «Департамент» был снова открыт через семь лет, по инициативе гр. Дашковой, — под названием «Собрания старающихся о переводе иностранных книг на российский язык» и находился под непосредственным заведыванием акад. А. П. Протасова. При этом на Протасова возложена была обязанность подавать еженедельные отчеты с указанием лиц, трудившихся под его руководством над переводами, а равно и книг, выбираемых для переводов (35).

Что касается собственно романической литературы, то число переводов идет прогрессивно до 1812 г., исключая промежутка времени, представляемого царствованием Павла I, когда сравнительно уменьшается количество переводных романов. Таким образом, в промежуток времени от 1762–1814 года общее число переводных романов и повестей по «Росписи» Смрдина и двум «Прибавлениям» достигает почтенной цифры 954 (при Екатерине I — 540, при Павле I — 62, при Александре I до 1984 года — 346; без обозначения годов издания — 6).

Подобное несоразмерное размножение переводов, сравнительно с первой половиной XVIII века, несомненно в значительной мере зависело от развития в них потребности со стороны читающей публики и от общего хода типографского дела в России, а именно открытия четырех типографий (37).

В 1771 году заведена в Петербурге первая частная или так называемая «вольная» типография по привилегии, выданной иностранцу Гартугну, и то для печатания на одних иностранных языках. Печатать книги русские в вольной типографии было запрещено, «дабы прочим казенным типографиям в доходах их подрыву не было». Однако, через пять лет (в 1776 г.) выдана книгопродавцам Вейтбрехту и

Шнору привилегия на печатание в своей «вольной типографии» книг не только на иностранных языках, но и на русском. Наконец, в 1783 г. именным указом Екатерины II типографское дело объявлено свободным и всякому повсюду дозволено по городам заводить вольные типографии и печатать в них книги по предварительном рассмотрении их в местной управе благочестия.

После этого указа вольные типографии размножились не только в Петербурге и Москве, но и появились в провинциальных городах, как например, в Нижнем Новгороде, в Калуге, Тамбове и Смоленске, (где переводные романы печатались в большем количестве, чем в трех названных городах).

Естественно, что с большим развитием типографского дела в России должно было умножиться число книг вообще, а равно и переводных романов, как это мы видим в прилагаемой таблице № 1 <sup>1)</sup>. Она также показывает, в какой степени отразились на количестве издаваемых переводных романов такие причины, как уничтожение *большинства* частных типографий в 1796 году, закрытие *всех* частных типографий и запрещение вывоза книг из-за границы в 1800 г., а с другой стороны, отмена этих стеснительных мер в 1802 году при императоре Александре I.

<sup>1)</sup> Таблица № 1

колебаний в количестве переводов от разных причин.

### В царствование Екатерины II число переводов с разных языков

Перец.

За 21 год, начиная с 1762 до 1783 г. . . . . 19

В 1783 года изд. указ о разрешении заводить частные типографии по городам

За 13 лет с 1883 г. до 1796 г. . . . . 521

(В 1796 г. уничтожение частных типографий *за немногими исключениями* и организация цензуры).

### В царствование Павла I число переводов с разных языков

За четыре года с 1796 до 1800 г. . . . . 54

В 1800 году закрытие *всех* частных типографий и запрещение вывоз книг из-за границы

В 1800 году переведено всего . . . . . 8

### В царствование Александра I переводов с разных языков

В 1801 году . . . . . 22

В 1802 г. разрешение заводить частные типографии и отмена цензурных установленный 1796 года

С 1802–1812 гг. . . . . 319

После нашествия неприятеля

В 1813 г. . . . . 1

В 1814 г. . . . . 4

В виду значительного развития переводной романической литературы во вторую половину прошлого и в начале нынешнего столетия, считаем не лишним представить некоторые полученные нами, хотя и приблизительные выводы. Так, например, преобладание печатных переводных романов с французского языка в царствование Елизаветы Петровны, при незначительном количестве их, получает еще большее фактическое подтверждение в следующие царствования, как показывает приложенная здесь таблица № 2 <sup>1)</sup>. Не менее характерно и то обстоятельство, что переводы с подлинников не считались обязательными, да подобное требование едва ли и было выполнимо в те времена, когда знание языков не могло быть особенно велико.

Таблица № 2 <sup>1)</sup>

(По росписи Смирдина и двум приложениям).	(По росписи Смирдина и двум приложениям).
<b>При Екатерине II с 1762 по 1796 г. переведены:</b>	<b>При Александре I с 1801–1814 гг. переведены:</b>

	Число роман.		Число роман.
С французского . . . . .	350	С французского . . . . .	220
" немецкого . . . . .	107	" немецкого . . . . .	95
" английского . . . . .	6	" английского . . . . .	11
" итальянского . . . . .	7	" грузинского . . . . .	2
" латинского . . . . .	5	" башкирского . . . . .	1
" польского . . . . .	4	Сборников . . . . .	2
" друг. язык. (в том числе один сборник) . . . . .	10	С неизвестных языков . . . . .	15
" неизвестных языков . . . . .	51		
Итого . . .	540	Итого . . .	346
<b>При Павле I с 1796 по 1801 г. переведены:</b>		Такие же результаты относительно преобладания французского языка получают по Росписи Аделунга с 1801–1806 гг.	
С французского . . . . .	32	С французского . . . . .	119
" немецкого . . . . .	19	" немецкого . . . . .	53
" английского . . . . .	2	" английского . . . . .	4
" итальянского . . . . .	1	" грузинского . . . . .	1
Сборников	1	(См. «Систем. обзор. литературы в России в течение пятилетия с 1801 г. по 1806 г. соч. А. Шторха и Ф. Аделунга, ч. I, Спб., 1811 г.	
С неизвестн. языков	7		
Итого . . .	62		

С другой стороны, поразительное разнообразие переводных романов служит наглядным доказательством весьма значительной степени распространения у нас романической иностранной литературы. Только богатством выбора и безразличным отношением переводчиков и издателей можно объяснить отсутствие какой-либо системы в нашей литературе. Но решительно нет возможности определить, чем собственно руководились переводчики при выборе того или другого романа. Наряду с романами XVIII почти одновременно встречаются романы XVII и даже подчас XVI столетия; произведения писателей, пользующихся громко известностью, переводятся рядом с произведениями таких мало известных романистов и романисток, что даже в подробных иностранных словарях биографических и энциклопедических, которыми мы пользовались, как для проверки имен, так и сличения русских заглавий переведенных романов с иностранными, иногда упомянуто только имя писателя с кратким обозначением года рождения или смерти или же сказано: «жил в таком-то веке».

Что касается общего числа иностранных авторов, произведения которых переводились у нас за указанный период времени, с обозначением их имен на переводах, то оно доходит до цифры 146, так что для поименного перечисления их пришлось составить особые таблицы, распределенные по царствованиям в порядке появления русских переводов, с краткими указаниями годов или века, когда жил тот или другой автор (См. прилож. к первой части таблицы I–V). При этом считаем долгом заметить, что составленные нами таблицы далеко не полные, потому что мы могли называть только тех иностранных писателей, имена которых обозначены в переводах, а в действительности число переводимых авторов было несравненно значительнее, не говоря уже о вероятных пропусках Смирдинской «Росписи». Так, например, в каждое царствование мы встречаем ряд переводных романов без обозначения имен авторов (при Екатерине II — 380; при Павле I — 35; при Александре I до 1814 г. — 125, ( а затем встречаются еще переводные романы, где не обозначены ни имена авторов, ни язык, с которого сделан перевод (при Екатерине II таких переводов — 51, при Павле I — 7, при Александре I до 1814 г. — 15). Причина такого умолчания едва-ли могла заключаться в чем-либо другом, кроме непонимания со стороны переводчиков, потому что в то же время, в большинстве случаев, они считали долгом выставить свое имя и фамилию.

Весьма возможно, что несмотря на тщательное составление таблиц I–V, в них будут найдены неточности, в виду бесцеремонного переименования имен иностранных писателей русскими переводчиками, смешения писателей с писательницами, издателей с авторами, имен главных действующих лиц тех или других романов с именами авторов и пр. В этих случаях только при сличении заглавий можно было



убедиться, что это одини тот же автор, хотя такое сличение не всегда могло быть выполнено нами. Таким образом составленные нами таблицы требуют дальнейшей и более подробной разработки.

Между прочим, в двух иностранных романах, изданных в Мокве в 1788 и 1810 гг., сказано в одном, что это сочинения «Филадельфии», а в другом, что это сочинение «Ферфассера» (сочинителя) [Verfasser]. Иногда заглавия переделаны в такой степени, что без обозначения имени автора довольно трудно догадаться, кем они написаны, как, например: а) «Кто за двумя зайцами погонится, тот никого не поймает», нравоучительная испанская повесть перев. с французского 1792 г.; б) «Вертопрашка или история девицы Бетси Татлес», пер. с франц. М. Копьев 1795 г.; в) «Аннушка», английский роман, пер. с франц. 1797 г. В некоторых переводных романах, даже при обозначении имени автора, все-таки остается прибегать к догадкам, как, например, при таком заглавии: «Парижская дура или от любви и легковёрности происходящие дурачества», соч. Негарета (повидимому, не что иное, как известный роман Нугарета «Lucette ou les progrès du libertinage» [Люсет, или Прогресс распутства, Nougaret] и т. д.

Тем не менее, среди массы самых разнообразных романов заметно известное предпочтение некоторым иностранным писателям. Иногда одни и те-же романы переводятся разными лицами, равно и некоторые иностранные писатели переводятся в разные царствования, как, напр., Фенелон, Лесажа, Вольтер, д'Арно, Скаррон, Флориан, Стерн, Дюкре-Дюмениль и пр. Затем в каждое царствование встречаются как бы излюбленные писатели: при Екатерине II сравнительно всего больше переведено романов: д'Арно, Вольтера, Виланда, Мармонтеля, Флориана, Лесажа и Филдинга; При Павле I — Дидерота, Дюкре-Дюмениля, Горжи; при Александре I — г-жи Жанлис или Жанли, как ее тогда называли, Августа Лафонтена [немец] и Коцебу, затем Шатобриана, Крамера и Марии Рош.

### ХIII

Что касается общего характера переводов и степени верности их с подлинниками, а также времени возникновения подражательного романа, то это вопросы, требующие специального изучения. Весьма возможно, что перевод, переделка и подражание явились почти одновременно, судя по тому, что на ряду с крайне наивными произведениями этого рода встречаются такие, в которых виден известный литературный навык, который мог быть только выработан постепенно предшествующей литературой. Но при тогдашней неразборчивости большинства русских читателей переводные романы и повести вообще мало отличались от подражательных или так называемых «оригинальных российских сочинений». Так, например, в «Росписи» Смирдина, под рубрикой переводных романов и повестей, начина с 1756 года, встречаются и такие, в которых не упомянуто, что это перевод, а в иных прямо сказано, что сочинение такого-то: Михаила Проскудина, девицы Н. Н. и пр. В других самое заглавие показалось нам сомнительным, как а) «Анекдоты древних пошехонцев», соч. В. Березайского, Спб. 1798 г.; б) «Мал золотник да дорог или увеселительный и в смех приводящий рассказчик», Москва, 1792 г.; в) «Прекрасная Россиянка», 2 ч., 1784-1790 г. и т. д.

В некоторых весьма редких случаях, «русские сочинители», заимствуя содержание иностранного романа или повести, указывали, в чем заключается их переделка и отступление от подлинника. Так, Н. Гнедич (переводчик «Илиады»), издавая в свет свое юношеское произведение «Дон Коррадо де Гаррера или дух мщениа и варварства Гишпанцев», Российское сочинение, М. 1803 г., говорит в предисловии: «Основание взял я из одной повести, где сочинитель желая сделать Корредо героем оной, знакомит его с читателем, так как он знаком с жителем луны и выставляя дела его, показывает только тень их»... Затем юный автор, называя «гишпанцев» образцами суеверия и бешенства, распространяется о злодеяниях Филиппа II и добавляет: «Приступая к сочинению сей повести, я более всего старался выставить страшную картину страшных дел Коррадо, окончивши которую я сам трепетал в душе» и т. д.

К сожалению нам не удалось отыскать подлинника, и самое имя героя повести повидимому вымышленное, так как оно не встречается в подробном списке инквизиторов, который приложен к известному сочинению Лоранта: «Inquisition d'Espagne», de Juan Antonio Llorente, traduite en français par N. Pellier, 1817 и наоборот два Геррера (Петр и Антоний) названы в числе жертв инквизиции. Но если подлинник отличается бледностью красок, то Н. Гнедич во всяком случае впал в другую крайность и настолько усилил краски при описании чудовищной жестокости Коррадо, что лишил свое «сочинение» всякого правдоподобия, хотя ему нельзя отказать в живости и даже талантливости рассказа.

С другой стороны, в числе так называемых «оригинальных романов и повестей», означенных в «Росписи», мы встречаем такие, которые прямо показались нам переводными. Так в одном сборнике повестей 1971 года повесть «Награжденный Купидон» носит несомненные признаки перевода с иностранного подлинника: действие в Италии, характеры выведенных лиц и нравы не русские; в авторе виден литературный навык, имеющий мало общего с обычными приемами неумелого пера большинства русских подражателей. Аналогичный с этой повестью роман 1794 года «Кошке игрушки, а мышке слезки или смешные и забавные проказы трех красавиц, чинимые над простосердечными супругами» опять таки без обозначения имени автора. Между прочим, одна повесть, изданная в 1809 г., «Чрезвычайное происшествие, угнетенная добродетель или поросенок в мешке», хотя и названа «русским сочинением», но представляет, повидимому, плохой перевод английского юмористического рассказа, судя по содержанию, вкравшимся английским словам и оборотам; при этом перевод настолько плох, что встречаются совсем непонятные слова и даже целые фразы.

Вообще в более ранних подражательных «русских сочинениях» довольно трудно проследить в точности, где кончается перевод и начинается подражание, тем более, что сами «сочинители» очень скромно относились к своей задаче, как видно из слов П. Львова в предисловии к его сельской повести «Розана и Любим» 1790 г., составляющей отчасти подражание идиллии Шмидта «Рахель и Бог Месопотамии», где он говорит, между прочим: «Некоторые читатели, судившие "Российскую Памелу", в которой видны и робость моя, и несовершенство и стремительное желание подражать достохвальным писателям, находят, что я в иных местах писал не свое, а принадлежащее сим творческим умам, радуясь, что посильные мои способности могли быть подобны их дарованиям. Счастлив весьма буду, ежели удостоюсь называться их не токмо подражателем, но хотя и переводчиком» и пр.

Иностранные образцы некоторых из наших подражательных романов указаны Галаховым и Порфирьевым. На происхождение многих других указывают сами «сочинители», говорят прямо, что подражали такому-то «бессмертному» автору или такому-то иностранному произведению или же давали определенные названия своим повестям, в роде: «Российский Вертер», «Вертеровы чувствования» и проч.; в некоторых случаях упомянуто только имя автора. послужившего образцом, восхваляется его талант и пр. При этом, насколько мы могли проследить, указание образца не мешало иногда «сочинителям» в одном и том же произведении делать заимствования из других писателей, хотя и в меньшей степени, что неизменно отражается на содержании и тоне рассказа, написанного под влиянием автором, более или менее различных по направлению, степени и роду таланта. Кроме того, во многих романах встречаются стихи, целые страницы разговоров между действующими лицами или же в текст вставлены так называемые «восточные» или другие повести, или даже сказки, нередко без малейшей связи с предыдущим <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> «Прием вставных повестей, завещанный восточными сказочными сборниками, не раз встречается в повествовательной литературе XVI века» См. исследование акад. А. Н. Веселовского, «Из истории русской переводной повести XVIII века». Спб., 1887 г.

Между прочим, некоторые подражательные произведения этого времени представляют более редкие явления, как, например, иносказательные повести Хераскова: «Нума или Процветающий Рим» (1768), «Кадм и Гармония» (1793), «Полидор» (1794) и др. Из аллегорических повестей мы встретили одну и довольно талантливо написанную, «Путешествие Дружбы», Отрывок, соч. Вельяминова-Зернова 1807 года. К таким же, сравнительно редким, произведениям принадлежит и повесть М. Чулкова «Пригожая повариха или Похождения развратной женщины», 1770 года, которая представляет ничто иное, как слабое подражание французским романам легкого содержания.

Вообще русский подражательный роман, нередко наивный и изуродованный при неопытности наших тогдашних писателей, находился всецело под влиянием иностранных романтических произведений, и повидимому развивался *особо* от прежней рукописной литературы, что объясняется исключительными условиями нашей цивилизации. Помимо духовенства, умственная жизнь которого началась и сложилась издавна, русскую интеллигенцию XVIII века составляли преимущественно придворные и более или менее достаточное дворянство, воспитанное в европейских понятиях о литературе. За ним тянулось и остальное дворянство, составлявшее значительную часть тогдашнего русского «общества» в тесном смысле слова. Поэтому наш первоначальный печатный роман, чтобы удовлетворить требованиям русского интеллигентного читателя, должен был начать с отрицания народных начал, и первым русским романистам не оставалось иного пути, как подражание тому, что уже существовало в западно-европейской

литературе. Им пришлось также усвоить литературные формы, принятые на западе, вследствие чего наш подражательный роман аккжил те же фазиссы развития и сходен с западным романом как по форме, так и по содержанию.

Естественно, что рабское подражание и подделка в широких размерах иностранных произведений, чуждых по духу и нравам, создавшие у нас обширную литературу в данном направлении, а равно и отрицание прежнего полународного содержания письменности и народной литературы, могли *замедлить* рост самобытного русского романа. Тем не менее, подражательный русский роман имеет безусловное значение, как переходная ступени от перевода к творчеству, и и-учение его обязательно для понимания общего хода нашей романической литературы. Подражательный период, более продолжительный у нас, чем где-либо в Европе, отжил свое время, а заключенные в нем задатки самобытности положили начало русскому самобытному роману и повести.

Несмотря на кажущееся разнообразие нашего подражательного романа и довольно частый переход одного рода в другой, последовательное чтение нескольких десятков романов, кратких и более подробных повестей второй половины прошлого и начала нынешнего столетия убедило нас, что по *содержанию* и они, как и на западе, могут быть разделены на категории. Наиболее ранние из них, в указанный период времени с 1764 — 1814 гг, как видно по годам изданий: а) романы с *приключениями* (romans «d'aventures»); б) романы *нравоучительные*; в) так называемые *восточные* повести; — более поздние: д) *сентиментальные* романы и повести, а также попытки: е) *исторического* и ф) *реального* романа.

Вообще, различие романов и повестей по родам их, принятое в западно литературе и вполне применимое к нашим подражательным романическим произведениям, является обязательным для надлежащей оценки их. Необходимо оно и для нашей цели в том отношении, что даст нам возможность проследить более или менее, в какой степени тот или другой род романов и повестей отразился на произведениях Нарезного. Но при этом считаем необходимым сделать оговорку, что всякое деление романов и повестей на те или другие категории может быть только приблизительным, в виду встречаемых исключений. Так, напр., восточные повести по своему общему направлению могут быть отнесены к нравоучительным романам и повестям и отличаются от них только формой и местом действия, перенесенным в далекие страны востока. К сентиментальным романическим произведениям принадлежат так называемые «пастушеские и сельские повести», равно как и реальный роман нередко принимает нравоучительно-сатирический характер. К типичным произведениям этого рода принадлежит роман А. Измайлова «Евгений или пагубные следствия дурного воспитания и общества», 1977-1801 гг Спб., 2 ч.

#### XIV

Для большей наглядности мы последовательно укажем в общих чертах и более типичные романы каждой из упомянутых категорий и сравнительно долее остановимся на содержании романов «с приключениями», так как позволяем себе употребить термин, принятый пока только в западно-европейской и нашей ученой литературе («romans d'aventures»). С другой стороны этого рода романы и повести представляют для нас особенный интерес, потому что их влияние всего заметнее отразилось на произведениях Нарезного, и они должны были наиболее соответствовать широкому полету его богатой фантазии. Этим только можно объяснить утомительное разнообразие нередко самых причудливых и даже неправдоподобных приключений, множество вводных лиц и крайне запутанную любовную завязку, которые так неприятно поражают нынешних читателей произведений Нарезного и которые составляли неизбежную принадлежность вымершего романа «с приключениями».

Вообще наши подражательные романы «с приключениями», по своему содержанию, близко подходят к этого рода произведениям иностранной литературы в известную пору ее развития, когда роман и сказка шли нередко рука об руку. «Сочинитель» смело поддавался воле своей ничем необузданной фантазии, не стеснялся верностью в изображении местности, нравов или обычаев той или другой страны. Он чужд каких-либо тенденций; если подчас он фантазирует на тему разных нравственных вопросов и если встречаются у него рассуждения и сентенции в нравственном тоне, но это не более как случайные вставки, не имеющие тесной связи с общей нитью рассказа.

К наиболее типичным произведениям этого рода принадлежит роман Оедора Эмина «Награжденная постоянность или Приключения Лизарка и Сарманды», 4 части, Спб., 1764 г., написанный в подражание греческим романам, переводимым на западе с XVI в., а в данном случае Илиодора Эмезского [Гелиодор,

III-IV век, Heliodorus of Emesa]. Герой романа Лизарк, во время бури, попадает в руки морских разбойников, а затем ко двору египетского царя, становится пажем его дочери Изиды и влюбляется в нее; она разделяет его чувство, что служит поводом к самым разнообразным приключениям. Кроме того, в Лизарка влюблена Сарманда, сестра другого пажа, которая следует за ним в Мемфис, переодетая в мужское платье, и поступает к нему в услужение. Отсюда Лизарк отправляется послом в Элиополь [Гелиополь], в сопровождении мнимого слуги; во время морской бури оба попадают в плен и их продают разным господам, но Сарманда, после разных походов, отыскивает Лизарка и, ради его спасения, подвергается тюремному заключению и приговорена к смерти. Счастливая случайность избавляет ее от казни; она попадает ко двору наместника, где встречает Лизарка, который настолько тронут ее самоотверженной привязанностью к нему, что, несмотря на свою любовь к Изиде, хочет жениться на ней. Между тем город осажден и взят приступом Изидой, которой отец дал флот вместе с разрешением выйти замуж за Лизарка; но этот объявляет, что не может жениться на ней. Изидя догадывается о причине и из Мемписа отправляет Лизарка на галеры; Сарманда спасается бегством и подвергается новым приключениям. Однако, все кончается к общему благополучию. Лизарк оказывается законным сыном египетского царя и родным братом Изиды, а поэтому беспрепятственно женится на Сарманде.

Другой не менее типичный роман «приключений» — «Несчастный Никанор и приключения жизни русского дворянина», соч. Н., три части, 1787 г. (второе изд. по «Росписи» Смирдина). Обедневший дворянин Никанор, живущий из милости в доме «добродетельного человека», в угоду знатной госпоже, рассказывает свою историю, исполненную самых хитросплетенных приключений. На сцене опять любовь и бесконечные препятствия к браку, бегство Анеты через окно от тиранившего ее дяди, ряд случайностей, всевозможные опасности, которые она избегает с помощью благодетельного еврея, который отправляет ее в Варшаву к своему приятелю. Никанор стремится к свиданию с нею, несмотря на сажание в тюрьму, всевозможные приключения и предсказание грозивших ему несчастий, в случае упорства. Предсказание сбывается роковым образом: он бросает службу и, переодетый, делает попытку пробраться в Варшаву; его арестуют, везут в Москву; он оправдывается, но должен ждать решения дела. Между тем является приятель Никанора из Варшавы и сообщает о смерти Анеты, умершей от побоев отысканного ее убежища жестокого дяди, который на следующий день найден на улице изрубленным в куски. Никанор заболевает от горя; отец увозит его к себе в деревню; затем следует рассказ об его женитьбе, новых любовных приключениях и постепенном обеднении. В заключение автор обрывает рассказ и от своего имени, в виде эпилога, описывает в общих чертах смерть Никанора.

Однако, несмотря на то, что основой содержания обоих романов служат самые разнообразные и запутанные приключения и судьба героев зависит от рокового стечения обстоятельств, «Несчастный Никанор» представляет значительные преимущества, сравнительно с вышеприведенным романом Эмина. Здесь приключения теряют свой сказочный характер и становятся менее беспочвенными, так как фантазия автора значительно обуздана уже тем обстоятельством, что действие происходит в России, и слишком большое отступление от русской жизни и быта оказалось бы неудобным ввиду русских читателей. Таким образом, в «Несчастном Никаноре» самые несбыточные приключения связаны с правдоподобной обстановкой, вполне соответствующей действительности, что заслуживает особенного внимания в те времена, когда большинство сочинителей подражательных романов и повестей прямо избегали каких бы то ни было описаний местности и ограничивались названием города и губернии или же обозначали их начальными буквами или звездочками. К тому же роду, что и Никанор, принадлежит не менее замечательная повесть «Похождения Ивана Гостиного сына», в сборнике повестей и сказок Н. Новикова, изданном в 1785 г. в Петербурге и составляющем библиографическую редкость.

Впоследствии, под влиянием западно-европейского романтизма, встречаются единичные попытки перенести роман «с приключениями» на сенсационную почву в виде привидений, воскресших мертвецов, молнии, убивающей злодея, разбойников, наемных убийц и пр. В таком же роде написана подражательная повесть Карамзина «Валерия», 1792 года (из Nouvelles Флориана), а затем еще более характерная в этом отношении повесть «Александр и Юлия, истинная русская повесть», соч. П. Львова, Спб., 1801 г., и роман неизвестного автора «Обольщенная жена, российское сочинение», Москва, 1804 г., где несчастная заключенная женщина томится в подземельи какого-то замка с башнями. Изредка ее водят кормить ребенка; появляются какие-то таинственные личности; таинственностью проникнут весь рассказ, настолько туманный, что только по заглавию можно догадаться, что кара исходит от оскорбленного супруга. Тем не менее рассказ кончается благополучно бегством заключенной из тюрьмы.

Но в то время, как сенсационно-романтический момент проходит как бы мельком в нашей подражательной романтической литературе, роман «с приключениями» хотя и теряет свою самобытность, но продолжает господствовать в наших позднейших романах и повестях, в виде основной и существенной части. Он проникает во многие нравоучительные и даже отчасти сентиментальные романы и повести, не исключая так называемых «восточных» повестей и произведений, представляющих попытки исторического и реального романа и повести.

## XV

Нравоучительные подражательные романы и повести, по содержанию, всего ближе подходят к роману «с приключениями». Но здесь мы уже не встречаем отличающей его непосредственной простоты рассказа: сочинители, задаваясь целью поучать читателей, пускаются в длинные утомительные рассуждения и сентенции на тему нравственности и впадают в искусственность, вследствие стремления выставить неизменное торжество добродетели и наказание порока. Качества и пороки, в большинстве случаев, олицетворены в фамилиях действующих лиц, как, например, Сердоболин, Честон, Рассудин, Правдолюбов или же князь Промотайлов, Залыгалкин, Петиметров, дюшеса Санпюдер, графиня Модникова и пр.

Вообще нравоучительные романы и повести нашей подражательной литературы, по своему содержанию, могут быть подведены под три различных вида:

Нравоучительные романы и повести, написанные в форме писем, имеют совершенно своеобразный характер. Некоторые из них представляют более или менее очевидные признаки подражания «Новой Элоизе» Руссо, как, например, «Роза», полусправедливая повесть Николая Эмина, Спб., 1788 г., и «Всеволод и Велеслава, роман, сохранившийся в письмах, Н. Н. Муравьева Спб., 1807 года. Образцы многих других неизвестны и, между прочим, повести «Не всем еа вкус, редкая чета», соч. И. В., Спб., 1802 г., в которой видно несомненное стремление к самобытности, хотя это стремление проявляется преимущественно в самом способе изложения и слоге некоторых писем. Умнозвора, героиня повести, тоскует в разлуке с мужем, уехавшим в командировку за 8,000 верст, и доверчиво принимает ухаживания богатого помещика Ветромысла, который является в роли утешителя. Но когда Ветромысл приглашает Умнозвору к себе в деревню, чтобы вручить ей 15 тысяч для поправления денежных обстоятельств, у ней является сомнение относительно его бескорыстия; она пишет ему письмо и задает наивный вопрос: «Не на счет ли целомудрия супружества? Если то так, добавляет она, то извините... Правда, письма ваши не роман, но подход ваш такая задача, от которой недолго и вовсе повредиться; — между всем тем, как бы вы не изволили поддерживать и утешать. Это, по моему, не в досаду вам, странная, очаровательная и тонкая замашка, впрочем, несколько решительная... и это из всего видно...»

Затем Умнозвора пишет нежное письмо мужу, жалуется, что долго не имела от него известий, и сообщает, что чувствует себя нездоровой: «Ужас, как не по себе! Заставай, князь, пока жива, коли ты тот же...» А затем, по поводу дошедших до нее слухов, спрашивает, не заложил ли он имения, говорит, что мирится с нищетой, ссылается на Локка и пр. Письмо кончается словами: «Много я уже намарала, но это мое рассеяние, равно и чтение книг...» Супруг, с своей стороны, отвечает в нежных, высокопарных выражениях, описывает бывшие с ним приключения и извещает о скором приезде. Следует соединение любящих супругов; друзья и знакомые поздравляют Солида, отца Умовзоры, «с такой редкой четой и что он ничего не жалел на хорошее воспитание дочери».

В некоторых нравоучительных романах и повестях нашей подражательной литературы сочинители настолько проникнуты стремлением доказать превосходство добродетели над пороком, что наставительный элемент является преобладающим при сравнительно малосодержательном или же крайне натянутом рассказе. Так в сочинении Г. Громова «Нежные объятия в браке и потехи с любовницами продажными», Спб. 1799 года, в виде отрывочных сцен, прерываемых длиннейшими рассуждениями, изображены преимущества «законной супружеской любви» и добродетельной жизни над порочной и ее увлечениями. В конце книги приложены изречения премудрости Иисуса, сына Сирахова, и притчи Соломона. В повести «Егорушка или человек сам собою довольный», изд. в Москве 1797 года, Я. Благодарова, герой рассказа, говорит притчами и поучениями и представляет собою ходячую добродетель. Он не хочет менять бедность и независимость «на барское житье», восхваляет жизнь простую, близкую к природе, «в обществе с Богом», питается трудами рук своих, отвергает собственность, не признает учености и уда-

ляется от общества, где царит зависть, осуждение и клевета. В другой нравоучительной повести «Неонила или распутная дочь», соч. А. Л., две части, 1794 года, героиня рассказа, в противоположность предыдущей повести, представляет собою чудовищное олицетворение порока и, под конец, в виде наказания за свою развратную жизнь, умирает в больнице от жестокой болезни.

Кроме двух упомянутых видов нравоучительных романических произведений, встречаются подражательные нравоучительно-сатирические романы и повести, где сатира, в большинстве случаев, направлена на старую тему, затронутую Кантемиром, Фон-Визином и сатирическими журналами XVIII века, а именно о вреде невежества, подражания французским нравам вообще и французского воспитания в особенности и пр. Сочинители этого рода романов и повестей нередко задаются целью поучать и исправлять читателя отрицательным способом, посредством изображения дурных сторон модного света, людских пороков и пагубных, вытекающих отсюда последствий, а также противопоставлением преимуществ патриархального воспитания, дающего противоположные результаты. Первого метода держится, между прочим, А. Писарев, автор любопытного романа 1792 года, изд. в Москве в трех частях: «Переписка двух адских вельмож, Алгабека и Алгамека, находящихся по разным должностям в старом и новом свете» и пр., 3 части. При этом, чтобы не стеснять себя относительно высказывания горьких истин, он выдает свое сочинение за перевод с арапо-еврейского языка и называет себя «греко-японским переводчиком». Роман заключается в письмах Алгабека к Алгамеку, в которых он описывает свое путешествие в северную страну и настолько яркими красками, что с первых страниц становится очевидным, что действие происходит в России, а именно в Петербурге. В рассказ вставлены стихи и биографии выведенных лиц, фамилии которых указывают на их отличительные свойства, как, напр., Безчестнов, Невеждин, Обдиралов, Вестовщиков, княгиня Чужевралова, г-жа Скудоумова, Безстыдова и т. под.

В позднейшей повести Н. Остолопова «Евгения и нынешнее воспитание», изд. в Спб. 1803 г., сопоставлены результаты модного и патриархального воспитания рано погибшей Евгении, выросшей на руках наемных француженок, и ее двоюродной сестры Софьи, воспитанной отцом в строгих правилах добродетели, которая счастливо выходит замуж и прекрасно воспитывает своих детей. В другой повести «Кривонос, домосед, страдалец модный», Спб., 1789 г., неизвестный автор описывает от лица героя повести его неудачную жизнь с момента появления на свет, представляющую непрерывную цепь пагубных последствий увлечения модой со стороны родителей. Рассказ не лишен юмора и дарования, но в то же время и сильных натяжек; слог легкий и удобочитаемый. Половина небольшой книги занята трактатом «О глупости».

Что касается Нарезного, то влияние нравоучительных романов, более или менее заметное во всей нашей литературе первой четверти нашего столетия, отразилось и на его произведениях, в виде моральных сентенций и рассуждений, в несколько утрированном изображении пороков и неизменном торжестве добродетели. Но сатира в романах Нарезного принимает более самобытный и жизненный характер и не ограничивается узкой старой темой о вреде французского воспитания и подражания французским нравам и пр., которой почти исключительно придерживались его предшественники.

## XVI

Соответственно так называемым «восточным повестям» западно-европейской литературы, мы встречаем в нашей подражательной романтике особый разряд *восточных повестей*, где также с нравоучительной целью изображены далекие восточные народы, которые, не выходя из патриархального быта, не знали печальных явлений европейской жизни и европейской порчи нравов. Особенно типичны в этом отношении две известных повести Беницкого: «Ибрагим или Великодушный» и «Бедуин» (38).

Но этим далеко не исчерпывается содержание восточных повестей нашей подражательной литературы, которая в одинаковой мере пользовалась для них мотивами восточных и других сказок, как и западно-европейскими мотивами и даже подчас совмещала их в одном и том же рассказе. Так, в одном сборнике 1971 года, весьма распространенном в свое время, «Девушкины прогулки и молодкины увертки или лабиринт женских коварств», вы встретили несколько характерных восточных повестей этого рода. В одной из них, «Простодушный суевер или посланник богов», персидский чиновник Абдаллах видит во сне, что его красавица дочь должна быть супругой жителя Олимпа, отказывает всем женихам и запирает Сьюльмену в загородном доме. Сьюльмена в отчаянии, но крылатая слава о ее красоте размножает число женихов; сын китайского чиновника, Мулей, пробирается к ней по веревочной лестнице, с

помощью приставницы Замбаки, которая покровительствует их свиданиям в продолжении семи месяцев. Наконец, Мулей обратился к чародею, чтобы он дал ему крылья и родители Сюльмены могли бы принять его за посланника Олимпа. Чародей вручает ему волшебное кольцо, является дух и китаец «с его помощью переряжается, получает волосы золотые, некоторые части тела золотые, другие серебряные, увязывает их лентами вышитыми, являются крылья и прирастают к телу». Родители красавицы принимают его за жителя Олимпа, изъявляют свое согласие и сносят на площадь все сокровища, в сопровождении множества народа. Является колесница, запряженная василисками. Мулей складывает в нее принесенные сокровища и вместе с Сюльменой возвращается в свое отечество и женится на ней. В другой повести, «Очарованная красавица», вместо кольца является волшебная коробочка, с помощью которой влюбленный Елим, превращенный в попугая, влетает в комнату Мессалины, дочери персидского чиновника Ибрагима, для нежных свиданий. Но так как в следствие их неосторожности свидания должны прекратиться, то Мессалина, по просьбе своего возлюбленного, пьет посланный им состав и падает мертвая; ее хоронят в лабиринте; через три дня его тоже приносят с лабиринт мнимо-умершим; она, в свою очередь, оживляет его, затем оба уезжают на почтовых и соединяются узами брака. В третьей повести, «Нечаянное превращение», вся завязка повтродена на общеизвестном распространенном имотиве продажи души чорту, скрепленной формальным актом, написанным кровью. Пленный англичанин Лизавр, с помощью чорта Цьяшоса, принимает образ воображаемого героя, созданного воображением дочери турецкого паши Лилерозы, начитавшейся романов, и женится на ней. Молодые супруги некоторое время живут благополучно, но под конец Лизавр так надоедает чорту беспрестанными вызовами из ада и просьбами, что этот возвращает ему обратно подписанный им акт, Лизавр опять становится англичанином и в этом виде сразу «омерзел» своей супруге, которая не замедлила сообщить отцу о таком неожиданном превращении. Паша узнает своего бывшего пленника и избавляется от него с помощью яда, а Лилироза выходит вторично замуж.

Помимо этих трех повестей, в том же сборнике помещены два рассказа совсем иного характера, а именно, турецкая повесть «Торжествующая Селима», где сын богатого купца, Аладин, влюбляется в 14-ти-летнюю дочь вдовы, Селиму, во время семидневного позорища (празднества). по случаю мира с персами. Мать красавицы, узнав об этом, запирает ее в отдаленный покой, но Селима подкупает приставленную к ней девицу Заиру приставленную к ней девицу Заиру и просит ее. «сделав подобную себе маску и одевши Аладина в свое платье. проводила-б в ее покой, по наступлении ночи». Заира исполняет ее желание; нежные свидания продолжаютя полгода; но однажды мать застаёт их спящими и немедленно посылает за отцом Аладина. Этот хочет убить сына, но вдова удерживает его и дело кончается свадьбой влюбленных. В Другой повести «Домовой», под видом китайской деревни и китайских крестьян описан русский сельский быт. Старый китаец крестьянин женится на молодой Мильсане, которая вскоре изменяет мужу и, для большего удобства нежных свиданий, наряжает своего любовника Вювама в домового; этот по ночам накидывается на старого мужа и мучит его, а под конец душит его до смерти, к ужасу всей деревни. Затем следует описание дальнейших романических отношений Вювама к Мильсане и ее взрослой падчерице.

В другом более раннем сборнике 1779 года, «Разные повествования, сочиненные некоторою россиянкою», мы встретили два своеобразных «восточных» рассказа, не имеющих ничего общего с вышеприведенными повестями. Один из них, «Гармора», поначалу напоминает традиционные восточные повести, где Азия представлена благословенной страной торжества добродетели, но по общему содержанию и тону принадлежит к числу псевдоклассических повестей, с ходульными героическими характерами и редкими примерами самоотверженной дружбы и дочеринской любви. В другом рассказе, «Звезда во лбу или знак добрых дел», Меркант, сын первого министра злого европейского государя, отправляется в Азию; буря заносит его на неизвестный остров, где у государя на лбу звезда, как знак добрых дел; в случае дурных он обязан снимать звезду, что заставляло его избегать их. Меркант возвращается в отечество и рассказывает о виденном; злой государь хочет ввести то-же в своей земле и решает, чтобы его статуя оставалась покрытою, когда народ недоволен им, и чтобы в обратном случае снималось покрывало. Но статуя долго остается покрытою; наконец, он совершает доброе дело, народ бросается снимать покрывало, целует ноги статуи и это заставляет злого государя исправиться.

В произведениях Нарезного отразился и этот род повестей нашей подражательной литературы. *Восточные* повести встречаются в виде вставок, в двух известных романах Нарезного, а именно в «Российском Жилблазе» и в его посмертном романе «Черный год или Горские князья», изданном в 1829 году;

кроме того, им написана отдельная восточная повесть, «Турецкий суд», вышедшая в 1824 г. и перепечатанная в собрании его сочинений в 1835-1836 гг.

## XVII

*Сентиментальные* или *чувствительные* повести представляют собою совершенно особый род произведений нашей романической подражательной литературы и отличаются еще более беспочвенным и отвлеченным содержанием, нежели даже так называемые «пастушеские» и «сельские» повести, одно время весьма распространенные в Европе. Мы скажем о них несколько подробнее, ввиду того, что среди романических произведений Нарезного встречается хотя единственная, но безусловно сентиментальная подражательная повесть «Мария», содержание которой будет изложено нами при общем обзоре литературной деятельности Нарезного. Повесть «Мария» резко отличается от всех других его романов и повестей, и с этой, так сказать отрицательной стороны заслуживает особенного внимания.

Все содержание *сентиментальных* повестей, насколько мы могли проследить, направлено к тому, чтобы тронуть сердца читателей, заставить их проливать слезы. Поэтому, даже в случае благополучного исхода романической завязки известная степень трагизма, повидимому, считается неизбежной; отсюда различные проявления душевных страданий, проливание слез, обмороки, иногда двухдневные и пр. С другой стороны, как бы для того, чтобы житейские заботы не мешали героям и героиням предаваться в волю своим чувствам и страданиям, они в большинстве случаев являются вполне обеспеченными в материальном отношении. На сцену выведены графы, князья, даже бароны и они все богатые люди. Действие происходит в столице, среди модного света или, по крайней мере, в губернском городе; если герои и героини удаляются в свои усадьбы, то разве для того, чтобы насладиться счастьем любви среди сельского уединения, а также для воздыхания и пролития слез в случае разочарования или утраты предмета любви, хотя виды природы еще более увеличивают их меланхолию.

Сентиментальный элемент, как видно из наших романических произведений второй половины прошлого и начала нынешнего столетия, появляется в начале в виде примеси в некоторых нравоучительных романах и повестях и составляет отчасти как неизбежную пастушеских и сельских повестей. Но собственно *сентиментальные* повести начинаются только в конце прошлого столетия и особенно размножаются с 1800-х годов. Трудно сказать, за неимением точных данных, насколько Карамзин способствовал их распространению, но одно несомненно, что они были в большой моде, так как об этом свидетельствуют современники. Между прочим, Н. Брусилов неудачу своей повести «Бедный Леандр или автор без риторики» 1803 года, прямо приписывает недостатку сентиментальности (в предисловии к своей подражательной повести «Старец или превратности судьбы»).

Что касается образцов, которым подражали сочинители сентиментальных повестей, но они весьма разнообразны и заимствованы из иностранной литературы. Среди множества просмотренных нами «сентиментальных» повестей мы не встретили таких, которые были бы непосредственно написаны под влиянием Карамзина. Только в одной повести «Несчастный Л\*\*\*, Российское сочинение Д. М.» 1803 года, автор говорит, что разговор об участии «Бедной Лизы» послужил поводом для его рассказа, хотя и здесь подражание является весьма условным. Герой довольно бездарно написанной повести, некто Л\*\*\*, также, как и Карамзинская «Лиза», с отчаяния бросается в пруд, но что собственно побудило его решиться на самоубийство — остается неизвестным для читателя, и только из неясных намеков он может догадаться, что причина отчаяния несчастного Л\*\*\* заключается в непомерной строгости родителей и каких-то неудачах по службе.

*Сентиментальные* произведения нашей подражательной романической литературы представляют несколько разновидностей, и поэтому, для больше наглядности, мы укажем на замеченные нами особенности каждой из них и, в виде примеров, изложим в коротких словах содержание наиболее типичных повестей.

Некоторые из них даже едва заслуживают названия «повестей», присвоенное их авторами, потому что этого рода произведения почти исключительно состоят из трогательных излиятий чувств. Так, например, в повести «Часы задумчивости» И. Галинковского, 1799 года, описано томление влюбленного юноши; все окружающие предметы «принимают участие в его горести» и вызывают слезы, даже камин, барельефы на камине, книга Вертера и пр., так как все напоминает ему «несклонную, но давно милую сердцу Элизу». Виды природы, луна, музыка еще более усиливают его тоску; он приходит к мрачным



берегам, «где благотворный сон рассыпал маки свои над очами жителей воздуха и земли» (стр. 47), но ничто не может «ободрить унылый дух задумчивого любовника» и рассеять его печаль. В том же духе написан «Ландшафт моих воображений», А. Кропотова, 1803 года, где также нет никакой романической завязки, ни действия, а только одни рассуждения. В другой повести того же рода «Могила», соч. М. П. Г., супруг оплакивает утрату любимой жены и вместе с желанием скорой смерти выражает надежду, что «дети, плод благословенной любви, придут на гробницу, оросят ее слезами... и это будет приятной данью их благодарности...» В повести «Щастливый воспитанник или Долг благодарности сердца», российское сочинение неизвестного автора 1808 года, богатая женщина воспитывает вместе со своими сыновьями бедного мальчика, которого держит у себя до 13-ти-летнего возраста, а к тому времени и родители в «состоянии отдать его в то место, где совершенствуется юношество». Затем следует ряд сентиментальных рассуждений на разные темы: благодарность родителям, буря, мысли к Богу, цель человека и гражданина, день, вечер, ночь, сравнение весны с юностью, надежда, скромность и пр.

Кроме того существует целый ряд довольно однообразных повестей, где к рассуждениям пришивается нечто похожее на романическую завязку. Так, в повести «Лилия», соч. А. Попова 1802 г., невинная Лилия, обманутая соблазненным ее князем, умирает от отчаяния. В другой повести «Бедная Лилла», неизвестного автора 1803 г., — опять на сцене обманутая невинность, но, вместо смерти, несчастная девушка сходит с ума, между тем как в рассказе А. Кропотова 1809 г., «Дух Россиянки», героиня, поставленная в те-же условия, оказывается более решительной и отравляет себя и соблаздившего ее графа. К тому же разряду малосодержательных повестей принадлежат: «Обольщенная Генриетта», И. Свечинского, 1801 г., «История бедной Марии», без подписи автора, 1805 г., и др.

Но в числе этого вида повестей встречаются и такие, где трагизм имеет благополучный исход. Между прочим, в повести Карамзина «Евгений и Юлия», 1789 г., опасная внезапная болнзнь новобрачного Евгения грозит разрушить счастье влюбленных, но дело обходится одной тревогой. Равным образом в следующей повести 1800 г., «Милые и нежные сердца», рос. соч. А. Э., смерть Евгении оказывается летаргическим сном и она просыпается от воплей своего неутешного супруга Клавдия; затем оба доживают до старости, воспитывают в благочестии сына Доремидонта, который «совратился было с пути добродетели, но через некоторое время чудесным образом паки возвратился к своей должности».

Собственно *сентиментальные* повести, в прямом значении слова, по своей более или менее замысловатой романической завязке и преобладанию рассказа над рассуждением, рельефно отличаются от двух приведенных нами видов чувствительных повестей. Так в соч. И. Свечинского «Украинская сирота, истинная повесть», 1805 г., есть даже попытки описания природы и характеров: «Наташин отец, майор, для которого деньги были началом и концом всех его действий и желаний», женится на богатой и проигрывает все; жена, чтобы сохранить свое состояние, разводится с ним, а затем умирает от тоски. Майор берет дочь к себе и насильно выдает замуж за развратного щеголя Евгения, несмотря на любовь Наташи к молодому малороссиянину Петру, который где-то служит чиновником. Наташа в отчаянии, муж проигрывает все, пускается во все распутства; его сажают в тюрьму и отправляют на поселение. Петр сходит с ума от измены своей возлюбленной и умирает; она также умирает узнав о его смерти; майор ежедневно льет слезы на могиле дочери. (Форма повести полразговорная, полуописательная.)

Но вообще в этого рода повестях, насколько мы могли проследить, всего чаще на сцене нарушение супружеской верности, быть может потому, что эта романическая тема особенно богата поводами для душевных терзаний. В «Розе», полусправедливой, полуоригинальной повести Н. Эмина 1796 г., изображена несчастная любовь и брак по принуждению графской дочери Розы, которая выходит замуж за князя Ветрогона. Милон в отчаянии два дня лежит в обмороке, хочет убить себя, но его удерживают; он едет в деревню, где предается печальным размышлениям, затем он узнает, что Роза также живет в усадьбе и нанимается в садовники к Ветрогону. Роза, не подозревая этого, поет в саду о своей неудавшейся любви, Милон поет в ответ:

«Коль Розою любим счастливейший Милон,  
Чего желать он может более» и пр.

Следует нежное объяснение; влюбленные заключают друг друга в объятия; но во время одного такого свидания является неожиданно супруг, вызывает Милона на дуэль и ранит его. Роза умирает, а супруг ее, князь Ветрогонов [sic!], отравляет себя.

В Карамзинской повести «Юлия», написанной в 1794 г., вышедшей впервые отдельным изданием в 1796 г.<sup>1)</sup>, супруг поставлен в такое же неловкое положение, но дело обходится без дуэли. Он застаёт

Повесть «Юлия» была переведена на французский язык. См. журнал «Патриот» 1797 г., т. II, стр. 208

Юлию в саду, сидящую в нежной позе подле князя N, который целовал ее руку и уговаривал следовать влечению сердца. В первую минуту у Ариста является желание «заколоть их одним кинжалом, утолить кровию жажду справедливого мщения, а потом умертвить и себя, но он усмирил кипящее сердце и скрылся», оставив Юлии объяснительное письмо, в котором великодушно предоставлял ей свободу и все оставшееся после него имущество. У Юлии является раскаяние, она отсылает от себя князя и удаляется в деревню, где становится примерной женщиной и матерью, а супруг, уверившись в ее исправлении, возвращается к ней и оба вновь наслаждаются семейным счастьем.

В повести «Роман моих ближних» 1804 г. взята та-же тема, что у Карамзина, и даже, быть может, заимствована от него; но краски усилены и неизвестный автор видимо рассчитывает на эффект. Особенно трагично начало повести, где нежная Юлия в деревенском уединении льет слезы о супруге Лиодоре, которому она изменила и считает умершим. «Она бродит кротчайшими шагами, бледная, сухая, с поникшей головой, в мрачной густоте березовой рощи, где осенний Борей осыпал землю пожелтевшими листьями; картина осени вливалась в состав растерзанного ее существа нечто мрачнее, нежели глубокая меланхолия...» К ней приносят умирающую госпожу с ребенком, израненную разбойниками; оказывается, что это бывшая приятельница Юлии, Милена; она умирает и оставляет своего маленького сына Любима на руках Юлии, которая посвящает себя его воспитанию. Через три года является неожиданно Лиодор, прощает Юлию и соединяется с нею; Вслед за тем входит Валерий, отец Любима; — все проливают радостные слезы.

В заключение укажем на две повести, в которых сентиментальный элемент является еще более утрированным. Так в повести «Пламир и Раида», 1796 г., К. Д. Горчакова, жестокосердый отец разлучает влюбленных. Пламир едет на войну и, смертельно раненый в сражении, не позволяет врачу вынуть из своей груди осколки разбитого пулей портрета Раиды, которая, в свою очередь, умирает при вести об его смерти. В другой повести, «Несчастливая Лиза, истинное происшествие», соч. князя Долгорукого, 1811 года, на сцене опять неудачная любовь: Лиза выходит замуж по принуждению, но верная своему Аристу бежит с ним. Некоторое время они живут счастливо; Арист уезжает в командировку и оставляет Лизу больною в доме купца; полицейский требует от нее свидетельства и грозит строгостью законов, если она не жена Ариста. С нею делается удар и она умирает. Арист в отчаянии, бросает службу, украшает могилу своей возлюбленной кусточками и цветами, обносит перилами, а «у поверхности ставит картину на которой была изображена плачущая женщина перед урной» (картина в виде виньетки приложена к началу повести). В течение трех месяцев Арист ежедневно посещает могилу своей возлюбленной и льет слезы; но приезжает муж Лизы, узнает об ее смерти и «уничтожает памятник чувствительности, украшающий ее могилу»<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Повесть эта была предварительно напечатана в журнале «Аглая» изд. в Москве кн. П Шаликовым, (см. апрель 1810 г.), но автор вместо своей фамилии выставляет букву P.

Известная повесть Карамзина «Бедная Лиза», изданная в 1792 году, такая же сентиментальная повесть, как и предыдущие, только более красноречиво написанная и с талантливым изображением Москвы. Молодые пастушки поют песни и играют на свирелях, сплетают венки на свои шляпы; на сцене зефиру, кусточки, цветы, пьющие животворные лучи света и пр. Лиза и ее старая мать, беспрестанно проливающая слезы о смерти мужа — «ибо и крестьянки любить умеют!» — представляют олицетворение патриархальных добродетелей, бескорыстия, счастливого неведения зла. Невинная нежная Лиза выражается языком барышни, начитавшейся романов, вместе с старой крестьянской матерью любит красота природы, дважды падает в обморок. Наконец на сцену выступает герой в виде легкомысленного Эраста, с замашками Ловеласа; он соблазняет Лизу, затем безжалостно бросает ее и приказывает слуге выпроводить со двора, когда она приходит к нему за объяснениями. Несчастливая с отчаяния топится в пруде.

«Марьяна роща» Жуковского, напечатанная в 1809 г., только поначалу и некоторыми отдельными выдержками, взятыми почти целиком из Карамзинской «Бедной Лизы», может быть отнесена к сен-

тиментальным повестям. Что же касается общего содержания и всего тона рассказа, то эта повесть очевидно написана Жуковским под непосредственным влиянием западного-европейского, особенно немецкого романтизма. Наиболее рельефное действующее лицо — Рогдай, богатырь времен Владимира, является со всем атрибутами средневекового романического рыцаря. как с внешней так и нравственной стороны.

К сентиментальным романическим произведениям относятся и так называемые *пастушеские* и *сельские* повести, хотя носят своеобразный характер и отличаются преобладанием идиллии, которая составляет их неизбежный элемент. Здесь вся цель нравоучений направлена к тому, чтобы показать наглядно преимущества патриархального простого образа жизни среди природы, перед испорченностью нравов, господствующей в городах.

Среди романических произведений этой категории мы встретили только одну собственно пастушескую. по преимуществу подражательную повесть: «Старец или превратность судьбы», Н. Брусилова 1803 г., где изображены невинные пастухи и пастушки; они одарены всеми патриархальными добродетелями и ведут праздную безмятежную жизнь; описаны зефиры, соловьи, ручьи, протекающие вдоль зеленых берегов, усеянных цветами и пр. Пастушок милон рассуждает с женой о величии мира и их счастья. Элеонора отвечает ему в том-же тоне; является старец в одежде бедного странника; они приглашают его к себе разделить с ними скудную трапезу. Старец рассказывает им историю своей жизни; он был некогда царем и отечески управлял своими подданными, а затем лишился престола и пятилетней дочери, пропавшей без вести, которую он напрасно отыскивал в течение многих лет. Следует объяснение: Элеонора оказывается его дочерью, пастух и пастушки поздравляют ее; старец поселяется в хижене дочери и ее мужа. В другой пастушеской повести «Несчастливые любовники», соч. П. С., 1809 г., хотя и выведены пастухи и пастушки, но она не представляет цельности предыдущей повести. Жестокий отец не хочет выдать своей дочери за бедного пастуха Николая, любимого ею, так как рассчитывает на более выгодного жениха. Николай идет в рекруты и убит в сражении; пастушка умирает от тоски, а за нею отец, хижина пустеет после их смерти.

В *сельской* повести «Розана и Любим», соч Павла Львова Спб. 1790 г., отчасти написанной в подражание идиллии Шмидта «Рахель и Бог Месопотамии», пастушеский элемент уже представляет нечто вводное, Аркадия с серебристыми ручьями, амурами, исполненная красоты, нежности и наслаждений, только «во сне» представляется героине повести, Розане; она видит также своего жениха Любима, влекомого чудовищами, но Амур побеждает их. Действие повести происходит в русской деревне среди крестьян и пастухов, которые живут в первобытной простоте и добродетели и довольствуются скудным достатком. В деревню приезжает молодой барин, заходит в избу вдовы, матери Розаны и застаёт там собравшихся крестьян и отставного солдата. Сначала разговор ведется «о плодородии, милостях Божьих и царских добродетелях», затем переходит к другим вопросам. Автор, устами отставного солдата в высокопарных выражениях высказывает свои взгляды на воспитание, брак, общественные и государственные дела, обязанности гражданина и пр. Молодой барин, слыша такие разговоры, приходит к выводу, что и «подчиненные умеют судить об общественных делах и о начальниках»; затем он окончательно умиляется душою, когда дает деньги матери Розаны и отцу Любима, а те отсылают деньги более бедным семействам. Это убеждает его, что и «в низком состоянии есть высокие души, есть бедные люди, пекущиеся о человечестве; он с своей стороны является в роли благодетеля. Несколько дней спустя, Розана приходит к нему с жалобой, что прикащик хочет незаконно отдать в солдаты ее жениха Любима; барин возгорается благородным негодованием, отдает в солдаты «корыстолюбивого прикащика и его соучастников» и дает богатое приданое Розане. Все проливают слезы; барин исполнен «душевного восторга, видя себя окруженным сими благодарными сердцами», и т. д.

В романических произведениях Нарезного мы не встречаем ни малейшего следа подражания *пастушеским* и *сельским* повестям, что кажется нам вполне объяснимым. Направление его таланта было слишком реальное, чтобы у него могло явиться стремление сочинять такого рода наивные идиллии. С другой стороны, как сын бедного шляхтича, рано знакомый с нуждой и бытом простого народа, среди которого протекали первые годы его жизни, он не мог изображать крестьян и пастухов в духе Пав. Львова и Карамзина и приписывать им ходульные добродетели, несвойственные им язык и понятия.

Наши *исторические* романы и повести конца XVIII и начала нынешнего века представляют несомненные признаки влияния ложно-классических произведений западной романтической литературы. Хотя исторический элемент издавна появляется у нас в разных видах народного эпоса, в народных сказаниях и рассказах, а также в основанных на них повестях, вроде Саввы Грудцына и др., но только в печатной русской литературе конца прошлого столетия встречаются попытки *собственно исторического романа*. Эти попытки носят подражательный характер; и на них долго отражается общий склад так называемых «героических романов», одно время весьма распространенных в Европе, в пору господства ложно-классических условных форм. В «героических» романах, далеких от действительной жизни, выводились полумифические и древнеисторические лица; при этом авторы, в назидание живущим царственным особам, изображали героические характеры; и в разговорах между действующими лицами высказывали свои понятия о философии, политике и нравственности.

Из этих нравственно-политических романов особенно прославилась «Аргенида», латинское сочинение шотландца И. Баркляя, написанное в аллегорической форме, которое впервые напечатано в Париже в 1621 году. Но вскоре, аллегорию заменяет историко-фантастический элемент, а именно в «Телемаке» Фенелона, успех которого вызвал много подражаний в самой Франции и в других странах.

Первым подражателем Фенелона является у нас Оедор Эмин в своем романе 1763 года «Приключение Оемистокла и разные политические, гражданские, физические и военные с сыном разговоры». Еще более близкое подражание Телемаку представляют романы М. Хераскова, который «считал Фенелона величайшим из писателей, а Телемака неподражаемым произведением» (39). Но Херасков смелее западноевропейских писателей и бесцеремонно обращается с историческими фактами и преданиями, как напр. в романе «Нума или процветающий Рим» (1768). Равным образом, в другом своем романе «Кадм и Гармония» (1793), хотя Херасков шаг за шагом придерживается «Телемака» и даже подчас повторяет его, но и здесь он не менее произвольно извращает древне-классический миф. При этом в «Кадме и Гармонии» встречаются самые фантастические имена, небывалые местности, хронологические и другие несообразности, так как автор не считал для себя обязательным соблюдение исторической и географической верности и даже сам заявляет об этом в «Предисловии».

Тем не менее, несмотря на полное отсутствие творчества и поэтического таланта в двух названных романах, а равно и в «Полидоре» (1794), произведения Хераскова пользовались известностью и выдержали четыре издания. Продолжительное кураторство в Московском университете также немало способствовало его популярности среди нового поколения. Карамзин в «Московском журнале» 1791 года (ч. I стр. 80-101) с уважением отзывается о романе «Кадм и Гармония», а равно и журнал «Улей» 1811 г. (ч. II стр. 112-113).

Хотя ложный классицизм окончил свое существование в произведениях Хераскова и его последователей, но ложно-классические формы продолжают господствовать в русском историческом романе и повести подражательного периода. Слава Хераскова как писателя не осталась без влияния на современных «русских сочинителей», выступающих в новой области исторического романа; и с их стороны было вполне возможно подражание его произведениям, за неимением других образцов. Поэтому в наших исторических романах и повестях не только прошлого, но и начала нынешнего века мы неизменно встречаем обычные ложно-классические приемы: — полное отсутствие естественности, высокопарный напыщенный тон и фантастических ходульных героев, не имеющих ничего общего с действительностью. С другой стороны, исторические и иные несообразности, какие позволял себе Херасков, явились само собою у наших первоначальных исторических писателей при невежестве многих из них; и их ни в каком случае нельзя упрекнуть в намеренном извращении фактов. Поэтому в наших тогдашних исторических повестях и романах мы находим полное, почти доходящее до комизма незнание истории и условий описываемого времени, особенно в тех романтических произведениях, где дело касается давней старины.

Особенно любопытна в этом отношении историческая повесть Лазаревича 1782 года «Добродетливая Розана» из времен Владимира Святого, где на сцене Любочест, богатый вотчинник, влюбленный в дочь помещика Розану, которая мучится сомнениями по поводу неравенства их состояния. Он отвечает ей с пафосом: «Что мне пользы в том, что первым по Владимире, если сие достоинство не может разделить та, которую сердце мое избрало повелительницею». Затем Любочест обращает избранницу своего сердца в христианство выдержками из катехизиса; но вскоре свидания и прекращаются; Розана получает письмо, в котором Любочест в высокопарных чувствительных выражениях распространяется о своей любви и объявляет, что должен идти в поход на печенегов. Розана падает в обморок при этом изве-

стии и заболевает горячкой, тем более, что отец хочет выдать ее замуж за старого Грубья, известного своею грубостью и низостью, но она захвачена в плен печенегами, которые уводят ее в степи и хотят выдать замуж за своего князя, но Розана противится. Проходит шесть лет. Наконец, Любочест отыскивает стан печенегов, побеждает их, убивает печенежского князя и женится на своей возлюбленной. Отсюда нравоучение, что «сколь участь Розаны ни была сурова, она, следуя добродетели всечасно, достигла, наконец, и тех блаженных дней».

Между тем наивность рассказа и исторические погрешности повести Лазаревича еще долго встречаются в историческом романе этого времени и служат наглядным доказательством медленности его развития. В этом отношении особенно характерна одна позднейшая повесть, написанная девятнадцать лет спустя, а именно «Ольга», исторический отрывок неизвестного автора, изданная в Москве в 1803 году, в которой разговорная форма преобладает над повествовательной. Игорь царствует в Новгороде, «имя его гремит на севере, раздается в странах полуденных, восток и запад наполнены звуками его; подданные настолько любят Игоря, что готовый «жертвовать жизнью для сохранения его». Он долго не возвращается с охоты и Новгород в беспокойстве приносит жертвы богам в капище Перуна. Куда удалился он? В это время Игорь сидит на берегу Волхова в глубокой задумчивости и видит, что юная девица, покоровшая его сердце, «как серна скрывается в уединенную рощу»; с груди ее падает розовая повязка; «государь поднимает повязку и с пламенным лобзанием прижимает ее к груди своей...» Эта юна девица Прекраса, внучка Гостомысла, которая живет за десять поприщ от Новгорода, с старой Иньгердой, «в спокойном уединении, добродетели и счастья». Неожиданная встреча с незнакомым богатырем смутила ее сердце; она также влюбилась в него и проводит ночь без сна; но скрывает свою тайну от Иньгерды. «На другой день она, с притворной веселостью и невинной хитростью, почти всегдашний ее характер, подходит к Иньгерде и говорит самым тонким языком влюбленной юности». Автор приводит «сей интересный разговор», который, по его мнению, «покажет Прекрасу, что она будет некогда великою Ольгою».

Иньгерда. Что, милая Прекраса, каково проводила ночь сию?

Прекраса. (Притворно, как будто старается скрыть). Ах, маменька, я всегда спала спокойно.

Иньгерда. Спала, а не спишь...

Прекраса. Нет, я сплю, ты знаешь, маменька, я всегда была...

Иньгерда. К чему это? все была-сплыла, а для чего не иначе?... Нет, Прекраса, ты что нибудь скрываешь от меня...

Прекраса смеется, снова хитрит, но, уступая желанию Иньгерды, говорит, что видела во сне богатыря и пр.

Между тем, бежавший из плена Альфред, с 50,000 половцев, идет походом на Новгород. «Он поклялся адом до основания разорить сей ненавистный для него город; половцы на каждое его мановение отвечают скрежетом зубов». Происходит сражение, половцы начинают одолевать, но является Прекраса в виде девы Орлеанской, «вонзает булатный кинжал в грудь Альфреда» в тот момент, когда он хочет убить Игоря, и преследует бегущих половцев.

Является на поле битвы Олег, с колесницею от благодарного Новгорода, и приглашает юную героиню следовать за ним. В Новгороде их ожидала торжественная встреча. Олег подводит ее к престолу, «сиявшему в злате и драгоценных камнях; Игорь сходит с престола и с коленопреклонением подносит ей священные регалии. Жрец именем Вседержителя благословил их бракосочетание, а Олег переименовал ее и наименовал своим именем, Ольгою» и пр. <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Эта повесть, с некоторыми изменениями и с приложением портрета Игоря и Ольги, была перепечатана в Москве в 1814 году, под названием «Игорь, великий князь Севера. Героическое происшествие», соч. А. К. Действительный или присвоивший себе чужое сочинение автор распространяется в предисловии о подвигах русского народа 1812 года и заявляет, что, «писавши сие историческое происшествие об Игоре, он имел целию не иначе что, как изобразить пример храбрости и приверженности наших предков к царю и отечеству... Еще под знаменами Игоря умели они карать дерзнувших нарушить благоденствие Севера» и пр.

К повести приложены любопытные примечания из славянской мифологии, где наряду с кратким объяснением отдельных слов, представлены характеристики славянских богов, вроде следующих: а) Перун — славянский Юпитер, но власть первого сильнее и не столько ограничена, как последнего. Это за

то, что Бог славян никогда не унижал себя превращениями. б) Разсуда — Минерва славян, она родилась не так, как вторая, не из головы Юпитера, но она родилась, или лучше сказать, создалась из двух свойств Перуна: из Рассудка и Мудрости... Римская богиня Мудрости была завистлива, даже ревнива, до которой страсти богиня славян не унижала себя и пр.

Приведенная нами повесть «Ольга» особенно поражает нас в сравнении с «Марфой Посадницей» Карамзина, напечатанной в том же 1803 году; но видимая разница между обеими повестями не покажется нам такой неизмеримой, если мы припомним в общих чертах содержание «Марфы Посадницы». Не подлежит сомнению, что грубые исторические несообразности, встречаемые в «Ольге», были невозможны у талантливого и образованного автора «Истории Гос. Российского»; но и он позволил себе несообразности в своей повести, хотя и в другом роде и в менее первобытной форме. Несмотря на сделанное им в предисловии заявление, что «все главные происшествия согласны с историей», мы не находим этого в действительности <sup>1)</sup>; он также, как его предшественники, совершенно игнорирует условия времени и не знает меры своей фантазии. вследствие чего весь рассказ является ходульным и мелодраматическим. Высокопарная речь царского посла перед народом, патриотические речи Марфы, обра-

<sup>1)</sup> Так, например, первый поход Иоанна на Новгород 1471 г. и второй поход 1478 г. описаны одновременно, а отсюда ряд происшествий, *несогласных* с историей; оба сына Марфы Борецкой не были убиты в сражении, равно и сама она не была казнена в Новгороде; Иоанн после покорения Новгорода не особенно заботился о душевном успокоении новгородцев и принял, как известно, довольно решительные меры и проч.

щенные к народу, ее беседа с детьми своими и отшельником Феодосием поражают нас своей искусственностью, равно и напускной героизм Ксении. Она поливает цветы в то время, когда происходит сражение и ее возлюбленный супруг, Мирослав, в качестве вождя вождя подвергался наибольшей опасности. Но Марфа видит издали рассеянные тысячи бегущих и среди них колесницу, осененную знаменами с телом Мирослава; Ксения «обливает слезами хладные уста своего друга», но говорит матери: «будь покойна, я дочь твоя!» Бледный окровавленный витязь Михаил Храбрый, приехавший в колеснице, изнемогающий от ран, пространно повествует о битве, но голос его слабеет и он, как театральный герой, умирает по окончании речи. Оба сына Марфы убиты в сражении, но она спокойно выслушивает эту весть и своими речами воодушевляет новгородцев. Наступает ночь. «Утомленные воины не хотят отдохновения, они стояли на площади, облокотясь на свои щиты, и говорили: *побежденные не отдыхают*». На другой день Марфа на похоронах двух витязей, «с цветами в руках», опять говорит речь. Между тем, в городе начинается голод, готовится мятеж... «Марфа, гордая, величаясь, вдруг упадает на колени» перед народом, умоляет выслушать ее и ободряет новгородцев; воины спешат в поле, но после трехчасовой битвы победа остается на стороне царя. Иоанн торжественно въезжает в Новгород, «державной рукой своей сыплет злато на беднейших граждан, которые искренно и добросердечно славят его благотворительность. Не грозный чужеземец, но великий государь русский победил русских; любовь отца монарха сияла в очах его!» Тем не менее, перед домом Ярослава воздвигается эшафот, голова Марфы падает на плахе; боярин Холмский для успокоения новгородцев читает им милостивую царскую хартию. Вечевой колокол снят с древней башни, отвезен в Москву и проч.

В другой, более ранней и более удачной, повести Карамзина «Наталья, боярская дочь», написанной в 1792 году, где романический интерес преобладает над историческим, цветистая нежная речь даровитого автора опять-таки плохо вяжется с изображаемым патриархальным бытом старых московских бояр и простым языком старого времени, и он дает слишком большую волю своему воображению. Похищение боярской дочери, описание таинственного лесного жилища опального боярина Алексея, его подвиги на поле битвы, Наталья, сопровождающая его в одежде воина, беседа царя с Алексеем и проч. — все это своего рода несообразности, уменьшающие достоинство повести.

К этому же виду романическо-исторических произведений могут быть отнесены одна повесть 1807 г. и роман 1809 г., хотя исторический элемент также является здесь чем-то побочным; и сочинители без всякой удержки предаются воле своей фантазии. а) Повесть «Б-и и М-в или следствие пылких страстей и нарушения обета», Петра Казотти, 1807 года, взята из времен царя Алексея Михайловича, когда Россия, по словам автора, «наслаждалась безмятежной тишиной и спокойствием, а истина и добродушие блистали во всем величии в сердцах русских». После таких восхвалений читатель вправе ожидать, что они будут подкреплены какими-нибудь фактами; но это ожидание оказывается напрасным: автор только

мимоходом блеснул своими историческими знаниями, а затем следует сенсационный рассказ в сентиментальном духе. б) В четырех-томном романе «Наталья Т-тч-ва и На-ы-н или любовники, сосланные в Сибирь, историческое происшествие, взятое из времен Петра Великого», соч. В. З., после восхваления подвигов Петра I следует описание, как любимая фрейлина императрицы Т-тч-ва умертвила ребенка, прижитого ею с На-ы-ным, за что оба подвергаются ссылке в Сибирь. Но тут уже начинается настоящий роман «с приключениями», с самой запутанной завязкой, с всевозможными, которые в продолжении многих лет мешают встрече несчастных любовников и, наконец, Н-ы-н попадает в тюрьму. Петр Великий приезжает инкогнито в Тобольск и за обедом у губернатора приказывает освободить заключенного, прощает Т-тч-ву, после чего «в безмолвии наслаждается кроткими плодами благости своей». В 1809 году появился другой роман того же содержания, «Любовники, сосланные в Сибирь, или приключения Г-жи Амильтон и Г. Н.», из времен Петра I, с тою разницей, что героиня убивает не одного, а двух детей. Кроме того, изгнанники получают прощение по просьбе своего сына, который родился в Сибири и отличился в Полтавском сражении. Роман этот без подписи лишен всякой внутренней связи и, по видимому, представляет копию предыдущего далеко неталантливоего романа.

Наряду с указанными видами исторического романа и повести, мы встретили несколько повестей, где исторический интерес преобладает над романическим, и сочинители впадают в другую крайность. Они, главным образом, гонятся за историческою верностью фактов и представляют сухие исторические репортажи вроде «Князь Меншиков, любопытный исторический отрывок», соч. Геракова, 1801 года, или же к ущербу романического интереса переполняют рассказ пространными и точными выписками из исторических сочинений и летописей. Типичным примером этого рода произведений может служить повесть: «Ксения, княжна Галицкая», 1808 года, неизвестного автора, который, описывая нашествие Батыя на Россию, вполне точно придерживается даже мелких фактов, сообщаемых Суздальской летописью по списку библиотека Московской Духовной Академии (Изд. Арх. Ком. 1872 г.). Но мы не беремся решить, руководился ли автор именно этим или каким-нибудь другим рукописным списком, потому что Суздальская летопись еще не была издана в 1808 году. О степени его добросовестности в этом отношении можно судить из того, что он, между прочим, делает такую оговорку: «история гласит, что Батый, после победы над войском Юрия, пошел не к Галичу, а к Новгороду, но я переменяю сие обстоятельство для того, что Галич есть родина героини сей повести»...<sup>1)</sup> Что касается романической части повести, то при

<sup>1)</sup> В летописи того же списка сказано, под 1238 годом, что татары после победы над войском Юрия «за сто верст до Новгорода не дошли».

сухом и бездарном изложении автор не считает нужным сообразоваться с условиями времени и описываемой страны, вследствие чего рисует Золотую Орду довольно фантастическими красками. Повесть начинается с описания смерти Галицкого князя Мстислава и его супруги; та же участь грозит их единственной дочери Ксении, но *сам Батый* спасает ее из рук татар и поручает своему брату Темиру отвести ее в Орду, вместе с галицким священником Михаилом и другими пленниками. Темир, одаренный всеми доблестями средневекового рыцаря, при редкой деликатности чувств, влюбляется в Ксению и ежедневно навещает ее по прибытии в Орду; но священник Михаил неизменно присутствует при их свиданиях. Только два года спустя, Темир случайно застаёт Ксению одну, объясняется в любви и просит ее руки в надежде вымолить у брата согласия на брак. Ксения уже готова дать слово, но входит Михаил и принуждает ее в ту-же ночь бежать с ним. Она оставляет Темиру письмо, в котором, в высокопарных выражениях, распространяется о том, что «предпочитает всему любовь к родине», благополучно возвращается в Галич и поступает в монастырь. Влюбленный Темир, после неуспешной погони за беглецами, изнывает от тоски и, наконец, «находит желанную смерть на поле битвы».

С. Глинка в своих исторических повестях, изданных в 1810 году, также считает своей главной задачей верность исторических фактов и придерживается сухого способа изложения Геракова и неизвестного автора повести «Ксения, княжна галицкая». Он делает пространные выписки из мемуаров и различных исторических источников и разнообразит их вставными сценами и разговорами действующих лиц в патриотическом духе.

В заключение укажем на два романа с историческими заглавиями, изданные в 1809 году, которые не лишены известного интереса в смысле попытки романа, основанного на современных событиях. Один из них, «Князь В-ский и княжна Ш-ва или умереть за отечество славно, новейшее происшествие во время кампании французов с немцами в 1806 г.», изд. В. З., 2 части, — по видимому не что иное, как пе-

ределка какого-то сенсационного иностранного романа, написанного в сентиментальном духе. Старый отставной воин, князь Финоген В-ский, живущий в своей усадьбе К-ской губернии, отправляет на войну двоих сыновей; один из них убит в Германии во время сражения, к великому огорчению его тайной любовницы княжны Щ-вой и старого отца, который с отчаяния сходит с ума, после чего автор исключительно распространяется о них. Но, во второй части выясняется, что молодой князь не убит, а только опасно ранен; благодетельный пастор поднимает его с поля битвы и помещает в своем доме до окончательного выздоровления. Молодой князь, в качестве русского офицера, беседуя с пастором, старается внушить ему уважение к русскому воинству. «Народная сила и храбрость, говорит он (стр. 23), ставят нас на ряду с греками и римлянами... Давно-ли утомленная Польша учинилась жертвою вероломства своего? Давно-ли униженные французы бежали из Италии от первого появления российских войск?...» Затем молодой князь превозносит успехи русских «в политическом и моральном отношении» и добавляет, что «лучше сотни раз умереть на поле сражения, нежели беспечно покоиться в объятиях своей любезной». Пастор поражен такими речами и, в свою очередь, читает ему длинную проповедь о нравственности. В заключение храбрый русский офицер возвращается в Россию, следует трогательная сцена свидания с родными и пр. В другом романе или, точнее, повести 1809 г.: «Русская амазонка или героическая любовь россиянки, отечественное происшествие, случившееся в продолжение последней против французов кампании в 1806 и 1807 годах», 2 части, — молодая девушка, переодетая в офицерское платье, отправляется в поход за своим возлюбленным и, вследствие этого, подвергается разным случайностям. Автор, при передаче подробностей военных событий, очевидно, находился под непосредственным впечатлением современных рассказов и газетных реляций; и в этом отношении не позволяет себе никаких отступлений в пользу романического интереса.

Указанные нами попытки исторического романа и повести, при всей неумелости авторов и слабых сторонах, принесли свою долю пользы и были неизбежны при общем ходе развития нашего исторического романа. Из этих единичных попыток, не представлявших никакой внутренней связи, творческому таланту Нарезного суждено было впервые заложить прочное основание для/ будущего исторического романа в настоящем значении слова. Хотя Нарезный не написал ни одного цельного, вполне исторического романа, но в его «Запорожце» и «Бурсаке» мы встречаем законченные исторические картины и мастерское изображение известных моментов из прошлой истории Малороссии, хорошо знакомой ему по живым, еще не забытым преданиям и рассказах о гетманских временах, слышанным в детстве. Он впервые представляет действительные, не фантастические описания старинного быта, со всей тогдашней обстановкой и старинными одеждами; его описания хоть и не так эффектны, как у Карамзина, но имеют характер более исторический. При воспроизведении исторических событий богатая фантазия Нарезного во всяком случае является более обузданной, нежели у которого либо из его предшественников, а с другой стороны он не довольствуется одним сухим изложением фактов, как Гераков, С. Глинка и др.

## XIX

Попытки *реального* русского романа. в период времени от 1764 по 1814 год, встречаются: а) в виде существенного элемента или же случайной примеси в самых разнородных романах и повестях нашей подражательной литературы; б) в форме цельных реальных рассказов, и с) романических произведений, представляющих задатки *самобытного реального романа* с нынешней точки зрения.

Последние показались нам наиболее слабыми и неудовлетворительными. Что же касается единичных проявлений реализма в некоторых подражательных романах и повестях этого времени, а также цельных реальных рассказов, то мы видим здесь приемы, указывающие на значительную степень развития, которая могла быть подготовлена только предшествующей литературой. Реализм нашей строй устной и письменной литературы мог продолжаться и в рассказах, навеянным чтением западно-европейских романов и повестей, вошел и в наши переводные романы и повести, которые шли рука об руку с переделкой и подражанием.

1) Так, например, в одном из вышеприведенных романов «с приключениями»: «Несчастный Никанор и приключение жизни Российского Дворянина», соч. Н., изд. второе, 3 части, 1787 года, встречаются хотя немногие, но безусловно реальные сцены и описания, которые ни в коем случае нельзя назвать наивными или неумелыми. Между прочим, автор с первых же страниц рисует меткими и вполне реальными чертами жизнь обедневшего Никанора в доме «добродетельного человека» и оказываемые



им услуги, чтобы заслужить милость благодетелей. «Он играл с ними в маленькую игру для препровождения времени, между тем употреблял пристойные шутки, пел и сочинял песни; также сочинял оды и всякие увеселительные стишки... сказывал им сказки и истории, на святках производил с ними всякие игры и гадания, в маскарадах одевался в женское платье, словом сказать, все то делал, что в угодности им служило...» Затем, в той же первой части романа, на стр. 150-155, не менее рельефно описаны нравы в доме «милостивца», где, кроме Никанора, жили по бедности и другие дворяне, как, например, титулярный советник Никифор, который помещался в одном покое с Никанором. Между обоими жильцами была вражда и постоянные ссоры, так что хозяин дома, для прекращения споров, в шутку посоветовал им размежеваться. Никанор устроил себе глухую перегородку у печки, так что титулярному советнику, любящему прохладу, стало совсем холодно; этот, в свою очередь, чтобы «познобить Никанора, проигрывавшего все ночи в карты с барынями», старался заранее запереть сени и ворота. Но люди любили Никанора и всегда отворяли ему, хотя раз ему все-таки пришлось «перелезть через забор и пола кафтана осталась на решетке, однако, он ничего не сказал врагу своему, который за всякую бездельницу серживался...» Равным образом, в самом рассказе Никанора, где он повествует о своей жизни, исполненной самых неправдоподобных приключений, встречаются реальные описания местностей и городов, очевидно, знакомых автору, старой помещицкой усадьбы, с неизменным садом и прудом и пр. Не лишена также известной степени реальности история неудачной женитьбы и постепенного разорения несчастного Никанора.

В повести «Похождения Ивана Гостиного сына», И. Новикова, напечатанной в Сборнике 1785 года и принадлежащей к тому же разряду романов «с приключениями», как и «Несчастный Никанор, вполне реально описана (стр. 26-40) история его детства и постепенное деморализование, вследствие отсутствия нравственного воспитания и нелепого потворства со стороны глупой матери, которое привело его к распутной жизни, обкрадыванию отца и пр. Тем не менее, по замечанию М. И. Михайлева (40), «заимствование из чужеземного источника видно и в самой истории "Ивана Гостиного сына..." Аллегорический сон, имена Елизы и Елионоры и несколько нерусских оборотов повести показывают, что она не вполне принадлежит Ивану Новикову...»

Из *нравоучительных* романов наиболее заслуживает внимания в данном направлении вышеприведенная повесть Н. Остолопова «Евгения или нынешнее воспитание», Спб., 1803 г. Несмотря на избитую тему о вреде французского воспитания, в рассказе встречаются живые реальные сцены, как, например, наем француженки вдовой Ветраной, вся забота которой заключается в том, чтобы француженка ни слова не говорила по-русски, а также ее наивное хвастовство перед приятельницами, по поводу удачного выбора гувернантки. Не менее реально описаны блестящие результаты воспитания: Евгения приводит в восторг всех знакомых своим прекрасным французским выговором, искусством в танцах и умением одеваться со вкусом. Мать гордится свое благовоспитанной дочерью и только бегство Евгении с соблазвившим ее парикмахером Полиссоном разочаровывает Ветрану.

Тема обеих предыдущих повестей совмещена в реальном нравоучительно-сатирическом романе А. Измайлова, «Евгений или пагубные следствия дурного воспитания и сообщества», 1799-1801 гг. СПб. 2 ч. (41), где автор описывает вред дурного домашнего, а равно и модного, так называемого французского воспитания в богатой помещицкой семье. Евгений Негодяев, главное лицо романа, является олицетворением всяких пороков, вследствие систематической, хотя и бессознательной нравственной порчи и нелепого баловства со стороны родителей, которые по своему заботятся об его будущем: с рождения записывают в гвардию и платят большие деньги на его образование, но при своеобразном понимании воспитания, они нанимают, по рекомендации модистки, в гувернеры для своего единственного сына беглого французского каторжника, затем отдают Евгения в модный пансион, содержимый немцем Эзельманном. Здесь Евгений приобретает внешний лоск, совершенствуется во французском языке и танцах; при этом втайне научается пьянству и азартной игре, наконец соблазняет четырнадцатилетнюю воспитанницу Марию и за этот подвиг выключен из пансиона. Также бесплодно для умственного развития Евгения оказывается его пребывание в Московском университете, где он становится посмешищем товарищей и сводит дружбу с бедным студентом Развратинным, который по окончании курса едет с ним в Петербург и, живя на его счет, окончательно деморализует его с помощью столичного развращенного общества. И так как все действующие лица романа оказываются более или менее порочными, то автор наказывает из поголовно: Евгений Негодяев, после смерти родителей, проматывает все завещанное ими состояние и умирает на 24 году от рождения; Развратин кончает жизнь самоубийством и т. д.

Сюжет юношеского романа А. Измайлова не новый, так как вопрос о воспитании часто обсуждался в литературе и служил предметом для сатиры второй половины восемнадцатого века. Но тем не менее роман «Евгений и пагубные следствия дурного воспитания и сообщества», несмотря на все натяжки и преувеличения заслуживает особенного внимания по своей реальной постановке. Автор наглядно знакомит читателей с домашним воспитанием барских детей и общим характером модных пансионатов того времени, а также рельефными чертами рисует злоупотребления крепостного права, бесчеловечное обращение с домашней прислугой и жизнь помещиков у себя дома и в столице при их ненасытной жадности к наживе, мотовству и разврате. Не менее любопытны подробности, сообщаемые автором о поступлении Евгения Негодяева в гвардию; подробности эти служат подтверждением современных известий о тогдашней военной службе богатых дворян, при которой получались чины, помимо выполнения каких-либо обязанностей. Равным образом, заслуживает внимания в книге II-й «история Развратина» (стр.67-99 изд. 1891 г.), который вполне реально описывает свое детство и молодость, проведенные в чиновничьем кругу провинциального города, и приезд в Москву для поступления в Университет. Неправдоподобным является только обвинение, возводимое им огульно на московских профессоров, так как по его словам, в качестве бедного студента, он «не получал даже похвалы за свое прилежание и успехи» и должен был уступать первенство более слабым товарищам, «потому что их отцы могли быть полезны наставникам или своей знатностью или своим имуществом»<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Роман А. Измайлова «Евгений или пагубные последствия дурного воспитания и сообщества», подвергся строгой критике в третьей книге журнала «Новости» 1799 года (стр. 277), где неизвестный рецензент высказывает свое негодование по поводу «реализма и недостаточной нравственности автора», который «сам любит волокитством Евгениевым и сам готов лишить оправдания, нарушенную честность женщины» в лице Марии.

Рецензент считает невозможным, чтобы насмешки университетских товарищей на Евгением писаны *в классах на стенах* и сам он *во время лекций вырезывал на лавке свое имя*. «Такой беспорядок, восклицает он, я почитаю совершенно несообразным публичному благоустроенному месту, хотя бы Автор уверял меня, что он сам тот Евгений. Да и зачем подчивать публику таким ребячеством, такими platitudes!...» Вообще «ирония Автора и даже гипербола, самая плохая, производит отвращение к книге. а не к порокам, против коих вооружиться, повидимому, было для него дело постороннее... Так не пишут романов для воспитания!...» В заключение рецензент выражает надежду, что автор, «ограничив несколько плодотворную силу своего воображения при своих способностях и лучшем вкусе, с благороднейшим тоном может со временем написать что-нибудь достойное чтения. Об изобретении же его надобно сказать, что сам Евгений не мог бы подробнее и точнее написать свои confessions».

Реализм проявляется до известной степени и в наименее самобытных *сентиментальных* романах и повестях, хотя в виде случайно примеси, не имеющей ничего общего с остальным рассказом. Так, например, в повести «Новый чувствительный путешественник или моя прогулка в А\*\*\*», соч. К. Г., представляющей сколок с «*Voyageur sentimental ou ma promenade à Yverdum*» Верна (французское подражание известному сочинению Стерна), «чувствительный путешественник» заезжает по дороге в казенную русскую деревню и неожиданно обращается к хозяевам постоялого двора с вопросом о положении крестьян: «Что, каково жить? спрашивает он, нет ли притеснений со стороны гг. исправников?» На это получается ответ: «и, батюшка, сунул им в руку. так все ладно будет; они люди не чиновные, все берут, а то как бы, батюшка, не притеснять!»... После этой случайной вставки рассказ продолжается в прежнем сентиментальном тоне.

2) Из *цельных реальных рассказов* заслуживает внимания «Новгородских девушек святочный рассказа с играным в Москве свадебным», помещенный в упомянутом сборнике 1785 года И. Новикова (Похождения Ивана Гостиного сына), стр.112-152, где, как и в других сборниках XVIII века с их разнообразным содержанием, могли быть помещены некоторые из произведений прежней рукописной литературы, ходившие во множестве списков среди читающей публики в до-петровские времена. Основное содержание Святочного рассказа то же, что и Фрола Скабеева, найденного в одном из сборников прошедшего столетия И. Д. Беляевым при описании Погодинских рукописей, поступивших в И. П. Библиотеку, как о том заявляет сам М. Погодин в примечании к повести «История о российском дворянине Фроле Скабееве и стольничей дочери Нардина Нашекина Аннушке», напечатанной в 1-й кн. «Москвитянина» 1853 г. (стр.3-16). Таким образом, обе повести «Новгородских девушек святочный рассказ» и «Ис-

тория о Фроле Скабееве» помещены в сборнике XVIII в. (печатном и рукописном) и представляют варианты или переделку старинной оригинальной русской повести, пока единственной в этом роде. Здесь является вопрос, в которой из обеих повестей, помещенных в упомянутом сборнике XVIII века сохранился больше первоначальный текст и подвергся сравнительно меньшей переделке. Вопрос этот едва-ли можно считать окончательно решенным и нам кажется недостаточно убедительным мнение автора «Библиографической заметки» (подп. Г. Г.), напечатанной в 3-й кн. «Москвитянина» того же 1853 года (стр. 245-246), где «Новгородских девушек святочный рассказ» без всяких доказательств назван «позднейшей переделкой истории о Фроле Скобееве» и где сказано, что «основанием для этого рассказа послужила повесть о Фроле Скабееве. Лица и происшествия те же; изменены однако некоторые имена, некоторые частности, а самое изложение уже новое и местами только встречаются старинные слова»... Мнение автора «Библиографической заметки» разделяет и А. Н. Пыпин, так как в своем «Очерке литературной истории старинных повестей и сказок русских» (1858 г.) также называет «Новгородских девушек святочный рассказ» — переделкой «Истории о Фроле Скабееве конца прошлого столетия» (42).

Между тем, нам кажется, что «Новгородских девушек святочный рассказ» едва-ли можно признать переделкой «Истории о Фроле Скабееве», так как «святочный рассказ» повидимому представляет вполне самобытную передачу старинной повести, передачу, быть может, более раннюю и, во всяком случае, более неумелую, чем «История о Фроле Скабееве», насколько мы могли заметить в повести «Новгородских девушек святочный рассказ» новые слова, понятия и выражения, свидетельствующие о позднейшей переделе, встречаются в виде *неумелых вставок*, которые заметно отличаются от основного текста, очевидно старого, не имеющего ничего общего с способом изложения повествователей и романистов XVIII века <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Считаю нелишним выписать целиком начало повести: «Новгородских девушек святочной рассказ съигранной в Москве свадебным»:

«Около Новгорода и Пскова жил один дворянин, оставшийся после родителей своих в малых летах сиротою, не имевший никого из родственников, кроме одной сестры одинаковых с ним лет около двадцати пяти: и хотя при крещении и назван он был Селуяном и происходил от давней фамилии Сальниковых однако не имел счастья содержать себя по чести дворянина с малых лет воспитывался и с сестрою щедростью людскою, а возмужавши за неимением как и у батюшки его крестьян принужден пропитание иметь по образу родительскому трудами своими, вспахивая и удобряя землю сам в рядовую с прочими чужих господ крестьянами, ибо у него земли было дволь, равно сохи, бороны серпы и косы находились в добром здравье, а сестрица его, как девушка взрослая не оставляла также, чтобы не прилагать прилежного смотра иметь за домом и за скотиною.

«Сему дворянину в оной жизни по много прилагаясь в поле в вожении домой и убирании хлеба и сена трудам несколько наскучило и для того довольно разумеючи русской грамоте и острых ко всяким обманам замыслов и затеев, понявших у бывшего своего учителя дьячка поворотливого и к тому-же как и он лукавству обыклого, посоветовав спросивши его и принявши наставление вздумать ходить за приказными ябедами, коих в тамошнем краю в то время очень много бывало стряпчим; и так посвятив себя оным чином, ездя по окольным деревням с наставником своим пересказывал о себе что он в стряпческом искусстве весьма знающ, по чему во первых поссорившиеся между собою крестьяне приходя к нему просили справедливого и скорого на словах решения и удовольствия, а он судил каждого по достоинству дела, обирая принесенное и с ответчика и с челобитчика поровну, а кто больше даст тот и прав, хотя бы и подлинно был виноват но ослепленные их глаза тому веривали; кто же его судом были недовольны тем писывал к господам челобитные и наставлял доброхотных дателей полутче нежели скупых и несмысленных по том осыпали его множеством мелкотравчатых дворян и псьменными прозьями с доверенностию, чтоб ему за их хождение иметь и по приказам» и пр.

С другой стороны, в пользу нашего предположения служит исторический элемент повести о Фроле Скабееве, который совершенно отсутствует в «Новгородских девушек святочном рассказе». Судя по множеству прочитанных нами повестей и романов, если только это не *простая случайность*, исторический элемент в романе едва-ли не является впервые в последней четверти прошлого столетия. Равным образом, не смотря на богатую фантазию некоторых сочинителей исторических романов и повестей, мы нигде не встретили, кроме «Марфы Посадницы» Карамзина, *намеренного* извращения исторических фактов. Если сочинители отступали от истины, то бессознательно, вследствие незнания истории, но

езде, где они только могли собрать точные сведения об исторических лицах и приводимых фактах, их скорее можно упрекнуть в том, что для исторической верности они жертвуют романтическим интересом. Даже в таких произведениях, которые не имеют ничего исторического, как, например, в вышеупомянутом романе «с приключениями», 1787 г., «Несчастный Никанор», автор хотя выводит мимоходом известных ему, отчасти исторических лиц: В. А. Репнина († в 1748 г.), И. А. Бибикова, смоленского губернатора Аршеневского и др., но не позволяет себе относительно их никаких фантазий, хотя они не играют большой роли в романе. Поэтому трудно допустить, чтобы современник мог игнорировать такой факт, что знаменитый в свое время, ближний боярин и думный дворянин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, любимец царя Алексея Михайловича, поступивший в монастырь в 1672 († 1680 г.), имел только *единственного* сына, *стольника* Воина Афанасьевича Ордин-Нащокина, который был впоследствии воеводой в Галиче и умер *бездетным*. Затем до самого Афанасия Лаврентьевича фамилия псковских помещиков Ордин-Нащокиных не встречается в списках московских думных чинов (43).

При этом считаем необходимым сделать оговорку, что если мы выразили некоторые сомнения относительно исторического элемента напечатанной повести Фрола Скабеева, то не более, как в виде догадки, потому что этот вопрос может быть решен только при всестороннем изучении нашего первоначального исторического романа.

Не менее любопытен, как и «Новгородских девушек святочный рассказ», хотя и в другом отношении, позднейший, безусловно *реальный*, юмористический рассказ 1809 года А. Кропотова (автора сентиментальных повестей). Этот единственный в своем роде, несколько многословный рассказ, написанный старинным слогом, носит название: «История о смуром кафтане, которым обладатель не только что желает прикрыть свои плечи, но и выкроить жене своей юбку». Главным действующим лицом является сторож Панфил, все желание которого обращено на приобретение смурого кафтана, висевшего несколько лет в воеводской канцелярии, «из коего намерен он был выкроить теплую исподнюю юбку жене своей. а себе камзол с рукавами для зимнего времени, и просил о сем с самым жалобным тоном его высокоблагородие воеводу»... Но «отменное сострадание, замечает автор, нередко переносит благородный рассудок за границы справедливости... ибо лишь жалобные слова: исподняя юбка, бедна жена, теплый смурой кафтан коснулись до ушей его, сердце воеводы закипело и прежде, чем Панфил успел закончить свою челобитную... он сказал ему, что с большою охотою и от всего сердца он уступает ему на оный право; но, Панфил, прибавил он, ты знаешь, что я недавно поступил на мою новую должность, не знаком с здешними обрядами. Подожди лучше с неделю, пока я спрвлюся, и ежели увижу, что он в моей власти, уверяю тебя, друг мой, снова, что с большим удовольствием отдам тебе его, если бы он был в сто раз лучше, как ты мне его описал»...

«Сих-то справок и страшился Панфил сердечно; он знал очень хорошо, что ежели воевода молвит только одно слово о сем канцелярским приставам, то все дело расстроится. По сим и еще нескольким причинам, кои упоминать не нужно, Панфил сделался еще неотступнее. Докучливость его имела свое наступательное действие на стороне его высокоблагородия, начавшего подозревать, что дело не так-то справедливо».

«В один вечер, сидя в своем учебном кабинете, размышлял он со всех сторон о сем деле, не выпуская из виду Памфилов характер... и сняв канцелярский протокол, молвил самому себе: может я найду что-нибудь и о кафтане. Произнося слова сии, едва успел он открыть книгу, как и попал на желанное место, ясно написанное на первой странице крупными буквами в следующих словах: *Memorandum* «теплой серой кафтан был куплен и отдан за двести лет тому назад уездным помещиком в сию канцелярию для исключительного употребления *канцелярским* сторожам и их наследникам во время студенох, дождливых, зимних и холодных дней; упомянутый уездный помещик сделал это из сострадания к сим беднякам и спасения своей собственной души, за которую и повелено им молиться» и пр.

Но едва успел воевода мысленно поздравить себя. что «не успел отдать кафтана и принять твердое решение не касаться даже до пуговицы его, как бряк Панфил со всем предметом под обеими пазухами, ибо кафтан действительно был весь у него раскроен, — камзол находился под правую пазуху, а исподница под левою; он нес все сие к портному и, веселясь душевно, зашел показать воеводе искусство свое в крениии»...

Автор не находит слов, чтобы дать понятие «об удивлении и благородном негодовании, которое сей неожиданный и нахальный Панфилов поступок напечатлел на взорах воеводы... исключая, что Панфилу повелено было суровым голосом положить на стол, идти к своей должности»...

«Около сего времени его высокоблагородие, как человек разумный, послал за повытчиком Иваном... и во время присутствия «по собрании всех членов рассказал им все дело от начала до конца. Панфил не мог сказать много в свою защиту... и объяснил, что ежели он не имеет на сей кафтан право, то по крайней мере за заслуги, — так как и всем известно, что он ему много оных оказывал: что он ваксил воеводские *башмаки* без счету, смазывал сапоги его более пятидесяти раз, бегивал в города за яйцами, точил всегда ножи, чистил и седлал лошадь, — а равно и жена его была всегда к его услугам и что ни он, ни жена его по своей лучшей памяти не брали за сие ни копейки, исключая кружку пива»... а с полгода тому назад, когда его высокоблагородие, разрезывая репу, порезал свой палец, он ходил за полмили к одной *старушке* спросить ее чем лучше и скорее можно унять кровь, и принес от нее паутину и никогда не думал, «что чрез меру много делает» и пр.

«Сей план Панфилова защищения не мог произвести ничего кроме смеху. И по рассмотрению сего с обеих сторон, вышло, что Панфил поступил весьма худо. Сверх сего открылися еще Панфиловы слова... что повытчик Иван и все прочие служители скверные люди — за сей подлый поступок вытолкали его за двери и запретили казаться на глаза».

«Сначала Панфил был жестоко взбешон, бранился, как сумасшедший, алялся, что будет просить суда... но по успокоении первого гнева вспомнил, что его высокоблагородие может его укротить, и ежели только захочет, то отошлет в смиренный дом. А посему оставя оного в покое, напал со всею жестокостью на повытчика... и возобновил дело о старых выношенных *черных* штанах... которые когда-то выманивал у повытчика» и пр.

Историю это ссоры Панфила с повытчиком Иваном мы не будем приводить здесь, чтобы не удлинять уже достаточно длинных выдержек из рассказа А. Кротова.

Само собою разумеется, что указанные нами примеры проявления реализма в различных романах и повестях нашей подражательной литературы, а равно и рассказы, рисующие отдельные эпизоды, ни в коем случае не соответствуют понятию о *самобытном реальном романе* с нынешней точки зрения. Задачи его встречаются только в тех романических произведениях, где рассказ является хотя до известной степени законченным и романическая завязка имеет более или менее реальное основание.

3) К этого рода произведениям принадлежит сочинение 1790 г., под названием: «Похождение некоторого Россиянина, истинная повесть, им самим писанная», содержащая в себе историю его службы и походов с приключениями, где неизвестный автор делает попытку совместить роман с дневником, и попытку довольно неудачную, так как не достигает ни той, ни другой цели. Рассказ ведется от лица «некоторого Россиянина», который шаг за шагом описывает свою боевую жизнь, перемешанную с различными любовными похождениями. Но, к сожалению, обе части переполнены утомительным, бесцветным перечислением виденных городов и местечек, не исключая самых ничтожных. Сверх того, при полной бездарности изложения, «некоторый Россиянин» тем же деловым языком военной реляции повествует о таких любопытных событиях своей жизни, как пребывание в Варшаве в 1764-1772 гг., о походе к турецкой границе, бомбардировании Хотина и пр.; и даже во многих случаях подробнее распространяется о своем бесцельном проживании в каком-нибудь малоизвестном городке. Такое же отсутствие всякого живого интереса представляют и его любовные похождения. Во второй части помещены в виде вставок шесть русских народных сказок, рассказанных солдатами во время ночлега.

Другое позднейшее сочинение «Несчастливая Маргарита, истинная российская повесть, 1803 года, без подписи автора, представляет несравненно больший интерес, в смысле попытки создать цельную самобытную повесть на реальной русской почве. Рассказ ведется от лица молодой монахини Маргариты, которая простым безыскусным языком описывает историю своей ранней молодости, проведенной в доме отца, овдовевшего богатого купца, который держал ее во всей строгости и поручил надзору старой няни. Маргарита случайно знакомится с бедняком Иваном и влюбляется в него; корыстолюбивая няня, подкупленная влюбленными, устраивает для них свидания в комнате молодой девушки. Между тем отец задался мыслью выдать дочь за богатого купеческого сына, добродушного малого, которому Маргарита откровенно заявляет, что не любит его, и он соглашается отложить свадьбу на неопределенное время. Затем следует описание, как во время одного из нежных свиданий Маргариты неожиданно является в ее комнату хозяин дома, так что няня едва успела спрятать Ивана в постели и навалить на него перины. Проходит час за часом. Маргарита меняется в лице, а отец продолжает беседовать с нею. После его ухода обе женщины бросаются к постели и находят труп задохнувшегося Ивана; няня приводит своего сына пьяницу, проживающего в доме в качестве прикащика, и за известную плату уговаривает его вы-

тащить ночью труп из дому и бросить в Волгу. С этих пор Маргарита в его руках; он беспрепятственно требует от нее денег и, наконец, однажды под пьяную руку, расхваставшись перед приятелями, требует через посланного, чтобы сама купеческая дочь принесла ему денег в корчму. Маргарита исполняет его требование и, под влиянием страха и жажды мести, поджигает корчму; и таким образом сгорают заживо несколько человек. Начинается уголовное дело, которое прекращается с помощью денег отца Маргариты; она поступает в монастырь.

Хотя из здесь тема заимствованная и не раз встречается в более старых пересказах, но тем не менее эта повесть в целом представляет задатки самобытного романа, как по способу разработки самой темы, так и удачному применению к русской жизни и нравам. В ней даже видны попытки описания природы, ярмарки, купеческого быта и как бы намеки на типы, хотя все еще в неопределенных, трудно уловимых, чертах; равным образом, и в самом рассказе нет достаточной последовательности, вследствие чего многое остается невыясненным.

Только в произведениях Нарезного мы встречаем вполне самостоятельные ему принадлежащие сюжеты, последовательный законченный рассказ, цельные реальные описания, рельефно обрисованные типы и характеры. Если его можно упрекнуть в недостатке художественного вкуса, в избытке действующих лиц, запутанной завязке, неизменном торжестве добродетели над пороком и пр., то это была неизбежная дань времени и влиянию предшествовавшей подражательной литературы. Везде, где Нарезный касается современной действительности в своих литературных произведениях, он является вполне самобытным, изображает реальный русский быт, русские нравы и русских людей с их характерными особенностями, привычками, типичными чертами.

Если с одной стороны реализм в его романах, как и в некоторых произведениях предшествовавшей литературы, доходит до грубости, почти цинизма, то с другой — верное воспроизведение действительности приводит его к изображению глубоко прочувствованных положений, где «слышится смех сквозь слезы». Здесь юмор его по своей беспощадности доходит до высокого драматизма, как, например, в описании крайней нищеты князя Чистякова в первой части «Российского Жилблаза», а также в отдельных сценах других его произведений.

Таким образом, в виду невыгодных условий литературной деятельности Нарезного, и общей оценки его произведений, в связи с предшествующей романической литературой, он может быть по справедливости признан родоначальником не только русского *самобытного* «исторического», но и реального романа. Заслуга эта всецело принадлежит ему тем более, что при жизни он не имел соперников. Первые романы Булгарина, пользовавшиеся в свое время значительной, хотя далеко не заслуженной известностью, а также произведения выдающихся русских романистов: Загоскина, Лажечникова, Вельтмана, стали появляться четыре года спустя после его смерти, а именно с 1829 года, не говоря о Пушкине, Гоголе и др. Равным образом, талантливые повести Квитки вышли отдельным изданием только в 1834 году.

## XX

В настоящее время при отсутствии положительных данных трудно определить степень распространения нашего подражательного романа. Но судя по отрывочным дошедшим до нас известиям, русские книги вообще мало пользовались сочувствием русской интеллигенции второй половины прошлого и начала нынешнего столетия. Во всяком случае, наши подражательные произведения и переводы были хуже своих образцов и не могли представлять интереса для образованной русской публики, которая также как и в более раннюю пору, признанию языков могла читать иностранных писателей в подлиннике. Понятно и презрительное отношение представителей родового дворянства второй половины XVIII века к русской печатной литературе. Ф. Ф. Вигель в своих «Записках» пишет о М. Ф. Салтыкове, что он «как настоящий барин получил совершенно французское воспитание. Классиков века Людовика XIV уважал он только за чистоту их слога, более же пленялся роскошью мысли французских философов XVIII века... О немецкой, об английской литературе не имел он понятия, в русской литературе видел *невинного младенца коего лепет может иногда позабавить*» (44). Не менее характерна следующая заметка Н. Новикова в «Живописце» 1773 года (45). Наше просвещение, говорит он, или так сказать пристрастие к французским книгам не позволяет покупать русских... В российской типографии напечатанное редко нашими господчиками приемлется за посредственное, а за хорошее почти никогда<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Чрезмерное увлечение иностранной литературой большинства русского более или менее образованного общества должно было вызвать реакцию со стороны русских патриотов, которые, по свидетельству современников, впали в другую крайность и читали только одни русские книги. Впрочем, такое раздвоение не составляло исключительной особенности прошлого века, но продолжалось и в начале нынешнего, как видно из напечатанной в «С-Петербургском Вестнике» 1812 года (№ 1 стр. 1-2) «Нечто о журналах», где автор (Дашков), говоря о причинах прекращения многих литературных журналов, замечает между прочим: «Одни с необузданным упорством пренебрегают чтением хороших иностранных книг... другие прилепясь единственно к иностранным не читают ничего русского и потому не умеют писать на своем языке. Обе сии крайности опасны часто и для опытных людей» и т. д.

Что касается остальной русской публики, воспитанной на рукописи и в ее традициях, то едва ли она могла находить большое удовольствие в чтении наших подражательных романических произведений. Исключение составляли «восточные повести» сказочного характера и «романы с приключениями» (*romans d'aventures*), которые по своей запутанной неправдоподобной завязке имели много общего с такими-же рукописными историями, представляя при этом фикцию, привнесенную к русским нравам. Типичным произведением этого рода был подражательный роман: «Несчастный Никанов и приключения жизни российского дворянина» соч. Н. 1787 г. три части, (второе издание по Росписи Смирдина), о котором распространяется Карамзин в упомянутой статье «О книжной торговле и любви ко чтению в России» 1802 года: — «Кто пленяется *Никанором злосчастливым дворянином*, тот хорошо делает, что читает сей роман: ибо без всякого сомнения чему-нибудь научается в мыслях и в их выражении... Надобно всякому что-нибудь поближе: одному Жан-Жака, другому Никанора; кто начинает *злосчастливым Никанором* нередко доходит до "Новой Элоизы"».

Но таких произведений, как *Никанор*, было немного в русской подражательной литературе, а с другой стороны печатный «роман с приключениями» скоро прекратился в своем первоначальном виде и значительно измененный входит, как составной элемент, в подражательные романы и повести других категорий. «Восточная повесть» в свою очередь все более и более теряет свой сказочный характер, становится тенденциозной и также как на западе почти исключительно изображает патриархальные добродетели далеких народов в назидание «испорченным» европейцам. Затем на сцену выступает бытовой нравоучительный роман, целиком заимствованный из иностранной литературы, где жизнь, нравы, изливания чувств были совсем чужды русскому читателю, а действующие лица, хоть и с русскими именами и фамилиями являлись неестественными и изуродованными. Инстинктивно сознавали это и сами «русские сочинители» и в большинстве случаев обозначали точками или заглавными буквами названия предполагаемых русских городов и губерний, или вовсе избегали каких-либо указаний местности.

Не менее далеки от русской действительности сентиментальные романы и повести подражательного периода. Сентиментализм, исторический возникший на западе, на почве новых гуманных и философских воззрений XVIII века, был у нас явлением наносным, своего рода модой; и поэтому не мог сродниться с русским национальным характером и кончил свое существование с Карамзиным и его последователями. Наряду с этим русский читатель, воспитанный по старине, мало или вовсе незнакомый с европейской пасторальной литературой и совершенно чуждый ей, не мог сочувствовать «сельским» и «пастушеским» подражательным повестям, где русская деревня изображалась в виде Аркадии, а крестьяне, пастухи и пастушки пребывали в праздности и отличались патриархальными добродетелями.

Таким образом, наш подражательный роман, отражая на себе разные веяния западной литературы, все более и более удалялся от русской почвы и не мог пользоваться большой популярностью. Влияние его на русское общество, по всем данным, было то-же что и переводного романа, так как он не создал ничего нового, а представлял только повторение форм и содержания иностранных романических произведений. Небывалый успех «Бедной Лизы» Карамзина представляет едва ли не единственный пример увлечения русской публики подражательной повестью, и это увлечение было вызвано не ее содержанием, а красивой внешностью и главное талантом автора, так как талант всегда обаятельно действует на толпу.

Влияние запада на наше общество, особенно заметное в прошлом веке, тесно связано с общим ходом нашего просвещения, которое в это время сделало необыкновенно быстрыми успехи. Если сравнить

умственный уровень русского наиболее образованного и обеспеченного класса 40-х и 50-х годов, с уровнем второй половины XVIII века, а тем более конца его, то мы увидим огромную разницу. В этом отношении, весьма поучительны правдивые «Записки» простодушного майора М. В. Данилова, который рисует наглядную картину домашнего воспитания и школы второй четверти прошлого века. Тогда русская азбука под руководством дьячка, пономаря или грамотного крепостного человека с трудом вбивалась в дворянские головы и «многие дворянские дети грамоте с нужною могли разуместь, а писать только редкие умели...» В связи с этим также не развито было сознание гражданского долга и чувство собственного достоинства тогдашних русских дворян, так что по словам Данилова «в военную службу охотою никто не хотел и записывали дворянских детей с принуждением... а до Петра Великого за счастье почитали быть у знатных бояр по услугам, толькоб не быть в государственной служб» (46).

Но едва проходит четверть века и русское дворянство, в особенности, высшее в обеих столицах все более и более поддается влиянию западно-европейского образования и культуры. Из среды его выделяются люди вполне усвоившие европейскую цивилизацию; но образование пока было достоянием немногих, а тем более в провинции, где «общество образовалось во второй половине XVIII века и стало жить там (47), долго сохраняя черты старого допетровского быта. Так Винский говорит о временах Екатерины II: Скажу смело, что у нас людей со сведениями весьма немного тогда было, потому что одни лучшие и достаточнейшие дома через воспитание доставали знание, что из сих домов наполнялися двор, гвардия и важнейшие места в столицах и, что в губерниях таковых особы было весьма мало; жившее же в деревне дворянство по грубости своей и бедности, редко даже бывавшее в своих уездных городах с нуждою наученное читать и писать» (48). Наряду с этим имеются сведения, что не только во время составления «Наказа» в первое десятилетие царствования Екатерины II, но и в начале нынешнего столетия встречались совсем безграмотные дворяне, не умевшие подписать своего имени.

Медленно двигалось образование в провинции, но и там все более и более усиливалось стремление к просвещению, чему немало способствовал пример высшего дворянства и выгоды представляемые образованием. У помещиков конца XVIII века входит в моду домашнее воспитание под руководством иностранных гувернеров и воспитательниц; немало дворянских детей ежегодно поступает в столичные учебные заведения, казенные и частные; в деревнях заводятся библиотеки русских и иностранных книг. Губернские города, отражая на себе до известной степени общий ход русского просвещения, тянутся за обеими столицами, где не только с внешней, ложно понятой стороны, но действительно прививаются плоды западной цивилизации. В тоже время, помимо низших школ, растет число средних учебных заведений, возникает Московский университет [1755]; и с развитием печатной литературы начинается ряд русских повременных изданий, хотя и в них пока преобладает перевод и подражание иностранным образцам.

При этом, в обеих столицах, равно и в провинции опять-таки наиболее восприимчивым к принятию европейской культуры оказывается дворянство, в связи с заботами правительства об его образовании и большим материальным обеспечением. За ним все более остается перевес образования; а во второй половине XVIII века дворянство окончательно выделяется, как особое привилегированное сословие. При Петре Великом дворянские дети воспитывались вместе с разночинцами, но уже при Анне Иоанновне положено начало особым учебным заведениям для дворянских детей, где доступ был закрыт для других сословий. Число таких заведений увеличивается с каждым царствованием. При Московском университете, как известно, основаны были одновременно две гимназии: дворянская и разночинская, а впоследствии, когда учреждены общие классы, казеннокошные воспитанники дворянского происхождения и разночинцы жили в двух разных половинах, что продолжалось до конца XVIII века.

Военная служба также предоставляла значительные привилегии дворянам в отличие от других сословий. При Елизавете малолетних дворян записывали в полки, где они получали чины, помимо выполнения каких-либо обязанностей и даже с поступлением на службу пользовались разными льготами. Манифест «о вольности дворянству» 1762 года коснулся и военной службы, которая утратила свой принудительный характер, а для более честолюбивых открывался по прежнему легкий доступ к приобретению чинов и славы. «Дворяне, пишет Романович-Словатинский, служили преимущественно в полках и избегали гражданской службы, которая переходила в руки приказного люда<sup>1)</sup>. Хотя правительство много заботилось, чтобы дворяне служили в гражданской службе, но было мало результатов; только при Павле I строгости военной службы победили отвращение дворянства от гражданской службы; оно начало поступать в нее в таком количестве, что начались ограничения» (49).



<sup>1)</sup> Издавна образовавшееся у нас сословие приказных, или так называемых «подъячих», грамотное и невежественное, в то-же время заслужило общее презрение по своему низкому нравственному уровню, особенно со стороны дворянства, хотя ни одно гражданское дело не обходилось без помощи подъячих. Некоторые из них наживали иногда большие состояния и продолжая раболепствовать перед богатыми, в свою очередь, высокомерно и с пренебрежением относились к бедным дворянам, как видно из мемуаров прошлого века. «И ныне, пишет Толубеев, какой-нибудь подъячий с наглостью и бесстыдством насбиравший движимое себе имение ценнее нежели мое недвижимое, перешептывается с подобным, что я помещик хуже их одет, что у меня хуже лошади и, что у них в городе свои дома, а я нанимаю квартиру, в которой все уступает тому, что у них в домах, и судя таким образом почитают, как будто за долг, насмеяться тем, основывая то и подкрепляя лаконическим словом "помещик"». (См. «Записки Н. И. Толубеева» 1780-1809 изд. «Русской Старины» Спб. 1889, стр. 73-74).

Но и помимо преимуществ исключительного положения, военная служба имела во многих отношениях для наших дворян общеобразовательное значение. Так семилетняя война и пребывание русских в Кёнигсберге, тогдашней прусской столице, познакомили их с новой жизнью и германской литературой; и это настолько увеличило интерес к чтению среди молодых офицеров, что Болотов во время похода не только перечитал много книг, но занимался переводами и перепиской романов. «По возвращении в Рогервик к полку нашему, привезенные мною (из Кёнигсберга) книги помогли мне приобрести от некоторых охотников до чтения особливое благоприятие. Они все лето принуждены были переходить из рук в руки; и читавшие их не могли довольно их восхвалить и меня возблагодарить за приятное упражнение» (50). Понятно, что в более позднюю пору, при быстром развитии образования в России, еще плодотворнее должны были отразиться на русском юношестве Суворовские и Наполеоновские войны, а равно и посещение Парижа в 1814 и 1815 гг. Но и в мирное время «тогдашняя гвардейская служба, пишет Винский, доставляла любопытным много способов научиться. Сословие офицеров составлялось по большей части из сыновей знатнейших вельможных домов. Сии молодые люди воспитанные отлично по связям своих семейств и по близкому допущению ко двору, получая познания почти из источников, передавали оные подчиненным, которых, как свою братию дворян, особенно хорошо воспитанных, они принимали в свое сообщество... Ученые и знающие языки офицеры находились при Иностранной Коллегии для курьерских посылок. Сии, часто бывая в чужих землях, проживая там по несколько месяцев при министрах (послах) и возвратясь в отечество, доставляли своей братии сведения иногда самые интересные. Баталион гвардии, сопровождавший графа Орлова в Архипелаг и довольно времени проживший в Италии, сколько привез с собою прекрасных новостей...» (51).

Равным образом, изучение иностранных языков после Петра Великого сделалось почти исключительной прерогативой дворян; и хотя оказало большие услуги русскому просвещению, но привело ко многим уродливым явлениям. Пристрастие к иностранным языкам, особенно французскому, доходило до такой степени, что по свидетельству А. М. Грибовского «бывшие при Екатерине II вельможи, кроме кн. Потемкина не знали русского правописания» (52). **Тоже** презрительное отношение к родной речи продолжалось и после, и долго господствовало в нашем высшем обществе, у которого незнание русского языка было до последнего времени было своего рода щегольством. С другой стороны, мода на иностранных учителей в XVIII веке, вызванная отчасти необходимостью, имела нередко пагубное развращающее влияние для нашего юношества. В то время, как богатые и знатные фамилии, располагая большими средствами, могли выписывать из-за границы вполне достойных и сведущих воспитателей, более бедные родители заботились только о том, чтобы не отстать от других и найти для своих детей гувернера подешевле <sup>1)</sup>. При этом условии, воспитателями русского юношества нередко являлись люди совершенно несоответствующие своему назначению: полуграмотные ремесленники, парикмахеры,

<sup>1)</sup> Женское образование шло в том же направлении. Обычай поручать образование дочерей иностранным воспитательницам начался очень рано в высшем обществе, где главное внимание обращалось на лоск и наружные формы. Вообще, «иностранцы гувернеры, гувернантки, дядьки, бонны появляются довольно рано. За Наталье Борисовной Долгорукой (род. в 1714 году), дочерью любимого народом вельможи, ходила мадам иноземка». См. А. Романович-Славатинский, «Дворянство в России» и пр. Спб., 1780, т. I, стр. 80.

кучера, беглые преступники и пр., особенно в провинции, при невежестве родителей. Таких воспитателей можно было встретить в прошлом веке среди содержателей модных пансионатов, а также преподавателей иностранных языков не только в частных, но и в казенных учебных заведениях. Зло бы-

ло настолько велико и очевидно, что начиная с 1850 года выходят правительственные указы, чтобы остановить прилив с запада разных искателей приключений, для которых воспитание русских детей служило средством наживы.

Протест против такого рода воспитателей явился и среди общества. Но многие видели только зло, не отдавая себе отчета в его причинах; и приписывая влиянию запада порчу русских нравов, доходили нередко до полного отрицания западно-европейского просвещения и науки. В этом отношении весьма характерна статья В. Попугаева «Достоинство старого воспитания в России», напечатанная в 1804 году в «Периодическом издании Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» (ч. I, стр. 37). Автор, поднимая вопрос о воспитании русского юношества, говорит, что «у нас в России, вкрался другой род воспитания более блестящий, в коем стараются давать познания более поверхностные... без системы и где знания языков, в отношении к разговору, составляют главную часть. Сей последний род нового воспитания ныне весьма укоренился, и вместо достойных граждан доставляет нам пустых говорунов, танцоров, театральных героев и кукол. Такому воспитанию я всегда предпочитаю наше древнее воспитание... Оно, подобно спартанскому, доставляло всегда твердых и надежных сынов отечества, *хотя без знаний, но с неиспорченным добрым сердцем*».

Тем не менее, несмотря на все злоупотребления и дурные стороны, знание иностранных языков, иностранные воспитатели в лице своих лучших представителей, а также ученые иностранцы, издавна проживавшие в России, много способствовали нашему образованию вообще и распространению западно-европейских гуманных идей XVIII века в нашем обществе.

## XXII

Здесь само собою является вопрос: каким путем проникли к нам западные философские и нравственные идеи XVIII века и которая из основных европейских литератур в этом отношении оказала наибольшее влияние. Винский, современник Екатерины II, высказывает убеждение, что «французы гораздо более способствовали нашему научению, нежели совокупно вся Европа... Ежели когда-нибудь настанут времена правды, говорит он, тогда великие умы XVIII столетия, истинные благодетели рода человеческого, получат свою принадлежащую им честь и признательность» (53). Слова эти имеют тем больше значения, что Винский, хотя и восторженный поклонник французских философов, но не видит спасения в исключительном влиянии иностранцев и находит, что они не могут воспитывать русских детей. Кроме того, отзыв Винского вполне согласен с показанием других современников и подтверждается рядом фактов, так что очевидный перевес остается на стороне французского влияния, в связи с галломанией, охватившей наше общество со времен Елизаветы, вследствие чего французский язык получил у нас особенное распространение. Таким образом, переводов с французского языка оказалось всего больше; нередко английские, немецкие и другие книги, а равно и древне-классические сочинения переводились на русский язык с французских переводов. К тому же произведения французских писателей многими читались у нас в подлиннике; они же нередко наполняли русские частные библиотеки прошлого столетия. Винский пишет о 1770-х годах, что в Петербурге во время своего пребывания в полку, познакомился с двумя прокурорами: Андрианопольским и Острожским, у которых была значительная библиотека «российских» книг. Тут-же, добавляет он, познакомился я с Ролленами, Лесажами, Вольтерами и получил такое пристрастие к чтению, что никогда никакое занятие не брало по сей день у меня поверхности над оным (54). То-же сообщает Ф. Ф. Вигель, который находясь на службе при Московском архиве иностранных дел, часто бывал в доме Галицыных, «где, говорит он, положено было основание моей галломании... Голицыны снабжали меня французскими книгами, по большей части романами и я воображал, что занимаюсь полезным делом, когда пожирал их по ночам» (55). Кроме того Вигель упоминает о петербургской частной библиотеке молодых офицеров Семеновского полка Пещуровых, где, по его словам, «было полное собрание сочинений Флориана, все творения Дората и других французских авторов, все розовое, амурное, ни одной военной, ни ожной русской книги».

Действительно «мыслящему русскому человеку восемнадцатого века, замечает М. И. Сухомлинов, мудрено было оставаться в неведении о том, что делалось в стране, откуда заимствовались у нас новые обычаи и новые идеи, а именно Франции, влияние которой все более и более усиливалось в нашем обществе... Умы серьезные старались ближе и глубже узнать то, чему иные поклонялись бессознательно: светское большинство увлекалось блестящей внешностью...» (56). По свидетельству «Живописца» (1772 г.), хотя у нас одно время начали подражать англичанам, но французская мода одержала верх м

властвовала над петиметрами и светскими дамами». Подтверждение этих слов мы находим на каждом шагу в тогдашних русских журналах, а тем более сатирических, которые переполнены нападками на галломанию современного общества. Увлечение внешностью французской жизни, французскими светскими условиями и приличиями, переходило у нас и на французскую литературу: «Вместе с Версальскими предрассудками, говорит Вигель, вошла у нас в моду и французская литература; в высшем обществе знали наизусть классических авторов и век Людовика XIV ставили выше веков Августа и Перикла. Знатные дамы с восхищением читали Массильона и Бурдалу и некоторые из них аббатами приготавливались уже к восприятию католицизма; полупросвещенные повесы проповедывали безбожие и клялись Вольтером и Дидеротом. Чувствительные юноши, женщины принадлежащие ко второстепенным обществам и молодые литераторы, также чуждые высшему кругу, пленялись мадригалами, гримасными улыбками мелких французских мыслителей» (57).

По этому поводу считаем необходимым привести слова А. Н. Пыпина, что у нас в XVIII веке «в самом разгаре так наз. галломании оказываются очень сильные влияния английской и немецкой литературы. Вообще влияния основных западных литератур так переплетаются, что довольно трудно или даже невозможно указать какие-нибудь определенные периоды или точный круг действия, тем более, что к концу столетия в самой европейской литературе происходило уже сильное взаимодействие»... (58). Не подлежит сомнению, что детальная разработка по отдельным периодам едва ли мыслима по своей сложности и решение явилось бы весьма гадательным при настоящем положении вопроса. Здесь пока мерилom может быть целая, более или менее законченная эпоха с определенным характером, какою является у нас вторая половина прошлого века; и только общие результаты могут дать средние, хотя и приблизительные выводы.

Так например, ответом на частный вопрос о влиянии на русское общество данной эпохи того или другого иностранного писателя может отчасти служить степень распространения его сочинений, т. е. число русских переводов, вышедших отдельными изданиями и напечатанных в журналах. При этом неизбежно переводились в наибольшем количестве и охотнее читались в подлиннике особенно популярные авторы; и их влияние имело перевес над менее любимыми писателями. Известно, что иностранные романы издавна и не только во второй половине, но и в начале нынешнего столетия несравненно более читались и переводились у нас, нежели специальная философия и научные сочинения, и по всем данным более их способствовали умственному и нравственному развитию общества. Равным образом, общее число переводных романов, вышедших отдельными изданиями во второй половине прошлого и начале нынешнего столетия, служит красноречивым свидетельством, какие собственно иностранные романы были распространены в это время, и, следовательно, имели наибольшее влияние на русскую читающую публику. Так при Екатерине II переведено (по Росписи Смирдина) 350 романов с французского языка, 107 с немецкого, 6 с английского, 7 с итальянского и т. д.; в первые годы царствования Александра I с 1801-1804 заметно увеличивается число немецких и английских, хотя и здесь оказывается всего больше переводов с французского языка <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> В русской периодической литературе второй половины прошлого века мы видим обратное явление, хотя в виду ограниченного числа подписчиков на русские журналы, (обыкновенно менее 100 человек и редко до 300), отдельные издания, во всяком случае, имеют больше значения при решении данного вопроса. Так в «Ежемесячных сочинениях» Г. Ф. Миллера, первом учено-литературном журнале в России, преобладает влияние повременных немецких изданий, тогда весьма многочисленных в Германии, что заметно на общем выборе статей и большем количестве переводов, сравнительно с английскими и французскими. Между тем, наши сатирические журналы, начиная со «Всеякой всячины», особенно изобилуют переводами и переделками из известных английских журналов Стиля и Аддисона: «The Tattler», «The Spectator», «The Guardian», которые издавались один за другим с 1709-1714 гг. и в прошлом веке считались образцовыми в западной Европе. Наряду с этим, в русской периодической печати встречаются отголоски французской литературы: издатель журнала «Смесь», по свидетельству одного исследователя, пользовался «не только французскими журналами, но и отдельными книжками и брошюрами на французском языке, наводнявшими в XVIII веке Францию и Голландию». (См. ст. В. О. Солнцева «"Смесь сатирический журнал"» в «Библиографе» 1893 г. Спб. Вып. I.

Но и помимо количественных выводов немалую услугу в решении вопроса могут оказать записки и мемуары современников, главный исторический материал, важный для истории литературы, где черты

прошлого выступают помимо воли авторов. Хотя записки и мемуары не всегда отличаются точностью с фактической стороны, но на них неизбежно лежит печать времени; и их составители, говоря о современных событиях и людях, могут описывать только окружающую обстановку, изображать знакомую им современную жизнь и общество. Наконец, и самые факты перестают быть сомнительными, когда показания одних очевидцев подтверждаются другими. Таким образом, на основании дошедших до нас записок и мемуаров второй половины прошлого столетия, мы получаем прямой вывод, что в эту эпоху непосредственное влияние французской литературы и французских философских и нравственных идей XVIII века является преобладающим в русском обществе.

### ХIII

Идеи энциклопедистов, преимущественно Вольтера, а равно их предшественника Бэйля (Pierre Bayle 1647-1706) других французских мыслителей всего более отразились на суждениях и взглядах русских передовых людей и писателей второй половины прошлого века, как напр. Болтине, Новикове, Радищеве, И. П. Тургеневе <sup>1)</sup>. В тех же идеях воспитывалась Екатерина II; Дашкова пишет о себе в своих «за-

<sup>1)</sup> «Иван Петрович Тургенев» известный масон. — Л. Н. Майков высказывает предположение, что ему принадлежит статья о крестьянах, напечатанная в «Живописце» с подписью И. Т. (Очерки из истории литературы XVII и XVIII столетий, Спб. 1889, т. I, стр. V). В этой статье «Отрывок из путешествия» изображена яркими красками крестьянская нищета и представлена картина печального положения детей, брошенных в летнее время на произвол судьбы в опустевших деревнях. («Живописец», ч. I, л. 14).

писках», что до 15-ти-летнего возраста прочла в доме дяди своего гр. Воронцова: сочинения Бэйля, Вольтера, Монтескье, Гельвеция, добавляя, что «кроме Екатерины, тогда великой княгини, никто из живших в Петербурге не занимался подобным чтением» (59). Влияние французских философов дало направление усиленной преобразовательной деятельности Екатерины II, а именно первого десятилетия ее царствования; и как известно знаменитое сочинение Монтескье «L'Esprit de Lois» послужило основанием «Наказа». По свидетельству И. Дмитриева, Екатерина II и ее вельможи на пути по Волне из Твери до Казани занимались переводом «Велизария», политико-нравственного романа, сочиненного Мармонтелем. При этом «императрица перевела IX главу, которая вся дышит либерализмом, ненавистью к ласкателям и самовластью» (60).

Пример императрицы мог только усилить симпатии к современным французским мыслителями наиболее образованной части русского общества, каким являлось дворянство, и способствовать распространению в его среде французских нравственно-философских идей XVIII века. В то время, как остальные сословия упорно придерживались старых предрассудков и преданий — защитники старины в русском дворянстве составляли меньшинство и реформа Петра I-го всего более отразилась на его внешности, общественном и семейном строе. Таким образом, наше дворянство, пересаженное со старой почвы на новую, было особенно восприимчиво и легко подвергалось внешним влияниям, а тем более французскому, при той блестящей, увлекательной форме, в какой являлись сочинения французских мыслителей прошлого века.

Сверх того «философия материализма тем скорее усваивается обществом, чем ниже его умственное развитие: простая по своей односторонности, она легче переваривается только что возбужденной мыслью; она не требует усилий, не возбуждает борьбы и заманчиво ласкает грубые инстинкты животной природы человека...» (61).

Не подлежит сомнению, что нравственные и политические принципы, а равно и гуманные идеи французской философии могли быть достоянием немногих действительно просвещенных русских людей и этим путем оставили свой след в русской жизни и в русской литературе. Но для большинства тогдашнего поверхностно образованного общества, при его низком умственном и нравственном уровне, они оставались мертвой буквой и породили у нас немало так называемых «вольтерианцев», жизнь которых нередко представляла полный разлад с идеями, нахвачанными из книг. Хотя злоупотребления власти помещиков были неизбежным следствием сущности крепостного права, но с его развитием в эту пору они были особенно велики (62). Пытки крепостных начинают у нас входить в употребление в начале XVIII века; и мало помалу настолько получают права гражданства, что по словам Романович-Славятинского «трудно перечислить и уловить роды наказаний, изобретаемых фантазией помещиков» (63).

Нередко случалось, что горячие поклонники Руссо и Вольтера и проповедники их идей позволяли себе самые ужасные насилия над крепостными и доводили своих крестьян до полного разорения и нищеты.

Не менее своеобразно было у нас и понимание западно-европейского скептицизма, так как большинство усвоило только верхи его и отдельные фразы, не вникая в их смысл. В то время как Вольтер, высоко ценивший нравственное начало в христианстве, напал на злоупотребления его представителей, скептицизм наших вольтерианцев не шел далее самого дешевого и неглубокого отрицания всех религиозных и нравственных традиций. «Вольнодумство в делах религии, замечает П. Вяземский, должно было иметь у нас своих последователей скорее нежели политическое, ибо оно отвлеченнее другого и не требует никаких размышлений, ни приготовительных событий, ни предварительных сведений» (64). Современники недаром жаловались на упадок религии в нашем обществе: «Вера начала слабеть, говорит один из них (65), несодержание постов, невыполнение некоторых обрядов с вольными отзовами насчет духовенства и самых догматов, чему виною можно поставить теснейшее сообщение с иностранцами и начавшие входить в свет сочинения Вольтера, Ж. Ж. Руссо и др., которые читались с жадностью»<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Известный масон И. В. Лопухин говорит, что еще до 1780 года, т. е. до своего сближения с мартинистами, хотя он не был постоянным вольнодумцем, но больше старался утвердить себя в вольнодумстве и *охотно читывал* Вольтеровы насмешки над религией, Руссо вы опровержения и прочие подобные сочинения. См. Чтения в Им. Об. И. и Др. Рос. 1860, апрель «Записки И. В. Лопухина», стр. 14.

Либерализм и неверие проникли даже в среду приказных, так что по словам Вигеля, «цитаты из Св. Писания, коими прежние подъячие любили приправлять свои разговоры, заменились в устах их изречениями философов восемнадцатого века и речами революционных ораторов». Настроение умов в обеих столицах отозвалось и в провинции; тот-же Вигель с удивлением рассказывает, что в таком захолустьи, как тогдашняя Пенза он слышал «насмешки над религией от таких людей, которые были совершенные неучи; впрочем, добавляет он, здесь толковали уже о Нонотте и Фрероне и топтали их в грязь, превознося похвалами Кандида и Белого Быка» ... (66).

#### XXIV

Из французских философов XVIII века едва ли не самым популярным был Вольтер, судя по множеству переводов, которые печатались у нас почти непрерывно в течение тридцати трех лет до 1789 года (67). Помимо отдельных изданий<sup>2)</sup>, первые переводы появляются в «Ежемесячных сочинениях»

<sup>2)</sup> Кандид (Candide) Вольтера был в числе первых книг, выбранных в 1769 году для перевода при Академии Наук на собственные средства Екатерины II. См. Сухомлинова «История Российской Академии» 1874 т. I, стр. 7.

Г. Ф. Миллера (журнал изд. Академии Наук), начиная с 1756 года; затем и в последующих русских журналах второй половины прошлого столетия непрерывно встречаются сочинения Вольтера и нередко в бессвязных отрывках. Тот-же случайный характер носят отдельные переводы печатные и рукописные, которые выходили в виде брошюр и целых томов, где не заметно ни малейшей последовательности даже хронологической.

Первое «Полное собрание сочинений Вольтера» в переводе Рахманинова вышло в неблагоприятную для него пору, так как в это время политические события Франции не замедлили вызывать реакцию со стороны правительств остальной Европы и ослабили симпатии Екатерины II к французским либеральным идеям. Вследствие этого, послано предписание конфисковать вышедшее «собрание сочинений Вольтера», как «вредных и исполненных развращения» и приняты стеснительные меры относительно нового издания Вольтера, как видно из рескрипта к московскому главнокомандующему Еропкину от 23 сентября 1789 года: «По дошедшим до нас сведениям, пишет императрица, в Москве хотят переводить новое издание Бомарше всех сочинений Вольтера в 69 томах состоящее — прикажите Управе Благочиния и Обер-Полицмейстеру наблюдать, чтобы такое издание отнюдь не было печатаемо ни в одной типографии без цензуры и апробации митрополита Московского» (68).

Но уже в начале нынешнего столетия, а именно в 1802-1805 гг, под либеральным влиянием первых лет царствования Александра I, появляется вновь «Собрание сочинений Вольтера», перепечатываются прежние издания и выходят новые переводы. С приближением войны 1812 года издания становятся

реже и увлечение Вальтером переходит в другую крайность, принимает характер враждебного от ношения к знаменитому фернейскому философу (69), наряду с общим, хотя и кратковременным охлаждением ко всему французскому: «В это время, пишет Вигель, воспрянувшее в разных состояниях чувство патриотизма подействовало даже на высшее общество, наиболее зараженное галломанией; знатные барыни на французском языке начали восхвалять русский, изъявлять желание выучиться ему или притворно показывать будто его знают»... (70).

Что касается сочинений Руссо, то во второй половине прошлого века у нас всего более распространен был «Эмиль»; и даже в 1789 году подвергся запрещению, наряду с «Полным собранием сочинений Вольтера»<sup>1)</sup>. Но вообще, хотя имена обоих французских философов почти постоянно упоминаются

<sup>1)</sup> См. «Осемнадцатый век» 1859 кн. III, стр. 392. «Письмо Екатерины II к неизвестному лицу» (без числа): «Слышно, что в Академии Наук продают такие книги, которые против закона, доброго нрава, нас самих; против нации, которые во всем свете запрещены, как напр., Эмилии Руссова, Мемории Петра III; приказано наблюдение академии за ее книжной лавкой; из других лавок посылать реестры книг, которые хотят выписывать и вычеркивать такие книги, которые против закона, доброго нрава и нас, а есть ли после того сыщется преступник сему в продаже таких книг, то конфисковать все лавки и продать на шот Сиропитательного дома.

вместе в мемуарах того времени, но Руссо еще менее Вольтера был доступен пониманию большинства русской читающей публики. Учение его, которое представляло протест против злоупотреблений и темных сторон западно-европейской цивилизации, сложившейся веками и доходившей до отрицания наук и искусств, — всего менее было применимо к жизни нашего едва созданного общества, усвоившего только внешнюю сторону этой цивилизации; и где наука и искусство находились в зачаточном состоянии.

Мишурный блеск городской жизни, роскошь, доведенная до мотовства, городские зрелища и увеселения, разврат, прикрываемый лоском светских условных приличий, — все, что возбуждало негодование Руссо и его последователей, особенно увлекало русское общество второй половины прошлого века, представляя для него интерес новизны. Наслаждение городскими удовольствиями являлось исключительной целью посещения европейских столиц для многих русских путешественников того времени. «Юные русские недоросли, избалованные дома и окружающей из ленью, выросшие под руководством невежественных учителей, предавались за границей праздной жизни и проживали целые состояния» (71). По словам «Трутня» 1770 года (стр. 63-64), они «вывозили из чужих краев только сведения как одеваться и какие там бывают зрелища и увеселения». Подобные отзывы встречаются и в других сатирических журналах прошлого века, которые при этом переполнены нападками на бессмысленный образ жизни русских петиметров в Петербурге и Москве. Не только столичная знать и вельможи Екатерининских времен, но и дворяне средней руки щеголяли друг перед другом роскошью обедов и балов, богатством экипажей, нарядов, многочисленной прислугой и пр. Так жили и помещики в своих усадьбах, проматывая деньги, нажитые без труда, и менее всего наслаждались природой и желали деревенской простоты. Если некоторые из них хвалились патриархальной простотой своих нравов, то это не имело ничего общего с патриархальностью, о которой говорит Руссо.

При этих условиях русские образованные люди того времени, за малыми исключениями, едва ли могли искренно сочувствовать утопиям Руссо о возвращении к естественному состоянию для достижения утраченного блаженства, стремиться к безмятежной жизни среди природы, мечтать о лесах первобытного мира и первобытной дикости. Известный русский писатель Болтин (1735-1792) говорит о Руссо, что он «пускаясь в крайность, корнем всего зла просвещение признает, но держась середины можно за неопровержимое правило поставить, что ни добродетели от просвещения, ни пороки от простоты нравов не зависят» (72). Увлечение идеями Руссо явилось позже с Карамзиным, который был восторженным поклонником Руссо и называл его «величайшим из писателей XVIII века». Последователи Руссо в этом подражали ему.

Наибольшее влияние Руссо сказалось в русских подражательных романах и повестях, написанных по образцу «Эмиля» и «Новой Элоизы». Но там, где русские сочинители позволяли себе более вольную переделку и отступление от подлинника, видно полное непонимание идей французского философа. Хотя выводимые ими романические герои также бегут из городов и живут отшельниками вдали от людей, но здесь причиной разочарования оказываются узкие личные мотивы. В иных случаях деревня является

средством исправления промотавшегося юноши; в других герой становится ненавистником городской жизни под впечатлением измены ловкой городской красавицы; а при этом условия идеи Руссо в его устах теряют всякий смысл.

Несравненно ближе к пониманию большинства русской читающей публики были произведения второстепенных писателей и писательниц конца XVIII века, с их узкой моралью и рассудочным взглядом на жизнь, подходившим под общий нравственный и умственный уровень нашего общества. Так, напр., сочинения г-жи Жанлис, вошедшие у нас в моду в начале нынешнего столетия, в течение нескольких десятков лет считались лучшим чтением для русского юношества, наравне с идиллической повестью Бернардена де С. Пьера «Павел и Виргиния». Выдержками из сочинений Жанлис и ее сентенциями наполнены русские журналы, которые ставили себе задачей педагогику и воспитание юношества. Элемент рассудочной обыденной морали преобладает в сочинениях бытописательных французских, немецких и английских писателей, которые преимущественно нравились русской публике и встречали сочувствие в русской литературе.

Хотя, нередко, в этих романах сентенции не имели никакой органической связи с общим содержанием рассказа, равно как неизменное торжество добродетели и наказание порока напоминали действительность только у более талантливых писателей, но сентенции считались необходимой принадлежностью всякого порядочного романа. Поэтому во второй половине прошлого и в начале нынешнего столетия особенно распространены были у нас нравоучительные сочинения аббата Прево, Фильдинга, Дюкре-Дюмениля, Жанлис, Коттен, Августа Лафонтена, Коцебу и пр. Карамзин пишет в 1802 году, что в это время «в страшной моде был Коцебу... Русские книгопродавцы требовали от переводчиков и самих авторов Коцебу, одного Коцебу! Роман, сказка, хорошее или дурное — все одно есть ли на титуле имя славного Коцебу» (73).

## XXV

Что касается нравственно-политических теорий запада, то русская читающая публика опять-таки преимущественно знакомилась с ними благодаря сочинения французских писателей, а именно: Фенелона, Террасона, Мармонтеля, Флориана, Мерсье и их последователей. Из них наибольшей славной пользовался у нас «Телемак» Фенелона, впервые переведенный на русский язык в 1747 году, и которым зачитывалось русское юношество не только в прошлом, но и в нынешнем столетии. Затем долее других продержались у нас сочинения Мерсье (Louis Sebastiten Mercier 1740-1814), писателя, мастерски изображавшего темные стороны политической и общественной жизни Франции. Имя Мерсье в продолжении многих лет часто встречается в старых русских журналах, где его сочинения большею частью печатались в отрывках.

Современная журнальная критика, вообще довольно снисходительная к «русским сочинителям» и редко упоминавшая о них, была гораздо строже к переводным иностранным романам; и при оценке их достоинства ставила на первом плане нравоучительный элемент, придавая ему особое значение. В этом отношении она отличалась замечательным постоянством, как видно из отзывов двух журналов половины прошлого и начала нынешнего столетия. Так Рейхель, издатель «Собрания лучших сочинений» 1762 года (ч. III стр. 63-112), высказывая свой взгляд на романы вообще, говорит, что «вымыслы не должны быть чрезвычайными и кроме увеселения они должны заключать наставления в нравоучениях и правилах человеческой жизни». Во главе этого рода романов он ставит сочинения аббата Прево, так как, по его словам, «в них соблюдена связь приключений с полезными наставлениями», — и на этом основании относится с порицанием к романическим произведениям Мариво и Кребильона сына. Равным образом, «Жизнь Сиеа царя Египетского», роман Террасона (1670-1750), кажется Рейхелю выше прославленного сочинения Фенелона: «Сиеа, замечает он, имеет более достоинства, чем *Телемак*; в нем находятся такие нравоучения, такие тонкие рассуждения и высокие мысли, каких в *Телемаке* искать бесполезно. Он менее приятен; но превосходит его в учености, философии и нравоучении».

Не менее характерен отзыв П. И. Макарова в журнале «Московский Меркурий» 1793 года, критика которого, преимущественно, обращена на иностранную литературу и русские переводы иностранных произведений. Здесь рецензент с особенным сочувствием относится к нравоучительным сочинениям Жанлис и весьма строго к Редклиф и, за исключением романа «Монах или пагубные следствия страстей»<sup>1)</sup>, перев. 1802 г., он видит «отсутствие какой-либо нравственной цели» в произведениях знамени-

той английской писательницы, отвергает их пользу и считает вредными, тем более, что «долговременные впечатления ужаса действуют на нервы»... (№ XI, стр. 139).

<sup>1)</sup> Сочинение это «Monk» (монах) принадлежит не Редклиф, а Льюису, которого Байрон называет Monk-Lewis. Правда, в русском переводе роман приписан английской писательнице Анне Редклиф, но это спекуляция книгопродавца, который для большего сбыта книги произвольно выставил иностранного автора, в то время особенно популярного среди русской публики.

## XXVI

В заключение коснемся еще одного вопроса: какого рода произведения западно-европейской литературы имели наибольшее *воспитательное* значение для русского общества прошлого века? Здесь по всем данным, на основании дошедших до нас известий, а равно и показаний современников, получается один ответ, что эту услугу русскому просвещению оказали *переводные иностранные романы*.

Этим путем проникли к нас философские идеи и нравственно-философские и общественные теории запада. Популярности Вольтера всего более способствовала беллетристическая форма его произведений; и мы видим, что в течение тридцати трех лет, наряду с философскими и другими сочинениями, почти непрерывно переводятся его повести и романы, выходят отдельными изданиями и печатаются в русских журналах. Но в первом «Полном собрании сочинений Вольтера» изд. Рахманинова 1785-1789 годов, статьи серьезного содержания преобладают над беллетристикой. Что касается Руссо, то его «Эмиль» и «Новая Элоиза» были несравненно более распространены и известны, нежели его философские «Рассуждения об исправлении нравов и неравенстве между людьми», изд. в 1768 и 1770 гг. (в переводе Пав. Потемкина). Из сочинений Фенелона, Мармонтеля, Мерсье и др. у нас пользовались популярностью только романы; и вообще всякие романические произведения иностранных литератур читались охотнее каких бы то ни было книг. Романы имели для русской публики и общественное значение; из них заимствовала она правила житейской мудрости и общежития, исторические, географические и иные научные сведения.

Значительное распространение иностранных романов среди русской публики прошлого века, сравнительно с другими книгами, объясняется отчасти тем, что они легче читались и были доступнее пониманию большинства. М. Херасков в своей статье «О чтении книг», помещенной в журнале «Полезное увеселение» 1760 года (кн. I, стр. 5) пишет по этому поводу: «Романы для того читаются чтобы искуснее любиться и часто отмечают красными знаками нежные самые речи... а книги до наук касающиеся читают не для любовных изречений; для сего долггл вникнуть в содержание книги, разобрать автора, содержание книги, достоинства оной... нужно читать умеючи». Такого-же вопроса сорок два года спустя касается Карамзин в известной статье 1802 года «О книжной торговле и любви ко чтению в России» (В. Ев. № 9). — «Я спрашивал, говорит он, у многих книгопродавцев, какого рода книги у нас расходятся больше всего и все отвечали: романы! Не мудрено... не всякий может философствовать или ставить себя на место героев истории; но всякий любит, любил или хотел любить и находит в романическом герое самого себя; читающему кажется, что автор говорит ему языком его собственного сердца» и пр.

Таким образом, романы являлись главным и любимым чтением русской публики не только в прошлом, но и в начале нынешнего столетия. В. Жуковский, принят на себя издание «Вестника Европы» в 1808 году, в первой-же книге журнала (стр. 5) характеризует следующими словам господствовавший в это время вкус к чтению: «О чем гремят книгопродавцы в витийственных своих прокламациях — о романах ужасных, забавных, чувствительных, сатирических, моральных и пр. и пр. Что покупают посетители Никольской улицы в Москве? — романы... В чем состоит достоинство в этих прославленных романах? — всегда почти в одних великолепных названиях, которые обманывают любопытство»...

Но в то время, как одни зачитывались романическими произведениями иностранных литератур, другие безусловно восставали против чтения романов, считая их «пустыми сказками». Н. И. Толубеев, сообщая подробности о поступлении в военную службу в конце прошлого века, рассказывает о своем менторе, кирасире Клименко, который отобрал у него взятый для чтения роман с заявлением, что «если бы книга принадлежала бы ему, то он бы ее изодрал и запалил люльку, а остатки спалив на ваку» и что он, Толубеев, «романы успеет услышать или увидеть на деле» (74). Взгляд Клименки разделяли и



тогдашние защитники до-петровской старины, которые относились враждебно ко всякого рода беллетристике и признавали полезным и душеспасительным чтением церковные книги, летописи, хронографы, исторические сказания и пр., а также жития святых, нередко смешивая их с апокрифами.

Тем не менее, приверженцы чтения романов составляли большинство, и чтение их достигло таких размеров, что в *русской* литературе не только второй половины прошлого, но и в начале нынешнего века не раз поднимался вопрос *о пользе и вреде* романов. И здесь было два лагеря — защитников и противников каких бы то ни было романов. При этом, последние исходили из двух различных точек зрения; в то время как одни, подобно Сумарокову, считали чтение романов «не препровождением, а погублением времени», другие приписывали им многие печальные явления нашей тогдашней общественной и семейной жизни. Если в их нападках была доля правды, и романы, как отражение западно-европейской жизни, вредно отзывались на русском обществе, то вина была не столько в романах, сколько в нашем неразборчивом увлечении внешними сторонами западной цивилизации. Спасение, во всяком случае, заключалось не в возвращении к старине и не в подражании «нравам и добродетелям праотцев наших».

«Многие жалуются, пишет неизвестный автор статьи «О романах» в «Московском Собеседнике» 1806 года (декабрь, стр. 467-470), что романы вскружают голову, я сему верю... Романов читают больше в провинциях, нежели в городах, и там они более делают впечатление. Но книги сии сделаны только для того, чтобы укореняя предрассудки, сделать ему отвратительным его собственное состояние и внушить модные правила политики... Модный поступок занимает там место действительных должностей; витиеватые речи их заставляют презирать действия обыкновенные и *простота благих нравов* почитается глупостью».

Еще рельефнее выражается С. Глинка в своей вступительной статье к «Русскому Вестнику» 1808 года (№ 1 стр. 2), где объясняя цели издания, он заявляет намерение предлагать «все то, что может услаждать сердце русское».

«Философы XVIII столетия, пишет Глинка, никогда не заботились о доказательствах; они писали политические, исторические, нравоучительные, метафизические, физические романы, порицали все, все опровергали, обещали беспредельное просвещение, неограниченную свободу... словом они желали все преобразить по своему. Мы видели, к чему привели сии романы, сии мечты воспаленного тщеславного воображения и будем противопоставлять им не вымыслы романические, но *нравы добродетели праотцев наших*»...

Наряду с такими ожесточенными нападками на иностранные романы и в обществе и в литературе прошлого и начала нынешнего века встречались не менее восторженные поклонники романов, которые приписывали им высокое нравственное и воспитательное значение. К числу их принадлежал А. Т. Болотов, по словам которого романы «не только не сделали ему ничего дурного, а напротив того произвели бесчисленные выгоды и пользы: ум его исполнился множеством новых знаний, а сердце нежными и благородными чувствами»... «Романы, пишет он, заменили мне чтение особливых географических книг, я получил понятие о роде жизни разного рода людей, начиная от владык земных даже до людей самого низкого состояния; самая житейская жизнь во всех ее разных видах и состояния и вообще весь свет делался мне гораздо знакомее перед прежним. Одним словом, я никак не могу обвинять со своей стороны романы вредными последствиями, но паче за многое хорошее им весьма обязан» (75).

И. П. Дмитриев, друг и современник Карамзина, с своей стороны свидетельствует в пользу романов: «Чтение иностранных романов, говорит он, не имело вредного влияния на мою нравственность; смею даже сказать, что они были для меня антиподом противу всего низкого и порочного... они возвышали душу мою. Я всегда пленялся добрыми примерами и охотно желал им следовать» (76).

Н. Карамзин был не только защитником иностранной беллетристики вообще, но считал полезными не только хорошие, но даже плохие романы. «В самых дурных романах, пишет он в 1802 году (Вестн. Евр. № 9), есть уже некоторая логика и риторика; кто их читает, будет говорить лучше и связнее совершенного невежды, который в жизнь свою не раскрывал книги. К тому-же нынешние романы богаты всякого рода познаниями; автор, вздумав написать три или четыре тома, прибегает ко всем способам занять их и даже ко всем наукам... Таким образом читатель узнает и Географию и Натуральную историю; и я уверен, что скоро в каком-нибудь немецком романе новая планета будет описана еще обстоятельнее, нежели в *Петербуржских Ведомостях*. Поэтому напрасно думать, что романы могут быть вредны для нравственности; все они имеют обыкновенно моральную связь и представляют моральное следствие. Правда, что некоторые характеры в них бывают вместе и приманчивы и порочны, но чем же они

приманчивы? некоторыми добрыми свойствами, которыми автор украсил их черноту: следственно добро и в самом зле торжествует» и пр.

## XXVII

Что касается частного вопроса: какие иностранные романы в отдельности имели у нас сравнительно наибольшее влияние, то здесь опять самыми достоверными являются показания лиц, выросших и воспитавшихся на переводной иностранной литературе. Наряду с этим, не менее важны сведения в данном направлении, сообщаемые в биографиях замечательных русских деятелей прошлого и начала нынешнего столетия, так как эти сведения также заимствованы из современных источников. Не подлежит сомнению, что такого рода отзывы и сведения, собранные в достаточном количестве, доставят в будущем необходимый материал для решения вопроса о влиянии многих переводных романов.

Так, из записок словоохотливого Болотова, мы узнаем, какте именно романы один за другим увлекали его в молодости и какое собственно влияние оказал на него каждый из них: «В 1750 году, пишет он, я прочитал перевод французского романа «Эпаменонд и Целериана», первая книга, благодаря которой получил понятие о любовной страсти, со стороны нежной и прямо романической, что после послужило мне в немалую пользу». В том-же году Болотов познакомился с книгой Фенелона «Похождения Телемака», и по этому поводу распространяется об ее достоинствах: «Не могу довольно изобразить сколь великую она произвела мне пользу. Я получил через нее понятие о митологии, о древних войнах и обыкновениях, о троянской войне... Книга сия послужила первым камнем в фундаменте моей будущей учености»... Пятью годами позже автор «Записок» извещает, что купил две книги в тетрадах (в рукописях?) — «Аргенида» и «Жильблаз» и не расставался с ними; при этом он переводил немецкий роман «Бедственная жизнь и похождения Якова Пакартуса, бывшего потом милордом в Англии», который понравился ему тем, что «походил несколько на Жильблаза и Робинзона». Такой же сочувственный отзыв встречаем мы о «Клевеланде», романе аббата Прево (77): «Клевеланд мой, пишет Болотов, и некоторые другие читанные мною до того романы впери ми уже давно в меня вкус к оным и я всегда с особливим удовольствием читывал книги, содержащие в себе что-нибудь историческое» (78).

В статье Я. Грота «Жизнь Державина» (79) сообщены подобные сведения, — которые мы приводим в извлечении, — относительно книг, прочитанных будущим поэтом в Казанской гимназии (1759-1762). В них Я. Грот упоминает о трех сочинениях, которые обошли тогда всю Европу, были переведены на разные языки, в том числе на русский; и находились в некоторых домах в Казани, а именно: «Похождения Телемака», «Аргенида» и «Приключения маркиза Г.».

Державин, по замечанию биографа, мог читать прозаический перевод *Телемака*, неизвестно кем сделанный по повелению императрицы Елизаветы в 1747 году, или же перевод Тредьяковского, напечатанный в 1751 г. Что касается *Аргениды*, то здесь под покровом аллегии изображено состояние Франции и других западных государств в эпоху лиги. Русские читатели познакомились с Аргенидой благодаря переводам Тредьяковского. Первый перевод сделал он еще будучи студентом, но сам находил его негодным; и по приказанию графа К. Г. Разумовского перевел всю книгу снова. Перемешивая прозу со стихами, Тредьяковский в конце каждой главы поместил подробные исторические и мифологические примечания. Подлинник третьей книги *Приключения маркиза Г\**, соч. аббата Прево (Anoine François Prevost d'Exile 1697-1763) вышел в 1729 году под заглавием «Mémoires du marquis ou aventures d'un homme qualité, qui s'est retiré du monde». Содержание романа составляет история жизни, рассказанная самим героем. Маркиз Г\*, странствует, испытывает разного рода несчастья, попадает в неводю и пр., но и при «горестных обстоятельствах остается добродетельным». Русское юношество второй половины прошлого века, по словам Я. Грота, «наслаждалось чтением этого романа Прево, где нравоучительный элемент соединялся с пестрыми разнообразными приключениями».

И. И. Дмитриев в своих записках также называет «Приключения маркиза Г\*» в числе книг, прочитанных им в детстве и, повидимому, познакомился с романом Прево в подлиннике: «В пансионе, говорит он, прочитал я "Тысячу и одну ночь", повести Скаррона, "Похождения Робинзона Крузе", "Жильблаза де Сентилана", "Приключения маркиза Г\*"... По этой книге аббата Прево я получил первое представление о французской литературе, услышал имена Мольера, Буало, Лопец де Вега, Расина и Кальдерона, критическое о них суждение; этому же роману обязан я тем, что начал понимать французские книги» (80).

О значении и влиянии некоторых других иностранных романов говорит А. Галахов. Между прочим мы находим у него любопытный отзыв о сочинениях немецкого писателя Августа Лафонтена (1756-1831), принадлежащих к так называемым «семейным» романам, которые возникли вслед за развитием среднего сословия в Европе и служили выражением его быта. «Трудно представить себе, пишет он, с какою жадностью и удовольствием читались у нас романы Лафонтена; их действие понятно лишь тому, кто сам испытал его читая... В сущности действие их было вредно, возбуждая в юной душе сладкие чувства, приучая к праздной фантазии и все завершая или несостоятельной или пошлой моралью» (81).

К такому же выводу о влиянии сочинений немецкого романиста приходит Ап. Григорьев в своей статье «Мои литературные и нравственные скитания», где он сообщает немало характерных особенностей относительно занимающего нас вопроса. В числе других иностранных писателей он приводит Августа Лафонтена и называет его «безнравственнейшим из писателей, более вредным, чем циничный Пиго Лебреном, так как молодое сердце не так легко поддается открытому, не таящему себя под покровом разврату»... (82)

Подобное совпадение в мнениях двух различных писателей о вредном влиянии романов А. Лафонтена едва ли может быть объяснено простой случайностью и, во всяком случае, заслуживает внимания при исследовании переводной романической литературы. С другой стороны, не подлежит сомнению, что такая критическая оценка влияния сочинений иностранного писателя могла явиться только впоследствии, в пору большей умственной и нравственной зрелости нашего общества. Если в прежней литературе толковали у нас *о пользе и вреде* романов, то с другой, менее определенной точки зрения. Что касается большинства тогдашней русской публики, то она читала без разбору все романы, какие попадались под руку, не задаваясь никакими вопросами; и одинаково увлекалась «Клариссой» Ричардсона, *Пиго Лебреном*, «Жильблязом» Лесажа, как и романами Августа Лафонтена, Анны Редклиф, Коцебу, Бернарден де С. Пьер и др.

Таким образом, на основании собранных нами сведений, отзывов и показаний современников, едва ли будет преувеличением, если мы скажем, что значительная часть русской публики прошлого и даже первой половины настоящего столетия если не исключительно, то всего более читала романы и воспитывалась на них. Одновременно с этим, под непосредственным влиянием романической иностранной литературы вырабатывается наш подражательный роман; и из заключенных в нем задатков творчества постепенно возникла русская романическая литература и явился первый русский самобытный романист в лице В. Т. Нарезеого.

---

#### ПРИМЕЧАНИЯ К I-й ЧАСТИ

[стр. 120-124, номера 1-82]

1) Сочинения В. Белинского, изд. Солдатенкова и Щепкина 1859-1862.— Собственно о Нарезном: т. III стр. 446; т. IV стр. 418; т. VI стр. 68-69, 134, 228-289; т. VII стр. 372; т. VIII стр. 18; т. XI стр. 334—436; т. XII стр. 508-509.

2) См. рецензия о произведениях Наружного: «Северный Вестн.» 1804, ч. IV, 129-149. — «Цветник» июль 1809, стр. 263-274. — «Благонамеренный» 1822, ч. 19, № 39, стр. 503-506. — „Ibid" 1824, ч. 27, стр. 215-216, 274-282, ч. 28, стр. 25-45. — «Сын Отечества», 1823, ч. 87, стр. 166-172. — «Дамский журнал» 1824, ч 9, № 3. — «Литературные листки» 1824, ч. IV.— «Сын Отечества» 1824, ч. 97, стр. 37-38.— „Ibid". 1825, ч. 99, стр. 56. — «Москв. Телеграф» 1825, ч. IV стр. 346, ч. VI, стр. 182-184. — «П. Соб. Соч. кн. П. А. Вяземского изд. гр. Шереметева, 1878, т. I стр. 203-204 „Письмо в Париж" 1826. — „Северная Пчела" 1825, № 94 — „Атеней" 1829, ч. IV, стр. 318.—„Галатея" ч. XVII М. 1830, стр. 191-196. — „Сын Отечества" 1832, № II стр. 102-103. — „Чтения о русском языке" Н. Греча СПб. 1840, стр. 333. — Соч. В. А. Вонлярлярского ч. I СПб. 1853, стр. XVII-XVIII (в Предисл.) Пол. Собр. Соч. И. В. Киреевскаго, М. т. I 1861, стр. 42.

3) См. „Современник" изд. А. Пушкиным СПб. 1836, т. I „О движении журнальной литературы" ст. Н. В. Гоголя, стр. 221.

4) См. „Истор. рус. Словесности" А. Д. Галахова т. II, стр. 177-184.

5) В. С. Сопиков „Опыт русской библиографии" СПб. 1813-21.

6) Повесть „Евгений и Юлия“ напеч. в журн. „Датское чтение для сердца и разума“, ч. XVII М. 1789, стр. 177-192.

7) В „Московском Журнале“ 1792, ч. 5-8, напечатаны новости Н. Карамзина: 1) *Лиодор* (неок.); 2) *Бедная Лиза*, в июн. книге; 3) *Валерия*; 4) *Наталья боярская дочь*. Следующая затем повесть *Юлия* появилась в 1796 году; она была переведена на франц. язык. (В „Росписи“ Смирдина № 9596 ошибочно сказано, что *Юлия* перевод с французского). См. „Сборник Отделения русского языка и словесности Им. Акад. Наук“ т XXXII, № 8, СПб, 1883 „Материалы для библиографии о Н. М. Карамзине;“ собрал С. Пономарев.

8) Стихотворения А. Θ. Мерзлякова изд. „Общ. любителей русской словесности“ при Москов. унив. напеч. под редак. М. П. Полуденского, 2 ч. М. 1867 (676 стр.). В «Трудах» Общества помещены также 23 произведения Мерзлякова в стихах и 16 в прозе.

9) „Приятное и полезное препровождение времени“ М. 1798, ч. XVIII, стр. 104-110, 281-288, 319; 333-335. —ч. XIX, стр. 33-45, ч. XX, стр. 353-364, 369-375, 378-388.

10) „Иппокрена или Утехи Любословия“ на 1799 г. М. ч. I стр. 401-416, 417-426, 427. —ч. II, стр. 17-27, 33-43, 49-56, 58.—Ibid. 1800, ч. VII стр. 161-272.

11) „Цветник“, июль, 1810, ч. VI, стр. 351, см. прим. В. Ефимова к статье «Мнения и замечаша Пустынника».

12) Систематическое обозрение литературы в России в течение пятилетия с 1801-1806, соч. А. Шторха и Аделунга СПб., 1810-1811

13) „Новости русской литературы“ 1802, т. I, см. Предисловие, стр. 129-149.

14) «Взгляд на мою жизнь» И. И. Дмитриева с прим. М. Н. Лонгинова, 3 ч., 1866 года, см. кн. вторая стр. 40 и 46.

15) «Северный Вестник» изд. И. И. Мартыновым, 1804 г, ч. IV, „Письмо от Иеизвестного“.

16) „Московски Меркурий“, 1803, № 12.

17) Учебная книга российской словесности или избранные места из русских сочинений и переводов изд. Н. И. Гречем в 1819 г. СПб. ч. I, стр. 178.

18) «Амфион», ежемес. изд. на 1815 г., изд. А. Мерзляковым и Смирновым см. книги журн. с января по октябрь.

19) Там же, январь, стр. 45.

20) „Утренняя заря“ Труды воспитанников Благородного Университетского пансиона. М. 1800-1808. Первая книга была проценирована Прокоповичем-Антонским.

21) О состоянии литературы и общества в первый период царствования Александра I и после, см. „Общественное движение в России при Александре I, А. Н. Пыпина, СПб. 1885.— „Сочинения К. Н. Батюшкова со статьею о жизни и сочинениях К. Н. Батюшкова“, нап. Л. Н. Майковым, и прим. сост. им же и В. И. Саитовым, т. I, СПб. 1887. —„Сочинения и переписка П. А. Плетнева“ изд. Я. К. Грот, 3 части. СПб. 1885. —Полное собрание сочинений кн. П. А. Вяземского изд. гр. Шереметевым, СПб. 1878 г., XI томов.

22) „Письма русского путешественника“, напеч. в 1791-1792 гг. в „Московском журнале“, изд. Н. Карамзина.

23) „Российский Жилблаз“ II стр. 101-124.

24) „Цветник“ уа 1809 изд. А. Е. Измайлов и А. Беницкий, а на 1810 г. изд. А. Измайлов и П. Никольский. СПб.

25) „Избранные места из русских сочинений и переводов в прозе; и пр. СПб. 1812 г. изд. Н. Гречем, стр. 447.

26) См. библ. сочинений в прозе и стихах с 1800 по 1809, вызванных изданием „Слова“ в исследовании Е. В. Барсова „Слово о полку Игореве, как художественный памятник киевской дружинной Руси» т. I М. 1887 г. стр. 1-2.

27) Устав С.-Петербургского Вольного Общества Любителей Российской Словесности, ч. I напеч. в 1819 г. К Росписи Смирдина: Первое Прибавл. № 10055.

28) „Атеней“, 4 ч. М. 1829 стр. 318-320.

29) Марлинский. Полное собрание сочинений. т. XI, стр. 176 „Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов“.

30) „Благонамеренный“ журн. А. Е. Измайлова, ч. XXVII. СПб. 1824 г.

- 31) „Северная Пчела" 1825 года, № 94, август 6.
- 32) „Вступительная лекция" Н. С. Тихонравова, „Москов. Вед." 1859, № 232.
- 33) См. статья Н. Карамзина „О книжной торговле и любви ко чтению в России" „Вест. Евр." 1802, . № 9, стр. 57.
- 34) „Ист. Академии Наук" Пекарского т. II стр. 147-149.
- 35) См. П. Собр. Зак., т. VII, № 5175, а также „Регламент" данный ими. Елизаветой Академии Наук, помещ. в первом томе „Наук комментарий" и впервые напечатанный 25 сентября 1747, при Акад. Наук.
- 36) „Ист. русск. Слов." Галахова изд. 1880 г. т I отд. II, стр. 269. — Ист. Рос. Акад. Сухомлинова, вып. III 1876, стр. 85. — „Сын Отеч." 1839, т. XI, отд. VI, 77-81.
- 37) „Русск. Вестн. 1860, кн. I" Современ. Лет. стр. 112 и след.
- 38) См. „Галия" или Собрание сочинений в стихах и прозе" 1807 г.
- 39) „Сын Отечества" 1856, № 28 „Исторический очерк русского прозаического романа", ст. Благосветова.
- 40) Ст. М. Л. Михайлова, „Похождения Ивана Гостинного сына" Библи. для Чтения 1854, 127, стр. 16.
- 41) „Полное собрание сочинений А. Е. Измайлова", Изд. Рус. книжного магазина, М. 1891, т. III.
- 42) См. Ученые Зап. II Отд. Им. А. Наук, кн. IV, 1858 г. стр. 282-283 „Очерк ист. старин. пов. и сказок русских" А. Н. Пыпина.
- 43) „Рус. Старина" 1883 г. Исслед. проф. В. С. Иконникова „Афанасий Лаврентьевич Ордин Нащокин", октябрь, стр. 293-294, а также „Родословная книга" изд. Рус. Стар. I, 265.
- 44) „Записки Ф. Ф. Вигеля", т. III, М. 1892, стр. 59.
- 45) См. „Живописец" ч. II стр. 172, Примечания Н. Новикова к „Письму Любомудрова из Ярославля 1773 года ч. I стр. 43.
- 46) „Записки артиллерии майора М. В. Данилова, написанные в 1771 г." М. 1842 стр. 15.
- 47) „Русское провинциальное общество во второй половине XVIII века", Исторический очерк Н. Чечулина, СПб. 1889 стр. 1.
- 48) „Рус. Архив 1877, № 1 Записки Винсаго" стр. 102.
- 49) „Дворянство в России от начала XVIII века до отмены крепостного права" А. Романович-Славатинский, СПб. 1870 стр. 141, 162.
- 50) «Записки Т.А. Болотова» 1755-1757 гг. т. I стр. 330. См. также „Старинные помещики на служба и дома". Из семейной хроники Е. Щепкиной, СПб. 1890, стр. 182-191.
- 51) „Записки Винсаго", Р. Арх. № 1, стр. 93-99.
- 52) „Записки об имп. Екатерине Великой" А. М. Грибовскаго изд. второе, М- 1864, стр. 10.
- 53) „Записки Винсаго", Р. Архив, № 1 стр. 88.
- 54) Ibid, стр. 98.
- 55) „Записки Ф. Ф. Вигеля" М. 1892 ч. I, стр. 167.
- 56) „История Рос. Академии" М. И. Сухомлинова, 1830, стр. 152, выпуск к Приложению № 2. Ibid. „Сборн. Отделения русского языка и словесности Ими. Акад. Н." т. XXII 1881.
- 57) „Записки Ф. Ф. Вигеля", ч. I, стр. 148 М. 1892.
- 58) А. Н. Пыпин, „Русская наука и национальный вопрос в XVIII веке, см. Вест. Европы" 1884, май, стр. 233.
- 59) „Собрание сочинений кн. П. Вяземского" СПб. 1878, т. V, гл. I стр. 9. См. также Арх. кн. Воронцова, т. XXI. М. 1881; Бумаги кн. Е. Р. Дашковой: „Mon histoire" I pp. 812, где она пишет: «Bayle, Montesquieu, Voltaire étaient mes livres favoris, Je pourrais peut être avancer qu'il n'y avait pas deux femmes outre moi et la grande duchesse, qui s'occupassent d'une lecture sérieuse"...
- 60) „Взгляд на мою жизнь" И. Дмитриева М. 1866, ч. I стр. 96.
- 61) „Бюграфия А. И. Кошелева" М. 1889 т. I стр. 12. См. в Ж. М Н. Пр. 1890, № 3, рецензию К. Бестужева-Рюмина, Отд. „Критика и Библи.".
- 62) „Крестьяне в царствование им. Екатерины II" В. И. Семевского, т. I СПб. 1881, гл. VII, стр. 159-207.
- 63) „Дворянство в России" и пр. Романович-Славатинскаго, СПб. 1870, стр. 313.
- 64) „Собрание сочинений П. Вяземского", т. V гл. III стр. 28.
- 65) „Записки Винсаго" Р. Арх., 1877, № 1, стр. 103.

- 66) „Записки Ф. Ф. Вигеля", 1892, ч. II стр. 28, ч. I, стр. 215-216.
- 67) Ст. Д. Языкова „Вольтер в русской литературе" в „Древней и Новой России" 1878, кн. III стр. 279.
- 68) „Москвитянин" 1844, ч. VI № 11 стр. 213.
- 69) См. „Русский Архив 1882, № 6 Граф Растопчин о Вольтере" стр. 207-209.
- 70) „Записки Ф. Ф. Вигеля", ч. III стр. 151.
- 71) „Русский Вестник" 1857, август кн. 2. „Черты русских нравов XVIII столетия, ст. вторая, А. Афанасьева, стр. 259.
- 72) См. „Критические примечания Болтина на второй том истории кн. Щербатова" 1794 г. стр. 82-83.
- 73) „Вестник Европы" 1802, № 9, стр. 61.
- 74) „Записки Н. И. Толубеева", стр. 38-40.
- 76) „Взгляд на мою жизнь" И. И. Дмитриева, стр. 15-16.
- 77) „Старинные помещики на службе и дома", Е. Щепкиной, стр. 184-188.
- 78) „Жизнь и прикл." А. Т. Болотова стр. 182, 108, 821-322, 369, 391, 610, 824-828.
- 79) „Жизнь Державина" ст. Я. Грота в „Русском Вестнике" 1860, апрель, стр. 363-368.
- 80) И. И. Дмитриев „Взгляд на мою жизнь" ч. I, стр. 14.
- 81) „История рус. Словесности" А. Галахова, изд. 1866, стр. 172.
- 82) См. „Эпоха" 1864, май, стр. 155-156.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ I

В царствование Екатерины II-й, начиная с 1762 года, переведены с *французского* языка романы следующих *иностранных авторов*, имена которых мы приводим *в порядке годов* издания *русских переводов*, помеченных в Смирдинской «Росписи», и будем обозначать «точками» не найденные нами имена. Помимо иностранных писателей, переведенных в прошлые царствования, например: Фенелона = Fénélon 1651+1715; Иоанна Барклая = J. Barclay 1582+1621; Лесажа = Alain Lesage 1668+1747; Г-жи Кошуа =.....? <sup>1)</sup> Аббата Прево = L'Abbé A. F. Prevost d'Exiles 1697+1763; (в «Росписи» Смирдина один роман Прево ошибочно приписан д'Аржансу, смотри статью Я. Грота: «Жизнь Державина», в «Р. Вестн.», том XXVI, стр. 366-377); переведены впервые произведения следующих авторов: г-жи Барбьера = Anne Barbier + 1745; Аббата Террасона = L'Abbé Terrasson 1670+1750; Мариво = P. Carlet de Chamblain de Marivaux 1688+1763; д'Арка = Ph. Aug. de S. Foix chevalier d'Arcq +1779, д'Аржанса = I. V. Boyer Marquis d'Argens 1704+1771; Г-жи Гомец = Madelaine Angélique Poisson Gomez 1684+1770; Дезегре = Regnaud de Segrais 1624+1701; де-ла-Фонтена = J. de la Fontaine 1621+1695; Маменя = Mamin de Bordeaux—XVIII siècle; Мармонтеля = Marmontel 1728+1799; Фильдинга = Fielding 1707+1754 (англ. писат.); д'Арно, д'Арнау, Арнода, Арнауда, Дарнода, Арнольда = Arnaud de Baculard 1718+1805; «Жизнь и приключения Лазария Тормского» = известное сочинение испанского писателя Diego Hurtado de Mendoza 1503+1575; Ламота = Ant. Houdard de Lamotte 1672+1731; Дората = Dorat 1734+1780;

<sup>1)</sup> Русское заглавие переведенного романа следующее: «Изабелла Мендоза, испанская повесть», соч. г-жи Кошуа, Спб., 1760 года, в объявлениях «Петербургских Ведомостей» 1761 года не раз упоминается об этом романе, но без имени автора.

Кастилона = Castillon 1718+1793; де-Саси = Louis de Sacy 1654+1727; Дю-Френи = Charles Riviere Dufresny 1648+1724; Девушки Луссаны = Marguerite de Lussan 1682+1758; Лоазель де-Треогат = Loasel de Tréogate 1752+1812; д'Юсье, Юссие, д'Юссие = d'Ussieux 1747+1798; Юнга = Jung 1740+1817; Рикобони = Hélène Virg. Riccoboni 1686+1771; Гольдсмит = Oliver Goldsmith 1728+1774 (ирланд.); Сореля = Sorel Sieur de Souvigny 1597+1674; Маркиза де-Варжемонда = Vicomte de Vargemont XVIII siècle; Ретиф де-ла-Бретон = Restif de la Brétogne 1731+1806; Мерсиера = Louis Sebastien Mercier 1740+1814; Рихардсона, Ричадсона = Richardson 1689+1761 (англ. писат.); Монтестье, Монтестье = C. de Secondat baron de Montesquieu 1689+1755; Кубьера = Michel dit Palmezeaux de Cubères 1752+1820; барона Галлера = Albert de Haller 1708+1777 (швейц.); Кребийлона = Crébillon fils 1707+1777; г-жи Маларм = М-те Charlotte Malarmc née 1753; Скаррона = Scarron 1610+1660; Карто = J. P. Calteau Caleville XVIII siècle; Флориана = Florian 1755+1794; Геснера = Salomon Gesner 1730+1788 (швейц.); Стерна = Sterne 1713+1768 (англ.

писатель); графа Кайлуса = Phil. comte de Caylus 1692+1765; Пиголта = Pigault Lebrun 1753+1835; Леонарда = Léonard vice sénéchal de la Guadeloupe 1741+1793; Фридериха II = Frederic II roi de Prusse 1713+1786; Меера = Meyer 1491+1552; г-жи Милли = M-elle de Milly XVIII siècle; «Записки Клевеландши, ею самую писанные» = Cleland 1707+1789 (английск. писат. «Mémoires d'une courtisane»); Жанлис = Stephanie Felicite Ducrest de St. Aubin comtesse de Genlis 1746+1830; Гилльера д'Овертеля = Guillard de Borieu 1728+1795? Графиньи = Graffigny Françoise d'Issemburg d'Arponcourt 1694 +1758; Лувета де-Кувре = Louvet de Couvray 1760+1797; Ксенофонта = Xénophon le Jeune ecrivain d'Ephese III et IV siècles; Мисс Софии Лее = Sophie Lee 1750+1824 (английская писательница); Дофина = Augustin Anne Dauphin 1759+1822; Жерарда = Louis Philippe Abbé Gerard 1737+1813; де-Сент. Пиерра = Brnardin de St. Pierre 1737+1814; Инхбальд = Elisabeth Simpson ou mistress Inhbald 1753 +1821; Меера = Brossan chevalier de-Méré +1685; Дюкре Дюминиля = Ducray Dumenil 1761+1819; Нугарета = Nougaret 1742+1823; г-жи де-Бомонт = Madame Jeanne le Prince de Beaumont 1711+1780; де-ла-Бретонь = Max Breton de la Martinière XVIII siècle.

## ПРИЛОЖЕНИЕ II

В царствование Екатерины II переведены с разных языков романы следующих иностранных авторов:

С немецкого языка, начиная с 1763 года: Скаррона, Вольтера, Гомеца, Геснера, Фильдинга (см. приложение I), а с 1770 года встречаются впервые романы: Свифта = Jonathan Swift 1667+1745 (англ. пис.); Фергиера .....? <sup>1)</sup> Виланда = Crist. Martin Wieland 1733+1813; Ивана Гавковорда = J. Hawkesworth (англ. писат.) 1713+1773; г-жи Ормой = Charlotte Chaumet d'Ormoy 1732+1791; Якоба Душ = Jacob le Dnchat (éditcur) 1658+1735; Августа Мейснера = A. T. Meissner 1753+1807; Бенделя .....? <sup>2)</sup>; Геллерта = Chr. F. Gellert 1715+1769.

С английского языка: Свифт (см. выше); Томаса Мориса = Thomus Morus 1480+1535; Ричардсона (см. прил. I); Джонсона = Johnson 1709+1784.

С польского языка, Мармонтеля (см. прил. I); Шеридана = Françoise Sheridan 1724+1766, английская писательница, мать известного оратора и писателя Шеридана.

С грузинского языка: Диларгета .....? <sup>3)</sup>.

С испанского языка: Сервантеса = Cervantes Saavedra 1547+1616.

С латинского языка: Николая Клима — сатирико-юмористический роман под заглавием: «Nicolaii Kliraii iter subterraneum» Leipzig 1741, написанный датчанном Гольбергом = Holberg Ludwig Freiherr 1684+1754; Августа Фуана = Jacques Auguste Thou (по латыни J. A. Thuani) 1553+1617; Илиодора Емейского = Héliodore Emése, греческий писатель IV века; Иоанна Баркляя (см. прил. I).

С греческого языка: Елиана «Греческие повести» = Claudius Aelianus, Elie le sophiste (греческий писатель III века).

<sup>1)</sup> Русское заглавие переводного романа следующее: «Дон-Жуан и Изабелла, португальская повесть», соч. Фергиера, пер. с немецкого Ивана Кудрявцева. Спб., 1771 года.

<sup>2)</sup> «Достопамятные приключения Ильи Бенделя, сына стокгольмского рыбака, им самим сочиненные»; пер. с нем. 2 части. М. 1789 года.

<sup>3)</sup> «Похождение новомодной красавицы Гуланданы и храброго принца Барама»; соч. Диларгета; перевел с грузинского Семен Игнатъев. Спб. 1773 года.

## ПРИЛОЖЕНИЕ III

## ПРИЛОЖЕНИЕ III

В царствование Павла I, начиная с 1796 года, переведены с *французского и немецкого* романы следующих иностранных авторов: с французского языка переведены романы: д'Арно, Леонарда, Дюкре-Дюмениля, Ричардсона, Фильдинга, Мармонтеля, Аббата Прево, Флориана (см. прил. I). При этом встречаются впервые произведения следующих иностранных авторов: Девицы Бюрней = Miss Francis Burney Madame d'Arblay (англ. писательница) 1752+1840; Дидерот = Diderot 1713+1784; Горжи = Gorgy Jean Claude 1753+1795; Бильдерберк = Bilderbeck 1764 + 1833; Бомстон .....? <sup>1)</sup>; Руссо = Rousseau 1712+1778.

С немецкого языка переведены романы следующих авторов: Мейснера (см. прил. II); встречаются впервые романы: Гётте = **Wolfgang** Goethe 1749+1832; Коцебу = Kotzebue 1761+1819; Рацеберга .....? <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Русское заглавие переводного романа следующее: «Приключения Эдуарда Бомстона, описанные им самим через переписку с Прио, Юлиею, Клерою. Вольмаром и другими, служащие дополнешею к Новой Элоизе», пер. с франц. Андрей Версильовъ. Спб. 1798 года.

<sup>2)</sup> Лиценциата Рацеберга: «Новый спутник и собеседник веселых людей при собрании приятных и благопристойных шуток, остроумия и замысловатых речей и забавных повестей», перевел с немецк. Яков Благодаров, М. 1796 года.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ IV

В царствование Александра I с 1801 по 1814 год переведены с *французского языка* романы и повести следующих иностранных авторов: Скаррона. Флориана, Арно, Жерарда, Вольтера, Дюкре-Дюмениля, Руссо, Мерсие, Мармонтеля, Луазель де-Треогата, Жанлис, Мисс Бюрней, Виланда, Горжи, Стерна, Лесажа, Лафонтена, Лувет де-Кувре, Сервантеса, Сентъ-Пиерра, Фенелона, Пиго де Брюна, Монтескье, Бильдерберка (см. прилож. III).

С французского языка переведены впервые произведения следующих авторов: Радклиф = Anne Radcliffe 1764 +1823 (англ. пис.); Вирнея = Vernes 1728+1790 (швейцар. пис.); «Приданное Сюзеты, или записки г-жи Сеннетер, ею самою писанные» = «La dot de Zuzette» par **Fievée** litter. 1770+1839; Сень-Сир .....? <sup>1)</sup>; Иосифа Росни = A. Jos. de Rosny 1771+1814; Мимольта = J. F. Mimaout 1774 +1814; Левиса = Math. Gr. Lewis 1773+1818 (англ. пис.); Анны Макензи XVIII siècle (английской писательницы); Марии Рош = Miss Maria Regina Roche +1820 (англ. пис.); Лантье = E. F. de Lantier 1736+1826; Ла-Саль = Lasalle 1765+1833; Августа де-ла-Фонтена 1756+1833 (нем. пис.); д'Антраг = m-me d'Antraiguts XVIII siècle; Стаель, Сталь Голштейн = A. L. G. Necker, baronne de Sael-Holstein 1766+1817; Ринвиса Фейта = Rhynys Feith 1753+1824 (голланд. пис.); Списа, Шписса = Spies 1755+1799 (нем. пис.); де-Сильвеня = Marechal Pierre Sylvain 1750+1803; Георга Ваклера = Wachler 1767+1838; г-жи Соммервиль = **Elisabeth Somerville** XVIII siècle [правильно: **Elizabeth Somerville** (née Helme; 1774–1840)]; Котен = S. R. m-me Cottin 1723+1809; г-жи Опи = **Mistress** Opie, née 1771 (англ. писат.); Де-Лаво = C. Thibault Lavaux 1749+1827; де-Трессана = L. E. de la Vergne, comte de Tressan 1705+1743; Лежюня = Aug. Lejeune XVIII siècle; Дюпителя = Duputel né au XVIII siècle; Арманд Ролан = M-me Armand Roland, née à la fin du XVIII siècle; Лаверн = Comte de la Verne 1769+1815; г-жи Беннет = Elisa Benett (англ. роман.)+1808 [такого имени нет; Elizabeth Bennett — героиня Джейн Остин]; Демутьера = Demouthier 1760+1803; Севелига = Charles Louis Sewelings 1767+1831.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ V

В царствование Александра I с 1801 по 1814 год переведены с *разных языков* романы и повести следующих иностранных авторов:

С немецкого языка переведены романы и новости: Списа, Коцебу, Мейснера, Виланда, Августа Лафонтена, Бильдерберка (см. прилож. I-IV); затем впервые переведены произведения следующих авторов: Крамера = Karl Gottlieb Cramer 1758+1817; Сборник Вейссе и др. = Weisse 1726+1804; Экартсгаузена = Ecartshausen 1752+1803; Младшего Шлейснера = G. J. Schleusner

<sup>1)</sup> Русское заглавие переводного романа следующее: «Сабина Герфельд, или **О**пасности воображения, прусские письма собрал Сен-Сир», пер. с франц. М. 1802 года.

+1798; Богацкого = Bogatzky 1690+1774; Лангбейна = A. F. Langbein 1737+1835; г-жи Криднер = m-me Krüdener 1766+1824; Шиллера = Schiller 1759+1805; Энгеля г = Engel 1741+1802; Вильпиуса = Vulpius 1762+1827; Пихлера = Caroline Pichler 1760+1843.

С английского языка переведены с 1802 года романы: Радклиф (см. прилож. IV); Стерна (см. прилож. II); впервые переведены произведения следующих авторов: Анны-Марии Портер = Miss Anna-Maria Porter+1832; Робинзон Крузе = **Daniel Foé** [**Defoe**] 1663+1731.

С грузинского языка переведены: 1) «Новый Ших, или **П**ереписка на персидский вкус любовника с любовницей, живших при подошве кавказских гор», соч. *грузинского царевича Давыда*, пер. с гру-



зинского «Сергей Митропольский». Спб. 1804 г., и 2) «Аллегорическая повесть о розе и соловье», соч. Геламскаго пер. «Иосиф Иоаннесовъ», напеч. на российском и грузинском языках. Спб., т. Иоаннесова, 1812 г.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В настоящее время, когда тщательно собираются сведения о всех сколько-нибудь выдающихся писателях, едва-ли мыслимо, чтобы смерть которого-либо из них прошла незамеченною, как это случилось с Нарезным. И здесь сказалась его печальная литературная судьба: несмотря на все поиски мы не встретили в современных журналах и газетах ни одного хотя бы самого краткого некролога Нарезного с обычными, принятыми в этом случае официальными данными о жизни и заслугах умершего. Только в 75 № «Северной Пчелы» 1825 г., июня 23 (вторник), напечатано краткое известие:

«На сих днях скончались здесь, в Петербурге, два литератора — член имп. российск. академии *Павел Юрьевич Львов* и надворный советник *Василий Трофимович Нарезный* <sup>1)</sup>).

<sup>1)</sup> В том-же 1825 году, в «Отечественных Записках», помещен подробный некролог П. Ю. Львова; но почему-то тогдашний редактор П. П. Свиньин не счел нужным упомянуть в своем журнале о Нарезном.

Естественно, что при таком равнодушии современников к умершему романисту и забвении, которому вскоре подверглись его произведения со стороны большинства читающей публики, мало помалу, в течение 65 лет, исчез весь материал для характеристики его личности и жизнеописания.

Единственные биографические сведения о В. Т. Нарезном, сообщенные его сыном, помещены в «Исторической Хрестоматии» А. Д. Галахова (1). К сожалению и они слишком кратки и отрывочны. Таким образом, вследствие невнимания современников и потомства к первому по времени русскому романисту, нам пришлось не только шаг за шагом собирать фактические данные о жизни Нарезного, но отыскивать и забытые произведения, не вошедшие в собрание его «Романов и Повестей», изд. в 1835-1836 гг.; при этих условиях труда неизбежно должны оказаться известные пробелы.

I

Василий Трофимович Нарезный, сын польского шляхтича <sup>1)</sup>, в 1780 году, в местечке Устивицы,

<sup>1)</sup> Копии бумаг отца В. Т. Нарезного, хранящихся в архиве полтавского дворянского депутатского собрания под № 124, получены нами от товарища председателя полтавского окружного суда П. П. Филипченко, за что приносим ему глубочайшую благодарность. В бумагах этих, которые будут приложены в конце **статьи**, фамилия означена Нарезный, но мы оставим правописание фамилии, принятое самим романистом, через *ь*, а именно Нарѣжный.

тогдашней Миргородской сотни Гадячского повета <sup>2)</sup>, где его отец, Трофим Иванович Нарезный, (см. прилож. I), владел пахотною и сенокосною землею, отчасти им самим приобретенною, а частью унасле

<sup>2)</sup> Повет заключал известное число селений и сотен. Поветы были уничтожены в 1760 году вместе с другими учреждениями, бывшими при польском владении, а затем вновь восстановлены в 1763 г. гетманом К. Г. Разумовским. Гадяч, как и некоторые другие города, созданные из местечек и селений, не раз переходил, до окончательного образования малороссийских губерний, то к киевскому, то к черниговскому наместничествам.

дованною от предков. Последние, повидимому, принадлежали к той шляхте, «в малом весьма количестве» оставшейся в Гадяче после изгнания поляков, которая, по свидетельству А. Шафонского, «будучи сама принуждена казацкое на себя принять звание, не смела тогда о своем праве отзываться, а должна была подвергнуть себя под суд и расправу военных казацких начальников, т. е. гетмана, полковников и сотников, тем более, что в это время военное на полки и сотни распределение распространено на все гражданское и земское правление»... (2).

Неизвестно, распространялось ли на шляхтичей с принятием казацкого звания обязательство служить в войске, и Т. И. Нарезный нес военную службу в силу-ли необходимости или к этому побудили его какие-нибудь личные соображения. Но, во всяком случае, в 1786 году, согласно поданной им челобитной, был уволен из черниговского карабинерного полка <sup>1)</sup>, где он числился вахмистром, с обязательством «остаться вечно в российском подданстве», и награжден чином корнета (см. прил. II). В том

же году он подал «доношение» в дворянское собрание киевского наместничества о выдаче ему дворянского патента, на основании грамоты Петра Великого 1721 года, предоставлявшей дворянство «всем обер-офицерам, их детям и потомкам». Доношение Т. И. Нарезного было читано в упомянутом дворянском собрании 24 октября и решено выдать ему свидетельство о дворянстве впредь до изготовления грамоты (см. прилож. III); но это решение было впоследствии отменено (см. прилож. IV).

Получение дворянства и чин корнета не могли внести никаких существенных изменений в быт семьи Т. И. Нарезного, который по выходе в отставку, не имея крепостных людей или в малом числе, должен был, по всем вероятностям, как и другие малоземельные шляхтичи, проживающие в Гадячском повете, опять приняться за полевые работы. Шляхетские претензии и чванство, при скудных средствах, суровом крестьянском труде и отсутствии образования, прекрасно описаны В. Т. Нарезным в первой напечатанной части «Российского Жилблаза» при описании нравов мелкопоместных князей села Фалалеевки. Теми-же типичными чертами изображает он шляхтича, мимоходом выступающего в «Бурсаке» (ч. I, стр. 143-145, изд. 1835-1836 гг.). Завидя издали проезжающих путников, он бросает свой плуг и волов, смущенный тем, что его застали за полевой работой.

«Минуту спустя, пишет автор, — последовало превращение. Из-за телеги показался... мужчина в синем поношенном жупане; длинная сабля волоклась за ним. Довольно издали он снял шапку, поклонился с ласковою улыбкой и вскричал: «Добро пожаловать, господа кавалеры! Сердечно жалею, что замок мой не близко отсюда, а время настает полдничать. Во время полуденного зноя я немного уснул, а бездельники мои подданные воспользовались сим случаем и разбрелись до одного. Впрочем, господа, если вы чувствуете позыв на еду, то милости прошу пожаловать к моей бричке. Там найдете вы свиное сало, мягче и вкуснее всякого масла, довольно число преизящных луковиц, величиною с рослую репу, и хлеб, какого лучше не ест и сам гетман»... Но путники отказались от угощения; и когда один из них отпустил несколько золотых в шляпу шляхтича, то этот не уронил своего достоинства и, поклонясь учтиво, сказал: "Ин прощайте, господа кавалеры! Деньги же сии я отдам первому прохожему, который пособит мне сесть на иноходца. То-то добрый конь! Ни у кого из соседних дворян нет подобного". Он положил деньги в карман и с великою важностью пошел к своей бричке»...

Здесь-то, среди бедных шляхтичей, живших «мирно и братски с крестьянами своими и чужими» («Рос. Жилбл.», ч. I, стр. 21), будущий романист еще ребенком освоился понятиями, бытом и нуждами простого некультурного человека; узнал его с темных и светлых сторон. Только таким знакомством, которое никогда не достигается искусственно, хотя бы путем самого внимательного изучения, можно объяснить то верное, вполне реальное изображение народной жизни, которым отличаются произведения В. Т. Нарезного.

С другой стороны, обстановка, окружавшая его с детства, дала ему наглядное и непосредственное знакомство с Малороссиею гетманских времен. В конце XVIII века Украина носила еще следы борьбы поляков с казаками; водворение русского господства, с частыми переменами, нередко касавшимися коренных учреждений, еще более усиливало общее брожение. Старое продолжало существовать рука об руку с новым. В то время, как с учреждением в 1782 году трех малороссийских наместничеств с их уездами, помимо наплыва великорусского элемента, более достаточные и ловкие представители бывшего казаческого правления получили казенные места, нарядились в сюртуки, камзолы и мундиры, завели шляпы и шпаги, запустили косы, — их товарищи попрежнему расхаживали в черкесках и шапках, с подбитым чубом и турецкою саблею, привешенною к персидскому поясу. Простые казаки, их жены и дочери оставались верны одежде своих предков. Нарезному не приходилось, как впоследствии Гоголю, собирать сведения о старых обычаях и выписывать образцы народных одежд. Он видел и знал их с детства, видел старинные казацкие хаты с их тогдашним убранством, широкие решетчатые дворы сотников и дома их, разделенные надвое, с сквозными стенами и просторным покоем, где в старину производился суд и устраивались пиры. Ещё живы были представители Запорожской Сечи, уничтоженной в 1775 году, а также внуки и правнуки участников войн Хмельницкого. Рассказы их о казацких подвигах и последних гетманах, слышанные в детстве, должны были глубоко врезаться в памяти Нарезного и не могли быть забыты им под влиянием новых впечатлений, ни даже продолжительной чиновничьей службы на далеком севере. Он сам видел места повествуемых событий и в его воображении создались готовые картины; ему оставалось только группировать их <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> В краткой «Исторической Христоматии» А. Д. Галахова сказано, что В. Т. Нарезный до 11-летнего возраста воспитывался под руководством своего дяди Андриевского-Нарежного, между тем как в архиве полтавского дворянского депутатского собрания хранятся дела о дворянстве Андриевских, а фамилии Андриевских-Нарежных не оказалось вовсе; — но из этого нельзя выводить каких-либо заключений относительно малороссийского происхождения Анастасии Нарезной.

Этому обстоятельству В. Т. Нарезный обязан основательным знакомством с исторической и бытовой Малороссиєю, о котором свидетельствуют его произведения.

## II

Обращаясь к первоначальному обучению В. Нарезного, необходимо заметить, что он несомненно должен был получить некоторую научную подготовку до своего поступления в московскую дворянскую гимназию, судя по тому, что мог в шесть лет пройти довольно значительный гимназический курс и «был произведен в студенты». Но здесь является вопрос: где собственно обучался он до 12-летнего возраста? В те времена в Малороссии только богатые держали дома учителей; остальные воспитывали своих детей в первоначальных школах, учрежденных при монастырях и церквях, а затем в семинариях. При последних, «на вклады щедрых обывателей», устроены были для бедных иногородних учеников просторные хаты, называвшиеся «бурсами», с печью и широкими скамьями по стенам. Жизнь и нравы тогдашних малороссийских бурсаков так живо и наглядно изображены в известном романе нарежного «Бурсак», что этому рассказу необходимо придать автобиографическое значение. Встреченное нами, в упомянутой книге Шафонского (стр. 2380-284), описание черниговской бursы и семинарии 1786 года подтверждает эту догадку. Вообще, это описание бursы настолько близко подходит к описанию бursы в романе Нарезного, что дает нам право предположить, что сам романист находился некоторое время в черниговской бурсе, и, наравне с другими учениками, посещал школы или классы черниговской семинарии (бывшего латинского коллегіума<sup>1)</sup>). Подтверждением этой догадки служит то, что и отец Нарезного, до 1786 года, служил в черниговском карабинерском полку.

<sup>1)</sup> Черниговская семинария или коллегіум устроена в 1700 г., раньше всех других малороссийских семинарий, черниговским архиепископом Иоанном Максимовичем, из старого училища, переведенного в Чернигов, в XVII в., из Новгорода-Северского, где оно существовало сначала в виде иезуитской коллегіи, потом православной школы. Курс черниговского коллегіума устроен был по образцу киевской академии, с полным господством латинского языка; при этом коллегіум, как все малороссийские духовные школы, был заведением открытым для всех и не имел церковного назначения (4). В XVII в. коллегіум находился при черниговском кафедральном Борисоглебском монастыре, а в 1780-х годах окончательно переименован в семинарию.

«За тридцать и двадцать лет, пишет Шафонский в 1786 году, — все дворянские дети обучались в сих школах, а ныне одних только недостаточных дворян дети и то самым малым числом в сие училище входят. Теперь всех учеников 269... Что принадлежит до самого учения, образа порядка и метода его, то оный самый затруднительный, для учащихсѧ отяготительный. время теряющий и бесполезный. Он занят от польских духовных, но еще хуже того юношество, провождая целый день в латинском языке, и потеряв столько времени, более ничего не научалось... Касательно до настоящих наук, то о них не только ученики, но и самые учителя и понятия не имеют...

«Сколь само учение слабое и ограниченное, столь содержание учителей и учеников бедно и скудно... Бедные студенты живут в особом, к школам принадлежащем доме, который *бурса* называется, где от архиерея давались дрова, в неделю несколько раз печеный ржаной хлеб и на кашу крупа; однакож сия дача столь мала, что если-бы не было народного подаяния, то бы они с голода и холода помирать должны. Когда после полудня учащихсѧ из классов по своим квартирам распустят, то обыкновенно студенты, живущие в бурсе или бурсаки, к сожалению и общему стыду, ходят по всему городку под окошками духовные песни поют и за то от жителетей денежное и съестное подаяние получают. Собрав сию милостыню, спешат в бурсу, чтобы выучит заданные в классах уроки и к другому дню себя приготовить. Некоторые жители сверх сего дневного подаяния снабдевают их одеянием...

«Есть еще особый способ испрашивать подаяние, несколько ученость покрытый. Обыкновенно приостанавливается учение на июль и август месяцы и на оные ученики распускаются в свои дома. Сие

время называется вакации. Бедные студенты ходят в оное время по всей малой России, говорят в домах латинские, польские и русские речи. а за то получаю некоторое вознаграждение»...

Не подлежит сомнению, что эта характеристика может быть применена в общих чертах к любой малороссийской бурсе того времени, хотя бы переяславской, описанной И. Тимковским (в упомянутой статье стр. 21); но в подробностях каждая из них должна была представлять известные местные особенности, и только в этом отношении мы придаем значение полному тождеству характеристики Шафонского с описанием Нарезного. Едва-ли также можно считать простою случайностью или ошибкою в «Бурсаке» помещение Переяславля на Десне, тем более, что география этой местности была хорошо знакома Нарезному; и вообще в его сочинениях нет подобных погрешностей. Заметим, что в «Бурсаке» описан древний женский монастырь XVII в., вероятно черниговский Пятницкий, при готической церкви Параскевы, еще существовавший в 1780-х годах, между тем, как в самом Переяславле ни в это время, ни прежде не было ни одного женского монастыря.

Мы привели здесь те доводы, на основании которых решились высказать наши предположения о первоначальном воспитании В. Т. Нарезного; вполне подтвердить или опровергнуть сказанное могли бы только подлинные документы, которые до сих пор не найдены <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Нахождение документов, в настоящем случае, будет счастливою случайностью, потому что при перекройке малороссийских губерний официальные бумаги подвергались сортировке и были пересылаемы из одних городов в другие; а некоторые из них и помимо этого погибли безвозвратно. Так, по сведениям, обязательно собранным для нас в Киеве многоуважаемым Д. Г. Лебединем, старый архив киевской академии сгорел в 1811 году при общем подольском пожаре. Затем, по словам очевидцев, весной 1854 года, во время переяславского пожара, «горели библиотека и архив переяславской семинарии» и погибло много документов. Что же касается архива черниговской семинарии, то по наведенным для нас справкам списки учеников черниговской семинарии, в которой обучались бурсаки, сохранились только начиная с 1794 года и при этом одного «пиитического» класса; более полные списки существуют от 1796, 1797 и дальше. Но так как В. Т. Нарезный уже в 1792 году поступил в московскую дворянскую гимназию, то имени его не оказалось в имеющихся списках.

Но здесь мы оставляем почву предположений и переходим к положительным данным. В краткой биографии, помещенной в «Исторической Христоматии» А. Д. Галахова сказано, что «в 1792 году В. Т. Нарезный был отдан в дворянскую гимназию при московском университете, что подтверждается и официальными документами, которые напечатаны в конце нашего очерка <sup>2)</sup>.

<sup>2)</sup> Документы эти, доставленные в редакцию «Русской Старины» вдовой сано В. Т. Нарезного, Анною Тихоновною, а в особенности формулярный список о службе романиста в разных учреждениях, — служили для нас в хронологическом отношении руководною нитью при составлении настоящего очерка.

Дворянская гимназия на ряду с другою, разночинной, были основаны одновременно при московском университете: в первой учились дети потомственных и личных дворян, во второй — дети разночинцев, кроме крепостных, которые не иначе могли быть допущены в гимназию и университет, как получив увольнительное свидетельство от своих помещиков (5). Сначала обе гимназии были совершенно отделены одна от другой; даже учителя и классы были разные (6), так как по статье 39 «Проекта об учреждении московского университета» различие это уничтожилось только по окончании гимназического курса. «...Как выдут из гимназии, сказано в статье проекта, — и будут студентами у вышних наук, таким быть вместе, как дворянам, так и разночинцам, чтоб тем более дать поощрение к прилежному учению».

Но при увеличении числа гимназистов (7) разделение дворян и разночинцев относительно учения оказалось неудобным; поэтому ученики обеих гимназий стали учиться одновременно в одних и тех-же классах. а вскоре и за одними столами, так что составила как-бы одна гимназия с двумя отделениями.

Между тем внешние различия удержались долее и существовали во всей силе во время поступления В. Т. Нарезного в гимназию; но уже при нем, а именно в конце 1796 года, были уничтожены Павлом I (кроме некоторых частных). Так, например, казеннокоштные, которых полагалось до пятидесяти в той и другой гимназии, жили в разных покоях: воспитанники дворянского происхождения на особой *дворянской* половине, а разночинца на другой, хотя обедали в общей столовой -зале. При этом столы накрывались на разных сторонах залы; столовая посуда на дворянских столах подавалась из английского фаянса и ложки серебряные, а на разночинных столах посуда и ложки употреблялись оловянные; была

даже разница в кушаньях. Кроме того, на так называемом *прилежном* столе подавалось кушанье дворянское с прибавлением сладкого пирожного <sup>1)</sup>; между тем как *ленивый* стол не покрывался ничем, посуда была деревянная, кушанье самое простое (хлеб черный, квас и соль); п опадавшие за этот стол как дворяне, так и разночинцы должны были есть стоя.

<sup>1)</sup> За *прилежным* столом сидели *по одному* ученику из каждой камеры неизменно в течение месяца (в главном университетском здании на дворянской половине было семь камер или длинных зал, и восемь на разночинной половине). В первое число каждого месяца, перед началом обеда, дежурный студент в столовой громко прочитывал список новых *прилежных* учеников, и прежние должны были уступить им свои места.

Самое резкое различие «штатных» воспитанников от разночинцев заключалось в одежде, которая была хоть и одинакового покроя, но разного цвета; при этом те и другие, равным образом, заплетали себе косички, подвивали букли и, смотря по времени года, носили сапоги или башмаки с пряжками.

Что касается гимназического курса, то главной целью его было приготовление будущих студентов университета; поэтому и здесь, и там «изучались почти одни и те-же предметы, только в университете пространно, а в гимназиях — сокращенно». В высших гимназических классах, по предметам русской и древней словесности, занимались профессора и адъюнкты; в средних и низших — учили ба<sup>к</sup>калавры и студенты университета. Гимназии помещались в одном здании с университетом, состояли под начальство одного и того-же директора; инспектором гимназии был который-либо из ординарных профессоров; из лучших студентов избирались «цензоры» для наблюдения за поведением учеников гимназии; они-же помогали последним в приготовлении уроков.

В каждой гимназии было по четыре школы; в каждой школе по три класса. «Первая школа была *российская* в ней три класса соответствовали трем ступеням: грамматике и чистоте слога, стихотворству и красноречию; здесь же был введен и славянский язык. Вторая школа была *латинская*; у не соблюдалась постепенность от первых оснований латинского языка до чтения самых трудных писателей <sup>1)</sup>. Третья школа — *первых оснований наук*: в низшем классе обучали арифметике, в среднем — геометрии и географии, в высшем — сокращенной философии. Четвертая школа — *знатнейших европейских языков*; в ней учение предлагалось с тою-же постепенностью; при этом введено было и признано за нужное изучение греческого языка.

<sup>1)</sup> В гимназической библиотеке, обильно снабженной книгами, находились все латинские классики в издании Целлария; авторы, объясняемые в классах, имелись в количестве 20 экземпляров.

Вообще, наряду с классическими языками в гимназиях было обращено особенное внимание на изучение новейших европейских языков, «помысли» известного учредителя московского университета И. И. Шувалова, который хотел дать будущим студентам необходимое средство «для изучения наук в их современном состоянии». Благодаря этому, языки, по свидетельству проф. Шевырева, шли настолько успешно между казеннокоштными студентами, что они могли помогать иностранцам в гимназическом обучении; с другой стороны, это-же знание давало им заработок, состоявший в переводе книг «на вольную продажу» и для журналов, чем, повидимому, поддерживал себя В. Т. Нарезный во времена студенчества.

Срок учения в гимназиях не был определен; каждый мог учиться столько времени, сколько позволяли ему средства, обстоятельства и дарования. «Талантливый, говорит один из тогдашних преподавателей московского университета, проф. Страхов, мог в четыре года или в пять лет достигнуть степени студента, между тем как не весьма даровитый в это время едва мог выбраться из средних гимназических классов в высшие»... В. Нарезный, как видно из выданного ему университетского аттестата (см. прил. V), оказал средние успехи и, пробыв шесть лет в гимназии, был «произведен в студенты» в 1798 году.

В настоящее время, в виду тесной связи, какая существовала тогда между гимназией и университетом, довольно трудно решить, в какой мере В. Т. Нарезный обязан был своим образованием гимназии, и что собственно дал ему в этом отношении университет, тем более, что он пробыл в последнем всего два года. Насколько была плодотворна эта связь и цельность плана преподавания, видно по тому значительному количеству выдающихся общественных, ученых и литературных деятелей, каких дала первая по времени московская гимназия во время своего 57-летнего существования совместно с университетом.

Блестящие результаты этого воспитания сказались и на В. Нарезном. Произведения его показывают в нем безусловно образованного человека, знакомого не только с классической, но и с западно-европейской литературой, а равно значительную по тому времени степень умственного развития, благодаря которому, несмотря на полную отчужденность от тогдашней русской интеллигенции, он сохранил до конца своей литературной деятельности уважение к науке и потребность в высшей духовной жизни. Едва-ли будет правильно приписывать это исключительно способностям и прирожденному таланту В. Т. Нарезного; для развития того и другого необходимы известные благоприятные условия, а обстоятельства благоприятствовали ему только со стороны воспитания.

### III

Московский университет в те времена, сравнительно с нынешними порядками, представлял, как и тогдашняя гимназия, некоторые особенности относительно учебного плана и даже всей обстановки и обычаев. Так, например, все сколько-нибудь важные моменты в жизни университета сопровождались особенно торжественностью, составлявшею отличительную черту общественных нравов XVIII века. На университетских актах постоянно присутствовало высшее духовенство, знать, известные литераторы и все тогдашнее образованное московское общество; при этом читались хвалебные оды и стихи, произносились речи не только профессорами и студентами, но даже учениками гимназий.

С тою-же торжественностью совершалось «производство в студенты» учеников, окончивших гимназический курс, особенно со времени кураторства Мелиссино (1771-1795), который «любил всякие обряды». В этих случаях один из будущих студентов обращался «с латинской просительной речью» к директору университета; директор обращался с такою же речью к куратору. Этот произносил на латинском языке похвалу ректору, профессорам и учащимся, сам из рук своих раздавал шпаги ученикам, получившим звание студентов, которые, в свою очередь, читали благодарственные речи и стихи... Акт всегда заключался приветствием посетителям от инспектора обеих гимназий.

Но с званием студента тогда не было связано право на слушание лекций. Несмотря на контроль университета над гимназическим преподаванием и на то, что в высших классах читали профессора и адъюнкты, общий уровень знаний учеников обеих гимназий считался недостаточным, и только лучшие из них могли по экзамену поступать прямо в университет. Остальным давали известный срок на подготовку, после чего, по выполнению условий, изложенных в тогдашнем «Студенческом уставе», они получали доступ к слушанию лекций. Условия эти заключались в следующем: 1) знание свободных наук и возможность по латыни свободно и вразумительно изъясняться словом и письмом; 2) доверенное свидетельство в праве на законную свободу и исключение из подушного оклада; 3) свидетельство о благонравии. «Все это следовало доказать в открытом заседании конференции, в присутствии директора университета», и все это было, несомненно, выполнено Т. Нарезным, который не принадлежал к числу лучших учеников гимназии. Из его аттестата видно, что он только через год после «производства в студенты» поступил в университет, а именно в 1799 году.

Тогдашний университетский курс был также четырех-годичный; но распределение предметов опять-таки представляло известные отличия. Согласно «Студенческому уставу» каждый поступивший в университет обязан был в первом году пройти общий подготовительный курс так называемый «словесных наук», который состоял в знании латинского, греческого и русского языков (присовокупляя к оным немецкий и французский), истории, географии, древностей, мифологии (мифологии), чистой математики, физики и логики. Затем уже студенту предоставлялось выбрать один из трех факультетов (философский, юридический и медицинский), с обязательством пробыть в нем не менее трех лет.

В. Нарезный, по окончании курса «словесных наук», поступил на философский факультет, представлявший тогда соединение наук философских, исторических с математическими и частью естественными. В прилагаемом аттестате Нарезного не означены некоторые предметы философского факультета и сказано только, что он обучался: 1) логике и метафизике, 2) энциклопедии всех наук, 3) всемирной истории и географии, 4) чистой и 5) смешанной математике, и 6) опытной физике. Это объясняется тем, что он пробыл в университете на более двух лет, а именно с осени 1799 г. по 1801, и следовательно, по окончании курса «словесных наук» всего год слушал лекции на философском факультете.

Из преподавателей философского факультета в то время самое видное место занимают А. А. Антонский-Прокопович и П. П. Страхов (9). Антонский-Прокопович, известный своей плодотворною пе-

дагогическо-литературную и общественную деятельность, имя которого тесно связано с существованием московского «благородного пансиона», занимал кафедру энциклопедии и натуральной истории, и впервые читал эти курсы на русском языке. Разбирая историческое развитие естественной истории от глубокой древности до XVIII века и указывая на ее историческое значение, он умел заинтересовать слушателей и приохотить их к занятиям. Наряду с ним стоит менее известный в настоящее время, но еще более даровитый и блестящий профессор опытной физики П. П. Страхов, который, при широком образовании и знаниях, с первой-же лекции поразил слушателей новым талантливym изложением предмета и искусством в произведении опытов; и до конца пользовался такою популярностью, что, по свидетельству очевидца И. Тимковского (10), его обширная аудитория постоянно наполнялась студентами всех факультетов и многочисленными посетителями. Благодаря своей прекрасно дикции, громкому голосу и представительной наружности, Страхов был первым оратором университета и в торжественных случаях говорил речи даже за других профессоров философского факультета, как, напр., Чеботарева (профессор русской словесности и русской истории), Панкевич («смешанной» математики) и Брянцева (логики и физики). При этом П. П. Страхов пользовался общим уважением профессоров и студентов за свою неподкупную честность.

Что касается влияния Прокоповича-Антонского, Страхова и других профессоров на тогдашних студентов, то оно только до известной степени могло коснуться Нарезного ввиду кратковременного пребывания его в университете. Единственный из профессоров, с которым он мог иметь более близкие и продолжительные сношения, был П. А. Сохацкий, инспектор греческих и латинских классов обеих гимназий, а с 1791 года (по смерти профессора Барсова) преподаватель греческой и латинской словесности в университете и редактор двух журналов, где Нарезный помещал свои юношеские литературные опыты. Проф. Сохацкий, поклонник классицизма, не сочувствовал возникавшей романтической моде и горячо восстал против мрачного колорита и туманности, которые тогда начали проникать в нашу литературу, — и мог в этом отношении повлиять на начинающего писателя. Но с другой стороны, если Нарезный в своих первых произведениях заплатил известную дань классицизму и вообще оставался чуждым романтизма (кроме одной повести, о которой будет сказано ниже), то это может быть настолько же объяснено его личными литературными симпатиями и вкусом.

Причины преждевременного выхода Нарезного из университета неизвестны и, вероятно, зависели от каких-либо семейных обстоятельств, так как, по всем данным, увольнение Нарезного из университета, согласно поданному прошению, в октябре 1801 г., едва-ли соответствовало его собственным желаниям. Занятия его шли вполне успешно, судя по выданному ему аттестату; равным образом трудно предположить, чтобы причина заключалась с его стороны в недовольстве условиями университетской жизни, так как по свидетельству тогдашних студентов, окончивших курс несколькими годами раньше Нарезного, а именно И. Тимковского и П. Полуденского (11), условия эти были самые благоприятные.

Кураторами и директорами университета постоянно избирались лучшие и образованнейшие люди того времени, которые своим влиянием поддерживали гуманные отношения преподавателей к их слушателям, способствовали возникновению литературных студенческих обществ, а также журналов и изданий, где студенты могли помещать свои литературные труды. Начало таких периодических изданий относится к 1760-м годам; с этих пор они следовали почти непрерывно одни за другими и много способствовали умственному развитию студентов, которые при этом могли пользоваться библиотекою, обильно снабженною книгами на разных языках. Последняя помещалась в камерах разночинной гимназии; в нее поступало по экземпляру всех книг, какие печатала университетская типография; кроме того получались ведомости и журналы, выходившие при университете. Студенты сходились сюда для чтения и беседы о прочитанном.

Частная жизнь студентов не была стеснена никакими особенными, даже внешними формальностями. Несмотря на неоднократное пожалование форменного университетского мундира, еще в 1797 и 1800 гг., студенты в одежде не придерживались определенной формы; и даже не все имели свой университетский мундир: «каждый одет был как мог и как хотел, и поэтому многие, по свидетельству современников, являлись на улицах в довольно фантастических костюмах. Казеннокоштные студенты жили в университете или вне его на жалованьи, получаемом от казны в размере 100 р., на которые должны были содержать себя; недостаток денег на одежду, книги и проч. пополнялся посылками из дому и собственным трудом в виде уроков и, главное, переводов, о которых упомянуто выше. В то-же время университетские празднества, акты, публичные лекции, а также театральные представления, маскарады,



танцевальные и музыкальные вечера, которые устраивались в стенах университета, непосредственно сближая студентов с остальным образованным обществом; и служили для них отдыхом от умственных занятий.

Таковы были условия жизни московских студентов конца прошлого века, и едва-ли кто-нибудь из них мог вообще тяготиться ими, в тем более Нарезный, не избалованный с детства и не знавший другого, лучшего существования.

#### IV

К времени студенчества В. Нарезного относятся его первые литературные произведения, напечатанные в журналах: «Приятное и полезное препровождение времени» 1798 г. (изд. при университете под редакцией Сохацкого и Подшивалова), а затем в «Иппокрене или Утехах любословия», 1798 и 1800 гг., которая составляла продолжение первого издания, при тех же сотрудниках, но под редакцией одного Сохацкого <sup>1)</sup>).

<sup>1)</sup> При раздоре произведений В. Т. Нарезного мы ограничимся указанием журналов и годов напечатания, потому что подробный хронологический перечень сочинений романиста, как напечатанных в журналах, так и вышедших отдельными изданиями, помещен нами в приложении к настоящему очерку.

Сравнительно значительное количество старей В. Т. Нарезного, помещенных в обоих названных журналах, кажется нам вполне объяснимым, потому что и в этих первых своих сочинениях, в которых автор как-бы пробует свои силы, видны проблески несомненного таланта. Подобно многим начинающим и впоследствии известным писателям, он еще не может остановиться на одном определенном роде поэзии или прозы и упорно выбирает литературную форму, наименее сродную его таланту. Но такие неудачные попытки едва-ли можно назвать напрасною тратой сил, а скорее известною и необходимою стадиею развития таланта, где бессознательное недовольство написанным побуждает автора к дальнейшему усовершенствованию и постепенно выводит на настоящий путь. Не прошел бесследно для развития таланта Нарезного первый трех-летний период его юношеской литературной деятельности, хотя в это время он почти исключительно придерживается стихотворной и драматической формы или пишет фантастические рассказы, не имеющие ничего общего с тем верным, реальным изображением действительности, которое мы встречаем в его позднейших произведениях.

Первый литературный труд В. Т. Нарезного, напечатанный в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» 1798 года, состоит в прозаическом переводе с немецкого поэтического сказаний «Сотворение розы». К сожалению, по обычаю многих тогдашних переводчиков, имя иностранного автора не указано им; поэтому мы не можем судить о степени верности с подлинником, но вообще, несмотря на устарелые выражения, перевод читается легко и процесс передачи мыслей и фраз совершенно незаметен, что возможно только при основательном знании языка, на котором написан подлинник. Такое знание не составляло редкости при внимании, какое было обращено в тогдашнем воспитании на иностранные языки, и Нарезный имел полную возможность изучить немецкий язык, которым занимался в гимназии и в университете.

То-же можно сказать и о другом переводе В. Т. Нарезного, который сделан стихами с латинского, а именно «К Аристию», из од Горация (ода 22, кн. I). Что-же касается самостоятельных стихотворений Нарезного, помещенных в том-же издании, то в них преобладает торжественный тон «песнопевцев» того времени, которые, за немногими исключениями, приносили в жертву пафосу поэтические создаваемые ими образы и художественные картины.

В этом-же тоне написана вся поэма Нарезного «Брега Алты», которая начинается следующими вступительными стихами:

«Взошел пресветлый Царь небес  
И ризою своей багряной  
Покрыл поля и дальний лес  
И Алты брег злато-песчаный.  
Взошел и, робко путь свершая,  
Багряный пурпур разливая,

Открыл полки российских сил —  
Недавно здесь Владимир грозно  
Врагов кичливых полк разбил»...

Далее, автор от воспоминания подвигов Владимира святого переходит к описанию убийств Святополка, печально поразивших Россию, а также характера свирепого князя, и при этом все более и более впадает в рабское подражание Державину

... «Россия мраком облаченна,  
От взоров сея скорбь и страх,  
Печально грустью откровенна,  
С блестящею слезой в очах,  
На верх днепровских гор склонилась  
Со стоном, воплем так рекла:  
"Увы, венец мой меркнет светлый,  
"Падет мой твердый ныне трон!  
"Ужель, ужель мне пасть, Предвечный  
Теперь Ты положил закон?"  
Вещала — слез река текла  
Из глаз бессмертьем одаренных,  
И пала на волнах смущенных  
Владыки русских южных вод.  
Смутился Днепр, восстал, завыл,  
И вой его везде промчался...

.....  
Так Святополк, исполнен злобы,  
Как вихрь летает по полям;  
Пред ним находят Россы гробы,  
Воззрит — и молнии блещут там;  
Он ступи — поле, брег стенает,  
Мечом махнет — и всех сражает,  
Речет — грозный нром норемит,  
Подувигнется — вкруг кровь кипит...» и проч.

Вторая поэма Нарезного, а именно «Освобожденная Москва», напечатанная в том же 1798 г., написана под непосредственным впечатлением трагедии Хераскова «Освобожденная Москва», которая была поставлена на сцене 18-го января 1798 года. Вся разница в сюжете обоих произведений заключается в том, что трагедия Хераскова взята из смутного времени, а поэта Нарезного относится к нашествию Тамерлана при Василии I, о чем заявляет сам автор в примечании к своей поэме, с обычною добросовестностью писателей XVIII века (13): «Много раз, пишет он, бывала Москва под игом иноплеменных, много пострадала от Литвы и Польши, но правосудие Божие спасло державный град русского царства, — Спасло рукою Пожарского и других героев, которых священные тени недавно воззваны из жилищ райских гласом нашего песнопевца. Но здесь была Москва под властью злейшего врага, неукротимого вождя войск татарских, и благодать Божия спасла ее чудесным образом».

Поэма «Освобожденная Москва» во многом напоминает «Брега Алты», и так же богата гиперболами. Автор начинает с описания ночи и стана татар, которых он называет агарянами:

...Повсюду огонь, в кострах горящий,  
Среди расставленных шатров  
Ругался (?) тьме ночной. Последний  
Настал день рока, — Тамерлан,  
Российской кровью окропленный,  
Взошел в татарский черный стан,  
Вещал: «Агаряне внемлите,  
Настал геройский час, Москва

Не хочет быть вольна, спешите,  
Да в прах падет градов глава!  
Мы стены разорим, чертоги  
Наполним кровью; огонь и дым  
Пошлем, где обитают боги,  
И кто мы — всюду возвестим.  
Толпе волков, за мной идущей,  
Я трупы росски предаю;  
Российской кровью, здесь текущей,  
Я хищных вранов упою;  
И слава наша над звездами  
Заутра воспарит крылами...

Далее следует плач опечаленной Москвы, очень схожий с плачем России в предыдущей поэме, и таким образом, автор бессознательно копирует самого себя, что, как известно, случается иногда и с более опытными писателями. Поэтому мы приводим только, — как нечто своеобразное, — появление в облаках тени Даниила, сына Александра Невского, для утешения горестной Москвы, которая

... Зрит — меж холмов небесных дальних  
Сиянье некое скользит...  
На раменах порфира блещет,  
Венец монарший на главе;  
Лучи златые скипетр мещет,  
Хоругвь багряна в руке.  
Течет — и воздух рассекая  
Он стал пред горестной Москвой;  
Со благостью к ней взор склоняя,  
«Москва, утешься мной!  
Я внял твои мученья, стоны,  
И в лике праведных скорбел,  
Утешься! Се врагу препоны,  
Что смерти твоя хотел!...  
Хоругвь сия тебе врцучает  
Победу верну над врагом,  
Падет кичливый, восстенает,  
В руке его погаснет гром,  
Померкнет слава знаменита!  
Я Даниил — твоя защита!»...  
Вещал, на облаках багряных  
Возсев, направил быстр полет,  
Улыбка на устах румяных  
Одушевила русский свет...

«Обагрная» луна приводит в трепет сердца татар, которые, по выражению автора поэмы, «предчувствуют небес войну»; следует описание битвы и бегства самого Тамерлана за рассеянными татарскими полками. Поэма кончается обращением к Москве и восхвалением Всевышнего в духе од того времени.

Характер оды, преобладающий в обеих приведенных поэмах, проглядывает и в единственном лирическом стихотворении В. Нарезного, «К другу моему», что нарушает цельность общего впечатления, как видно из следующего:

Когда небесных вождь планет  
Лучом пурпурным кроет горы,  
Орел простер на твердь полет  
[И,] рассекая туч соборы,  
Парит, — стенает зыбь под ним,

Колелет твердь крылом своим.

\* \* \*

Малиновка на ветви нежной  
Хранит в груди своей покой,  
Своею песнею прелестной  
Лик солнцев славит золотой,  
Спокойно зрит орлин полет  
И утра красоту поет... и проч.

\* \* \*

Оставь полеты ты орлины  
И арфу перестрой свою,  
Воспой поля, луга, долины  
И арфу нежную твою  
Склони петь юности красоты,  
Любови цепи и цветы

Что касается четвертого и последнего стихотворения В. Нарезного «Песнь Владимиру киевских боянов», то оно настолько искусственно и лишено всякой поэзии, что мы считаем лишним приводить его хотя-бы в виде небольших выдержек и коснемся только выбора сюжета, который относится к древней русской истории. как и сюжет двух поэм Нарезного, о которых сказано выше. Интерес к отечественной истории мог быть тогда возбужден в Нарезном, помимо профессорских лекций, знакомством с некоторыми печатными источниками, которые должны были находиться в университетской библиотеке<sup>1)</sup>. Подтверждением этой догадки служит и первое самобытное произведение В. Т. Нарезного, написан

<sup>1)</sup> Так, напр., уже были изданы восемь томов русской летописи при Императорской Академии наук (1767-1792 гг.); шесть томов «Записок касательно Российской истории» (1787-1794), где материалом послужили отчасти выписки из летописей, сделанные московскими профессорами Чеботаревым и Барсовым, и наконец, «Свод бытий российских» проф. Барсова, напечатанный после его смерти Карамзиным в VII части «Московского Журнала» 1792 г., не говоря о хронографах, еще довольно распространенных в XVIII веке.

ное прозою, а именно, исторический рассказ «Рогвольд» (помещенный, как и его стихотворения, в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» 1798 г.), который, очевидно, взят из летописи, хотя видоизмененный и сильно украшенный фантазией 18-летнего автора.

Рассказ «Рогвольд», написанный частью в повествовательной, частью в разговорной форме, при всех своих недостатках представляет в частности такие несомненные признаки таланта, что мы решаемся привести его, хотя в значительно сокращенном виде:

«Ночь была светла. Майская луна величественно освещала лазоревое небо. Полоцк находился в глубоком покое; войско Владимирово в безмолвии возлежало на обширных полях его.

«Один князь Владимир, обладавший тогда пространным севером, исполнен мрачных мыслей, простер по полю косвенные стопы свои... Тогда представилась в мыслях его вся несправедливость его поступков, представилась горечь, стенание и самая смерть Рогвольдовой фамилии и падение целого царства Полоцкого. Мечталось ему, что тени пораженных готовы были излить на него всю свою ярость, что кровь их, превращаясь в пламенную реку, готова окружить Владимира. Таковые мечтания смущали душу северного героя... Синие ночные туманы сокрывали Полоцк от глаз его, и он неприметно очутился на берегу реки.

«Он простер вдаль свои взоры, и черная огромная гробница представилась глазам его... Но сколь велико было его удивление, когда при ней увидел он седого старца, бледного, как осенняя луна, тощего, как иссохший тростник...

«Владимир (в смятении останавливаясь): "Кто ты, ночное видение? Старец-ли подлинно или враждебный дух, ноющий при гробницах в час полуночи и в сем образе возмнивший устрашить меня?"...»

Старец оказывается полоцким князем Рогвольдом, которого считали погибшим на поле битвы; он рассказывает Владимиру историю постигших его бедствий: потерю княжения, гибель сыновей и наре-

ченного зятя, насильственный брак Рогнеды, и объясняет, что поселился у гробницы, воздвигнутой ему и его сыновьям, чтобы найти случай для мести. «Воин благородный, добавляет он, — доставь, если ты можешь, доставь случай побывать в стане моего убийцы и его видеть. Там я поражу его, вырву из груди неверной его сердце и кровию его окроплю гробницы сынов моих. Пусть умру я — я умру поражая; пусть окаменеет язык мой — окаменеет, произносятся проклятия...»

Владимир задает ему вопрос: узнает-ли он своего врага при встрече?

«Рогвольд. Я помню, как на поле роковом он убежал от копья моего, как убегает змея когтей орлиных. Помню, — и никогда не забуду! — смуглое, продолговатое лицо, черные и в час битвы сверкающие сластолюбием глаза его, орлиный нос, широкая израненная грудь, орлиная шея...»

Владимир скидает шлем, становится против луны и спрашивает, узнал-ли его Рогвольд, и почему не поражает Владимира, супруга Рогнеды и своего сына?

Тронутый Рогвольд молит богов, чтобы они разрешили его от клятвы и не требовали от него мщения; Владимир, с своей стороны, дает обещание возратить ему дочь и восстановить царство полоцкое.

В журнале «Иппокрена или Утехи Любословия» следующего 1799 г. помещено пять произведений В. Нарезного, и в числе их три басни, довольно своеобразные по мысли и самому изложению. Мы приводим для примера одну из них.

### Снежинка

Настал пасмурный октябрь, и снежные тучи вздумали оковать льдом маленькие лужи. Когда они занимались этим делом, то одна снежинка, покрупнее обыкновенной, сказала сама в себе: «Куда, право, как глупая, что вздумала заниматься такими пустяками! Я одна полечу на глубочайшее место Москвы реки и силою моего мороза покрою его льдами». Сказано и сделано. Она полетела, опустилась на волны — и вдруг с ужасом вскричала: «Ах, что со мною делается? Я теряюсь, части мои тают, ч умираю!» Через секунду она прибавила реке одну только каплю воды.

Снежинка в мыслящем мире, бойтесь участи безрассудной сестры вашей.

Что касается двух остальных статей В. Нарезного, помещенных в «Иппокрене» 1799 года, то они принадлежат к наименее удачным произведениям этого периода его литературной деятельности.

В рассказе «Мстящие евреи» автор задался мыслью изобразить фанатизм евреев и их слепую ненависть к христианам; и чтобы придать некоторое правдоподобие своему повествованию, делает оговорку в примечании, что слышал «этот анекдот» от какого-то старика и, вдобавок, очевидца. Но рассказ все-таки остается «невероятным», и невольно является вопрос: почему Нарезный, имевший возможность узнать с детства быт и характер евреев в Малороссии, вздумал представить их в таком мрачном свете и приписать им, по его собственному выражению, «жестокость и зверство нравов»? Но в этом он, по-видимому, платил дань тогдашней теории словесности, принятой а университетском преподавании, по которой только «возвышенное» и «необычайное» считалось достойным пера писателя.

Героем рассказа «Мстящие евреи» является старый Иосия, фанатически преданный вере отцов своих; он топчет ногами крест, надетый на него в насмешку бедным ремесленником, и за это избит народом, выходящим из церкви. Нанесенная ему обида глубоко запала ему в душу; он заставляет своего сына Иезекииля умертвить оскорбившего его ремесленника; молодой еврей исполняет волю отца и приносит окровавленный кинжал. Иосия не довольствуется этим и требует от сына, чтобы он убил дочь ремесленника, но юноша, тонутый красотой девушки, влюбляется в нее, а она убеждает его принять христианство. Но об этом узнает старый еврей Гамалеил, друг Иосии, и приводит последнего в церковь в момент крещения Иезекииля; отец убивает своего сына, Гамалеил — молодую девушку. Является народ, созданный убежавшим священником; евреи без сопротивления идут в тюрьму, а потом на казнь.

...«Христиане, говорит в заключение автор, видели кровь их, но не слышали ни единого вздоха; видели смерть их, и — ах! неинские пролили слезу соболезнования».

Другое еще более слабое произведение В. Т. Нарезного в драматической форме носит название «Римская ревность» и написано в псевдо-классическом духе; здесь в двух сценах, крайне натянутых и исполненных ходульного геройства, изображен подвиг Муция Сцеволы, совершенный им из соревнования к славе Горация Коклеса.

Затем в журнале «Иппокрена или Утехи Любословия» 1800 года (ч. VII, стр. 161-272) помещена трагедия В. Т. Нарезного под названием «Кровавая ночь или конечное падение дома Кадмова», сюжете-

том которой служит роковая судьба Эдипа и его детей. Пьеса эта написана пятистопным ямбом, во вкусе древних греческих трагедий, с хорами, но при этом разделена на четыре сцены. Из них первые три представляют отчасти самобытную обработку греческого предания, наряду с мотивами, заимствованными из Эсхиловой трагедии «Семеро перед Фивами» и двух трагедий Софокла «Царь Эдип» и «Эдип в Колоне», между тем как конец третьей и вся четвертая сцена могут быть названы подражанием известной трагедии Софокла «Антигона» (14). Таким образом сюжет «Кровавой ночи» Нарезного является более сложным, нежели которой-либо из названных трагедий, и в ней вообще больше пафоса и эффектов; тем не менее она носит в целом один и тот же характер и весь тон замечательно выдержан, что прямо говорит в пользу таланта юного автора, если он только не воспользовался какою-либо иностранною или даже греческою переделкой трагедий Эсхила и Софокла. Героический характер великодушной Антигоны, жертвующей жизнью, чтобы отдать последний долг умершему брату Полинику, настолько напоминает Антигону в трагедии Софокла, названной ее именем, что последняя несомненно служила образцом для Нарезного. То же можно сказать и относительно Креона, который за свое упорство также, как и у Софокла, платится потерю единственного сына и супруги. Но ничтожный Этеокл «Кровавой ночи» имеет мало общего с Этеоклом Эсхиловой трагедии «Семеро перед Фивами», который по своим душевным свойствам представляет один из наиболее видных и сильных характеров античной сцены. Между тем, с другой стороны, бледный образ Полиника, который проходит как-бы мимоходом в Софокловой трагедии «Эдип в Колоне», рельефно выступает в трагедии Нарезного, как-бы заново созданный им и написанный живыми красками его фантазии. Затем в «Кровавой ночи» в числе главных действующих лиц выведен старый раб Полив, который некогда спас Эдипа, брошенного в лесу после рождения, тогда как в трагедии Софокла «Царь Эдип» не раз упоминается коринфский царь Полив, приемный отец Эдипа.

## V

10 октября 1801 года В. Т. Нарезный, как сказано в его аттестате, «по прошению от университета уволен с обязанием дабы он в праздности не был, а явился к определению а службу, куда следует» (см. прил. V). Эта оговорка объясняется тем, что Нарезный уже с 3 октября значился на службе «у письменных дел» при будущем правителе Грузии Коваленском, который, по случаю своего назначения, вербовал для себя многочисленный штат чиновников. Весьма возможно, что сам Коваленский обратился в московский университет с приглашением желающих последовать за ним на Кавказ, тем более, что такие приглашения были тогда в обычае, и студенты вообще охотно принимались на службу в разные правительственные учреждения.

По всем данным Нарезный прибыл в Тифлис за несколько месяцев до открытия «верховного грузинского правительства». вместе с другими чиновниками, его будущими сослуживцами, которые были набраны случайно, «без всякого разбора», и на первых-же порах должны были произвести на него такое-же неблагоприятное впечатление, какое произвели многие из них на местных жителей своим неприличным поведением. Также нерадостны были для Нарезного слышанные им отзывы об его будущем начальнике Коваленском, который, еще недавно исполняя должность уполномоченного министра при дворе последнего грузинского царя Георгия XII, возбудил против себя общее недовольство в Тифлисе своею бестактностью, пренебрежением к местным обычаям, алчностью, властолюбием и пронырством, вследствие чего и был отставлен от места императором Павлом I в августе 1800 г.

Между тем, генерал Лазарев, председатель «временного правления» в Тифлисе, желая дать занятие вновь прибывшим чиновникам, решил впредь до объявления манифеста «о присоединении Грузии к России» открыть гражданские суды в Гори, Кизихе (Сигнахе) и Телаве. Неизвестно, был-ли тогда причислен Нарезный к канцелярии «временного правления» или к одному из упомянутых судов, но, во всяком случае, в течение нескольких месяцев до прибытия Коваленского в Тифлис он имел полную возможность ознакомиться с стоянием разоренной страны, крайним невежеством господствующего класса и общею безурядицею, оставлявшею широкое поле для всевозможных злоупотреблений. Если в это время Нарезный тяготился условиями своей новой жизни, всем виденным и слышанным, то с открытием «верховного грузинского правительства» и получением определенной должности в Тифлисе (занимаемой им в течение одного года с 18 мая 1802 по 14 мая 1803) для него наступила пора еще больших испытаний, которые он изобразил в романе «Черный год или горские князья».

Несмотря на грубую первобытную форму и все недостатки, это своеобразное произведение Нарезного представляет для нас интерес как наш *первый самобытный сатирически* роман в нынешнем значении слова. Хотя автор повидимому употребил все усилия, чтобы замаскировать сатиру, но тем не менее его роман, при верном изображении быта и нравов мелких горских князей, дает наглядное понятие о положении края, общем невежестве, издавна существовавших злоупотреблениях, бесправии и еще худших порядках, наступивших в первые месяцы русского владычества на Кавказе вследствие обратно выполненных гуманных предначертаний императора Александра I.

Но здесь мы необходимо должны сделать отступление, потому что смысл романа Нарезного «Черный год или горские князья» только тогда будет понятен для нас, если мы на основании официальных данных и трудов, написанных по достоверным источникам и подлинным документам (15), представим себе в общих чертах положение Грузии накануне присоединения к России и открытия «верховного грузинского правительства».

Удельно-феодалная Грузия, вследствие долго господства крепостного права и всякого бесправия дошла при своих последних царях до полного внутреннего разложения и анархии. Каждый из многочисленных царевичей распоряжался так же бесконтрольно в своем уделе, как князья и дворяне в своих владениях, и безнаказанно разорял крестьян для своей наживы. Поместья и земли переходили из рук в руки, потому что право поземельной собственности не существовало даже у высшего класса. Правосудие было словесное; все должности наследственные и без жалованья, поэтому каждый кормился от получаемых доходов, т. е. самовольно назначаемых поборов, и грабил, сколько мог. Власть царя была бессильна против злоупотреблений, хотя и считалась неограниченной, потому что его повеления в большинстве случаев плохо или вовсе не исполнялись. Малочисленное грузинское войско не могло служить поддержкою царской власти: пехота, набираемая из поселян, подобно войску князя Кайтука в сатирическом романе Нарезного, за немногими исключениями была вооружена палками и дубинами; только в коннице, куда поступали лица привилегированного сословия, встречались хорошие и храбрые наездники. Так же ненадежно было наемное войско, составленное из лезгин, которые своими бесчинствами еще более увеличивали общую безурядицу.

К довершению бедствий, Грузия подвергалась частым нападениям окружавших ее горских народов, которые производили опустошения своими набегами и ежегодно уводили значительное число пленных. Затем постоянно предстояла опасность нашествия со стороны сильных соседей, — Персии и Турции, против которых не могло бороться ослабевшее государство, сохранившее только тень прежнего величия.

Хотя в Грузии издавна существовал обычай, что престол переходит к старшему сыну, но так как относительно этого не было никакого законоположения, то каждая перемена правления служила поводом для всевозможных происков со стороны других царевичей, цариц и их приверженцев. То же повторилось в начале 1798 года, при вступлении на престол Георгия XII, правление которого началось при самых неблагоприятных условиях.

Страна еще не успела оправиться после последнего персидского вторжения 1795 года. Тифлис представлял груды развалин; только две улицы оставались свободны для проезда, и то по обеим сторонам были разрушенные дома; жители, бежавшие от неприятеля, рассеялись в разные стороны, так что, по выражению самого Георгия, «подданные и царь друг друга сыскать не могли». Участь тех, которые возвратились в свои разоренные селения, была незавиднее уведенных в плен: хотя они вновь занялись земледелием, но следы опустошения были всюду; ограбленные жилища, уничтоженные поля были причиною, что хлеба едва хватало для местного населения.

Обеднение было всеобщее и настолько же коснулось господствующего сословия, как и низших классов народа; Грузии, более чем когда-нибудь грозила опасность пасть жертвой внутренних и внешних врагов. Слабый и болезненный Георгий XII видел единственный выход в посторонней помощи. После многих колебаний он обратился в императору Павлу I с просьбою: а) о принятии Грузии под покровительство России; б) об утверждении грузинского престола за ним и за его сыном и наследником Давидом, и с) о присылке в Тифлис русских солдат с оружием и со всею принадлежностью.

Прошло несколько месяцев в напрасном ожидании каких-либо известий из Петербурга, и только 23 февраля 1799 г., в ответ на просьбы царя и его уполномоченных, повелено было приготовить егерский полк Лазарева к выступлению в Грузию; в то же время, для удобства сношений, статский советник Коваленский назначен был уполномоченным министром при дворе грузинского царя. При этом, помимо разных частных инструкций, Коваленскому было сделано внушение, что его «собственное поведение и

всей его миссии должно было клониться к приобретению доверенности и любви грузинского народа и к доказательству расположения к нему русского правительства». Но никакие инструкции и внушения не могли быть обязательными для человека, который, при врожденной бестактности, руководствовался только своими личными корыстными и властолюбивыми целями. Еще на пути из России в Грузию, весной 1799 г., как видно из актов, собранных покойным Ад. П. Берже и изданных кавказскою археологическою комиссиею (т. II), Коваленский, «переезжая горы Кавказские, встретившись с послами от грузинского царя, а Россию отправленными, не сохранил пристойности и повелительным образом им приказал возвратиться, а к царю Грузии написал, что если послов своих его величество у себя не удержит до его прибытия, то он сам вернется в Россию и войскам то же учинит повелеть. Царь оробел и огорчение в сердце его запечатлелось»... Не менее этого министр удивил всех своим поведением по прибытии в Тифлис: царь ежедневно посылал к нему наведываться о здоровья, изъявляя этим, что желает принять его; но Коваленский давал один ответ. что «здоров». Наконец рассудил он явиться к царя, но предварительно послал сказать. чтобы для него изготовлены были кресла, затем вошел в аудиенц-залу в шубе, теплых сапогах и в дорожной шапке. При этом, не довольствуясь тем, что «кресла, для него поставленные, стояли на приличном месте, придвинул он их пред самого царя и сел на оные так, чтобы касаться ногами своими ног царских. В разговоре с царем умеренность соблюдал весьма мало, напоминал ему часто о себе. что он лицо государя. По окончании аудиенции был он у царицы, супруги царской, в том же наряде... Стоя против ее величества и посматрив на часы, сказал, что по обыкновению российскому полдень называется *адмиральским часом* и что время пить водку; царица велела подать водки, и аудиенция этим кончилась...»

Так же бестактно было поведение Коваленского относительно Лазарева, начальника русского отряда в Тифлисе, который, по своему открытому и честному характеру, составлял полную противоположность с ним. Вместо того, чтобы оказать возможное содействие в продовольствии войск. которое было крайне затруднительно ввиду общего обеднения страны и крайне безурядицы, русский уполномоченный министр сразу встал во враждебные отношения с Лазаревым, наговаривая на него царю, хлопотал только об увеличении собственных доходов и расширении власти, заявляя претензии, что ему не отдают воинские почести и пр. Лазарев писал о происходившем в Моздок, инспектору кавказской дивизии генералу Кноррингу, и настаивал на необходимости его прибытия в Тифлис; но этот, подобно астраханскому хану Самсутдину в романе Нарезного, не двигался с места и. не разобрав дела, принял сторону Коваленского, несмотря на явные и несогласимые противоречия в его донесениях.

12 декабря 1799 г. совершилась церемония передачи присланных из Петербурга знаков царского достоинства Георгию XII, при многочисленном стечении народа. Коваленский, быть может, вследствие почета, которые в это время был оказан ему как русскому министру, ничем не нарушил происходившего торжества, но затем опять вернулся к прежнему способу действий.

При всяком удобном случае он оскорблял царя Георгия и его приближенных своим высокомерием, пренебрежением к местным обычаям, заводил ссоры со всеми, восстанавливал одних против других. В то же время Коваленский старался с помощью взяток склонить царицу и некоторых из наиболее влиятельных лиц убедить Георгия «ходатайствовать перед русским императором об оставлении его (Коваленского) министром в Тифлисе, с заявлением. что никого другого на этом месте царь не желает. К тому же склонял он и армян льстивыми обещаниями...» Таким образом, в короткое время Коваленский настолько раздражил грузинского царя своим поведением и заслужил общее нерасположение, что слухи об этом дошли до Петербурга, и 3 августа 1800 года последовал высочайший рескрипт «об отозвании статского советника Коваленского из Тифлиса, со всеми чиновниками, при нем находящимися».

Любопытно, что по этому поводу русский уполномоченный министр при грузинском дворе, подобно «мудрому» визирю Шамагулу, изображенному в романе Нарезного «Черный год или горские князья», имел смелость называть свой неприличный образ действий *политикою* и приписывать свои неудачи посторонним причинам <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Коваленский, получив известие о своей отставке, писал Лошкареву от 12 августа 1800 года, что «в Грузию необходимо послать войска для утверждения внешних сношений, которые учредятся деятельнее, когда будут войска, нежели *при одной политике*, там, где она без штыка не уважаема».



В это время в Петербурге уже находились послы, тайно отправленные царем Георгием, который, ввиду своей неизлечимой болезни, решил просить императора Павла I «о принятии Грузии в подданство России». Переговоры и на этот раз тянулись несколько месяцев; и только 22 декабря 1800 г. был подписан в Петербурге манифест о присоединении Грузии к России, а шестью днями позже скончался в Тифлисе царь Георгий, так и не дождавшись вести об исполнении своего заветного желания.

После его смерти тотчас же начались в Грузии смуты, возбуждаемые сыновьями и братьями Георгия XII, между тем как сын и наследник его, Давид, поспешил захватить престол в свои руки. Лазарев, не получая никаких инструкций, не мог воспрепятствовать этому, хотя царевич Давид, заняв престол, вел себя как молодой князь Кайтук, поставленный в те же условия в романе Нарезного «Черный год или горские князья». Он окружил себя людьми, «которые, по отзыву Лазарева (в письме от 2 марта 1801 г.), никакого внимания не заслуживали, и видя, что правление их не долго будет, старались всячески развращать его и набивать карманы, он же немного невоздержан в питье, то они и находят удобный случай его заводить».

При таком положении дел можно было ожидать новый и еще больших беспорядков, и Лазарев несколькими днями позже (от 12 марта) писал Кноррингу: «Весьма нужно, чтобы решительное воспоследовало положение, дабы уже все знали, чему держаться, а без сего все еще между страхом и надеждой. Кто поумнее, те понимают, но притворяются непонимающими; кто же простее, те совсем не понимают, сколько я им не толкую»...

Последовавшая в это время кончина императора Павла I и воцарение Александра I еще более замедлили решение вопроса об окончательном присоединении Грузии; только в мае сделано было распоряжение об удалении царевича Давида и назначении временного правительства под председательством Лазарева.

Наконец, 12 сентября 1801 года подписан был манифест, по которому уничтожалось грузинское царство и повелено учредить так называемое «Верховное грузинское правительство». Главнокомандующим в Грузии и на кавказской линии назначен уже известный в Тифлисе генерал-лейтенант Кнорринг, которому поручено было «устроить на прочном основании благоденствие Грузии и во всем сообразовываться с нравами, обычаями и умоначертаниями грузинского народа»; а гражданским правителем назначен действ. ст. сов. Коваленский, бывший министр при дворе последнего грузинского царя Георгия XII. Но тот и другой медлили своим приездом, так что многочисленный штат чиновников нового правителя Грузии, к которому принадлежал В. Нарезный, прибыл в Тифлис, как упомянуто выше, несколькими месяцами раньше его.

Таким образом, Нарезному пришлось увидеть Грузию в последние месяцы ее самобытного существования, с ее полуазиатскими порядками и беспорядком. Он познакомился с местными обычаями, узнал быт и нравы мелких владетельных князей, которые послужили основой его романа «Черный год или горские князья» и прикрытием сатиры, настолько же направленной против старых, как и новых, еще больших злоупотреблений, введенных с открытием «Верховного грузинского правительства». В это время в Тифлисе уже были известны в общих чертах условия, на каких Грузия присоединялась к России; и так как они не соответствовали общим ожиданиям, то возбудили много толков среди местного населения, которые несомненно были известны Нарезному и заставили его глубже вдуматься во все виденное и слышанное. Перед ним открылся широкий реальный мир с новым для него сложными задачами и заставил его отрешиться от отвлеченных фантастических образов и блуждания от одной формы к другой, которым отличаются его первые литературные опыты.

Наступил 1802 год. Все оставалось в том же неопределенном положении; и только 9 апреля, на Страстной неделе, Кнорринг в сопровождении Коваленского и многочисленной свиты торжественно вступил в Тифлис, а через три дня в церквах был прочитан манифест о присоединении Грузии к России. Но при этом всех поразило способ приведения покорного народа к присяге: Кнорринг велел окружить Сионский собор войсками, *аки штурмом*, по выражению одного из очевидцев, и арестовал некоторых князей, которые спешили выйти из церкви, чтобы избежать насильственной присяги (16).

Поведение главнокомандующего привело в уныние грузин, не ожидавших ничего подобного; и в народе начался ропот. Но решительные меры следовали одни за другими: у царицы Марии, вдовы Георгия XII, отобраны были царские регалии, присланные императором Павлом I; затем при раздаче орденов особам царского дома одному из царевичей следовало получить орден св. Анны, но грамота по ошибке

была написана на орден св. Александра Невского, и Кнорринг бесцеремонно вытребовал назад эту грамоту, чем глубоко оскорбил царевича, и проч.

Тем не менее в течение апреля и в первых числах мая вся Грузия присягнула русскому императору, а 7 мая комендант Тифлиса, с барабанным боем и музыкою, объявил на открытых местах и площадях города о предстоящем открытии «Верховного грузинского правительства», которое последовало на следующий день с особенною торжественностью. По окончании церемонии Кнорринг уехал в Георгиевск, а в Тифлисе остались Коваленский и Лазарев, которому теперь предстояла второстепенная роль, между тем как лица грузинского царского дома навсегда устранялись от правления.

Вновь учрежденной «Верховное грузинское правительство» было теперь главным судебным и законодательным местом в стране; оно состояло из советников экспедиций под председательством правителя Грузии, Коваленского. Вторую инстанцию составляли четыре экспедиции, действовавшие на основании общих губернских учреждений: а) дел исполнительных, б) казенных и экономических, с) уголовных и d) гражданских дел.

Одновременно с учреждением верховного грузинского правительства в Тифлисе остальная Грузия была разделена на пять уездов, из которых три в Карталинии: Горийский, Лорийский и Душетский, и два в Кахетии: Телавский и Сигнахский. В каждом уезде, помимо коменданта, казначея, полицеймейстера и проч., учреждены уездный суд и управа земской полиции с капитан-исправником во главе и двумя заседателями (с правом тогдашних уездных и нижних судов России). Все эти присутственные места были открыты в городах означенных уездов, исключая Лори, которое в те времена еще не было заселено, и поэтому решено назначенные туда присутственные места учредить в Тифлисе<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Сведение это получено нами из Тифлиса, где в городской публичной библиотеке, в числе других документов, находится письмо генерала Кнорринга к Коваленскому от 11 мая 1802 года за № 9 с предписанием об открытии уездных присутственных мест, в котором, между прочим, сказано: «Так как Лори место не заселенное и должно состоять под управлением мостов; и потому открыть присутственные места, назначенные в Лори, в Тифлисе».

Таким образом, Нарезный, получив место секретаря лоринской управы земской полиции, остался в Тифлисе и мог шаг за шагом следить за водворением новых порядков и деятельностью правителя Грузии.

На первых же порах сказалось неудобство применения в Грузии совершенно чуждых для нее русских учреждений. Все было в полном неведении относительно пределов власти и обязанностей земских чиновников, комендантов и других должностных лиц; а правитель Грузии своими инструкциями и объяснениями еще более увеличивал происходившие недоразумения. В то же время недостаток лиц, знающих одновременно русский и грузинский язык, не замедлил отразиться на ходе дел в присутственных местах: проситель и чиновник не понимали друг друга; официальные бумаги, пререведенные с одного языка на другой, состояли большей частью из бессмысленного набора слов, и грузины, выходя из суда, не знали подчас, в чью пользу решено то или другое дело.

С отъездом главнокомандующего Коваленский остался полновластным правителем Грузии и поспешил раздать все видные и выгодные должности своим родственникам или людям, которые могли быть послушными орудиями его целей. На том же основании происходило обязательное, в силу манифеста, назначение грузинских князей и дворян в состав управления. При этих условиях злоупотребления и беспорядки были неизбежны, и они начались со дня открытия «Верховного грузинского правительства».

Сам Коваленский почти никогда не бывал в присутствии; его примеру следовали и советники экспедиций; все дела поступали в домашнюю канцелярию правителя, что давало ему полную возможность эксплуатировать вновь присоединенную страну в свою пользу и по собственному усмотрению. Дом правителя был центром, откуда рассылались повеления по всей Грузии, распоряжения об арестах, конфискациях имущества, «обвещения» жителям Карталинии и Кахетии о сборе податей. Хотя по манифесту 12 сентября 1801 года «все вносимые подати, за покрытием издержек на содержание правления, следовало употреблять в пользу жителей, на восстановление разоренных городов и селений», но в действительности собираемые подати шли только на содержание правления или, точнее, самого правителя, его родственников и других сообщников.

Между тем остальные гражданские чиновники по несколько месяцев не получали жалованья, так что некоторые из них, не имея приличной одежды и обуви, перестали являться на службу. В том же по-

ложения были и канцелярские служители, хотя на их содержание назначена была особая сумма; между ними были, повидимому, и такие, которые значились только на бумаге, судя по тому, что в уголовной экспедиции, во все правление Коваленского, не было вахмистра и сторожа, вследствие чего не мелись и не топились комнаты.

Никто не заботился о приведении в известность доходов страны; в казенной экспедиции, со дня ее открытия, ни разу не производилась проверка денежных сумм. Казна хранилась без караула, на квартире Бегтабекова, богатого тифлисского купца, выбранного в казначеи самим Коваленским, что значительно упрощало для последнего пользование казенными деньгами. Не довольствуясь этим, правитель Грузии вошел в сделку с тем же Бегтабековым для искусственного понижения ценности червонцев, которыми производилось жалование войскам, затруднив обмен их на серебро, вследствие чего необходимые товары и жизненные припасы сразу поднялись в цене, что особенно тяжело отразилось на русских солдатах.

Коваленский в данном случае, подобно визирю Шамагулу в первой части сатирического романа На-режного, выказал себя не менее ловким *финансистом*, как некогда *политиком* при дворе грузинского царя Георгия XII. Другая крупная его спекуляция заключалась в том, что он вознамерился скупить по дешевой цене всю шерсть в Грузии, чтобы сбить ее с выгодой на суконную фабрику, которая в это время строилась в Тифлисе, и приобрел таким образом до 15,000 пудов и т. д.

Естественно, что произвол и злоупотребления, которые позволял себе Коваленский, служили примером и поводом для такого же произвола и злоупотреблений со стороны высших и низших чиновников. Они, в свою очередь, позволяли себе всякие, хотя и более мелкие, поборы и всевозможные притеснения жителям: при случае, увозили женщин и девушек из селений; по своим прихотям брали подводы и лошадей, не платя прогонов, и пр. Правила, изложенные в инструкции управе земской полиции, бо́льшую часть оставались без выполнения. Так, например, несмотря на постановление о производстве следствия на месте происшествия, бывали примеры, что жителей хватили по одному подозрению и отправляли в Тифлис с связанными руками и веревкой на шее. Между прочим, два брата из грузинский дворян подали жалобы, что секретарь Душетского нижнего суда обидел их «не токмо ругательствами, но и побоями».

Грузинам приходилось молча переносить все; жалобы их оставались без последствий, «ибо куда ни обращались они — везде находились или родственники Коваленского или его приверженцев, коими он наполнил Верховное правительство».

Хотя над Коваленским был учрежден высший контроль в лице начальника кавказской линии и главнокомандующего Кнорринга, но этот, проживая в Кизляре и Моздоке, относился безразлично к тому, что делалось в Тифлисе, и ограничиваясь письменными сношениями, не заботился о том, насколько выполнялись его резолюции. При этом последние не всегда были применимы на практике, как видно, между прочим, из следующего случая.

Лазарев, пользуясь приездом Кнорринга в Тифлис, обратился к нему с вопросом: «Как многие чиновники имеют места, единственно для собственного пропитания им служащие, и берут со вверенных им частей деньги и вещи без всякого человечества, отчего все жители Грузии весьма претерпевают, то, дабы жители, а равно и чиновники никаких нужд не претерпевали, то как поступить в сем случае?» Кнорринг дал такой ответ: «Чиновникам пользоваться содержанием по прежнему, но не допускать злоупотреблений»... (17)

Таким образом Кнорринг, по равнодушию или непониманию возложенной на него задачи, если не является прямым участником происходивших злоупотреблений, то, во всяком случае, он в значительной мере способствовал им вследствие своего бездействия и безграничного доверия к Коваленскому и его соумышленникам.

При этих условиях ни одно из повелений императора Александра I не было выполнено, и естественно, что грузины, не понимая настоящей причины своих новых бедствий, стали относиться с явным недоброжелательством к русскому правительству. В разных местах начались волнения, которыми царицы не замедлили воспользоваться в своих целях; в то же время соседние горские народы возобновили свои набеги на беззащитные селения. Особенно сильные беспорядки происходили в Кахетии и приняли характер открытого неповиновения властям.

Лазарев, узнав об этом, приехал к Коваленскому, чтобы посоветоваться с ним относительно мер по усмирению края, но Коваленский и в данном случае остался верен себе:

— «Опасаться нечего, возразил правитель Грузии; — если бы и в самом деле мятеж возник, то, по моему мнению, нельзя иметь удобнейшего случая к получению наград, за усмирение быть могущих. Потому желательно, чтобы что-нибудь случилось»... (18)

Между тем вести о происходившем в Грузии достигли Петербурга. Император Александр I признал необходимым немедленно отозвать от управления краем. сменить Коваленского и назначить главнокомандующим на Кавказе кн. Цицианова, человека с сильным характером и испытанной честности, с правом поступить с бывшим правителем Грузии по своему усмотрению. Но кн. Цицианов встретил неожиданное сопротивление со стороны Коваленского, который намеренно тянул дело, и все требования кн. Цицианова оставлял без ответа, «предоставляя ему самому разбираться в хаосе бездействия и злоупотреблений "Верховного грузинского правительства"» (19).

Нарежный не дождался конца этой борьбы и последовавшего затем суда над Коваленским и, получив увольнение от службы 14 мая 1803 года, выехал из Тифлиса. Так кончился тяжелый для него год службы на Кавказе.

## VI

Роман Нарежного «Черный год или горские князья» по общему характеру и сложной любовной завязке принадлежит к упомянутому нами (в первой части) разряду *романов с приключениями*, по множеству всяких невероятных походов, с вставными случайными нравоучениями и с болучною неправдоподобною развязкою. Но в то же время роман Нарежного резко отличается от этого рода русских романтических произведений XVIII века тенденциозностью, неизбежною в сатире, а так же верным изображением местности, нравов и обычаев описываемой страны. Хотя автор в этом отношении позволяет себе подчас разные фантазии в духе времени, но, во всяком случае, этнографический элемент романа тем более имеет значения, что все слова, названия и обычаи, непонятные для русской публики, объяснены в примечаниях. Мы коснемся преимущественно сатирической части «Черного года», которая тем более заслуживает внимания, что это была первая попытка самобытного сатирического романа в нашей литературе.

Главным действующим лицом в романе «Черный год или горские князья» является молодой осетинский князь Кайтук, от лица которого ведется весь рассказ. Автор изобразил в нем тип кавказского владетельного князя, простодушного и невежественного, но гордого своим высоким происхождением, «обширными владениями, имеющими около двадцати стадий в окружности, подданными, которых было не менее ста домов, имуществом, состоящим из горских лошадей, рогатого скота и двух верблюдов».

Верховный жрец местных богов, Маркуб, предсказал при рождении князя Кайтука, что двадцать пятый год его жизни будет для него *черным годом*, во время которого его постигнут разные бедствия. Действительно, на второй же день своего двадцатипятилетия князь Кайтук лишился отца и вступил на престол; но он не считал второе событие особенно бедственным для себя и поэтому отнесся презрительно к предостережениям верховного жреца, который, напомнив ему о «черном годе», предлагал средства искупления.

Так же высокомерно принял Кайтук посла великого тибетского Далай-ламы, уважаемого во всей Азии, который явился к нему с требованием ежегодной дани для своего владыки, обещая, что в этом случае бессмертный Далай-лама позволит ему «делать что угодно, не опасаясь мщениа ни от богов, ни от человекoв: смело отнимать у подданных дочерей, грабить светлейших князей, присвоивать себе их владения» и пр., и грозил, в случае непослушания, вечным проклятием. Но вместо установленного обычая почетного приема посла и подарков князь Кайтук, не помня себя от гнева, соскочил с высоких козел, покрытых пестрым ковром, которые служили ему престолом, и, «отвесив дюжину ударов на спину посла, велел страже проводить его плетью до границы осетинских владений». Верховный жрец, сурово смотревший на эту сцену, стал было доказывать незаконность такого поступка с послом «первого жреца в подсолнечной», но князь Кайтук приказал вытолкать его в шею...

Здесь автор, повидимому, рисует первые моменты водворения русского господства в Грузии, которые были ознаменованы, как мы видели выше, таким же полным пренебрежением ко всем местным обычаям и понятиям народа, в виде насильственной присяги, арестов и бесцеремонного обращения с лицами царского грузинского дома.

После упомянутых подвигов князь Кайтук, подобно правителю Грузии Коваленскому, тотчас же приступил к назначению сановников и к устройству «великокняжеского двора своего».

Он начался того, что, в подражание великолепному астраханскому хану Болван-дулу, «одного из вельмож двора своего нарек *визирем* или верховным министром, другого *сардаром* — военачальником, третьего *назиром* — казнохранителем. Первый отправлял дела внутренние и заграничные, второй предводительствовал войском, третий заведывал государственными доходами и расходами».

Каждое утро Кайтук посещал чертог совета, где его ожидали означенные советники с знатнейшими подданными. С его появлением начиналось приготовление шашлыка и вкушение просяной водки, что, очевидно, служит опять-таки пародиею на домашний способ ведения дел Коваленским, вероятно, никогда не изменял *адмиральскому часу*, судя по тому, что на первой же аудиенции у грузинской царицы в определенное время потребовал водки. Во всяком случае в романе Нарезного все заседания совета князя Кайтука начинаются завтраком и сопровождаются обильными **излияниями** водки, которая оказывает самое благотворное действие при решении дел.

Визирь Шамагул занимает первое место в совете и, в качестве ловкого *политика*, является наставником своего повелителя «в высоком искусстве управления мудро подвластными народами». Хотя автор нигде не придерживается фотографической точности и, рисуя общий характер тогдашнего управления Грузии, попеременно выводит на сцену князя Кайтука и визиря Шамагула, но в лице последнего преимущественно изображен сам Коваленский. Визирь Шамагул живо напоминает правителя Грузии своим пренебрежением к местным обычаям, нововведениями, имевшими целью умножение казны княжеской, и особенно изобретательностью в данном направлении, между тем как князь Кайтук только послушное орудие в руках визиря.

Во всех затруднениях молодой князь обращается к визирю Шамагулу, который, находя, что «в важных случаях медленность пагубна», неизменно произносит быстрое решение. Так, например, верховный жрец, вследствие нанесенной ему обиды, велел запереть храм, в котором должно было совершаться поклонение богам; знаком наложенного запрещения служила нагайка, положенная у порога. В первую минуту князь Кайтук, видя уныние собравшейся толпы, пришел в замешательство; но тут же, по совету визиря, приказал выломать двери храма, сам облачился в одежду верховного жреца и вместо него отправил служение в честь богов Макука и Кукама.

По окончании церемонии князь Кайтук, в оправдание принятой им меры, поручил своему визирю объявить народу в тоне упомянутых «обещаний» Коваленского, что «мера, им принимаемая, клонится ни к чему иному, как только к возвеличению во всей подсолнечной славного имени осетинцев, под правлением его благоденствующих; к вразумлению народов соседних, к уверению народов отдаленных, что с сим поступком нераздельно соединены честь, слава и счастье его народов», и пр. (ч. I, стр. 28-29, изд. 1829 г.).

В тот же вечер, во время пиршества, когда все гораздо были веселы, князь спросил своих собеседников: каким бы образом перед взором потомков увековечить память незабвенного дня сего? Все принялись усердно думать, но, по обыкновению, ответил один визирь Шамагул, и заявил, что так как нагайка, лежавшая у дверей храма, была главною причиною случившегося, то не угодно ли будет князю «учредить, по примеру некоторых владетелей, особенный орден и наименовать оный орденом нагайки... Сим, добавил он, — приобретешь ты почтение от потомства, яко первый изобретатель такого общепольного заведения и передашь в сохранение ему свое имя».

Это предложение привело в такой восторг князя Кайтука, что он, назвав визиря «величайшим из политиков во всех ущельях Кавказа», объявил, что *на целых три дня увольняет его от присутствия на советах*. Здесь, повидимому, заключается намек на Верховное грузинское правительство, где члены совета, следуя примеру Коваленского, под разными предлогами избавляли себя от необходимости присутствовать в заседаниях.

Затем автор изображается в карикатурном виде княжеский суд над молодым горцем Науром, где половина пени вносится в казну князя. «в вознаграждение той скуки, какую ему довелось терпеть при разборе дела». Тем не менее князь Кайтук убежден, что все идет прекрасно, и заявляет, что «весь народ доволен его судами, а вельможи не могут нахвалиться его угощениями».

Но вскоре его душевный покой нарушен: он влюбляется в прекрасную Сафиру, дочь соседнего князя Мирзабека, и узнает, к своему величайшему огорчению, что она помолвлена за молодого князя Курбаша; но визирь Шамагул, считая, что «для настоящего политика нет ничего невозможного», советует своему

повелителю захватить обманом нареченного жениха Сафиры и засадить в землянку. План этот выполнен настолько успешно, что таинственное исчезновение князя Кубаша не возбудило ничьих подозрений <sup>1)</sup>).

<sup>1)</sup> Случай этот, вероятно, приведен Нарезным ввиду бесцеремонных поступков некоторых из русских чиновников, которые открыто увозили из селений женщин и девушек, как о том свидетельствуют акты кавказской археологической комиссии (т. II). При этих случаях могли быть примеры насильственного удаления беспокойного соперника, о которых мог слышать Нарезный.

Князь Кайтук хотел воспользоваться удалением соперника, чтобы возобновить сватовство; но визирь убедил его повременить с этим делом, пока не поспеют орденские нагайки. говоря, что он тогда сам отправится к князю вручить ему знаки ордена и поднимет вопрос о браке.

Наконец, из Моздока (местопребывания главнокомандующего Кнорринга) явился посланный «с прекраснейшими в свете нагайками». По этому случаю собрался Верховный совет и были прочтены статьи вновь учреждаемого ордена, сочиненные визирем. Князю Кайтуку особенно понравилась 11-я статья устава, по которой всякий кавалер, получивший знаки ордена, должен был внести в княжескую казну десять юзлуков <sup>2)</sup>, и тут же велел прибавить 12-ю статью, что «князь властен жаловать одного и того же человека кавалером столько раз, сколько государственная польза того требует»...

<sup>2)</sup> Юзлук, по объяснению автора, «персидская монета, равная нашему рублю медью».

На следующее утро «звуки труб и бубнов» возвестили начало великого торжества открытия ордена нагайки, которое должно было произойти на косогоре перед дворцом в присутствии всего народа. Торжество это в романе, по общему характеру, служит, повидимому, пародией на церемонию открытия верховного грузинского правительства, насколько можно судить по современным описаниям.

По прибытии князя и его советников визирь прочел во всеуслышание устав ордена, с прибавлением 13-й статьи, придуманной им ночью «во время бессонницы», где изложены были преисущества кавалеров пред не-кавалерами, которые несомненно представляют пародию на незаконные привилегии, которыми пользовались родственники и приверженцы Коваленского, к ущербу остальных жителей. При этом в романе «не-кавалерам вменялось в обязанность переносить безропотно всякие несправедливости и притеснения от кавалеров ордена, под страхом пени; но по уплате «двойного против устава количества юзлуков, они могли исходатайствовать и себе от князя орден, и тогда свободно пользоваться общими правами»...

Князь приступил к собственноручной раздаче орденских нагаек. Один визирь с веселым лицом выгнул спину и, приняв дюжину ударов, которые по уставу были обязательны для каждого члена ордена, внес положенные деньги. Остальные молча последовали его примеру, хотя и с видимым неудовольствием. Но страженачальник Башир оказал видимое сопротивление, говоря, что не имеет охоты «платить десять юзлуков за безделицу, которая с доставкой обошлась не более одного». Князь Кайтук, разгневанный подобной дерзостью со стороны подданного, объявил, что если страженачальник «не хочет добровольно иметь честь быть кавалером и дать в казну десять юзлуков, то он считает обязанностью насильно почтить его сим отличием», — и тут же отдал приказ пригнать из его сараев пять самых жирных баранов. Затем началось пиршество, которое продолжалось до глубокой ночи.

Прошло довольно много времени после этого события, «неслыханного на горах кавказских», и князь Кайтук отправил послов с орденскими нагайками к двум соседним князьям Мизарбеку (отцу Сафиры) и Кунаку (отцу пропавшего Кубаша). Но вместо благодарности за оказанную им честь «непросвещенные» князья, приняв за личное оскорбление посылку орденской нагайки, не только употребили ее как орудие для наказания, но еще приказали выпроводить обоих послов за границу своих владений.

Князь Кайтук пришел в бешенство от такого неожиданного исхода своего посольства и поклялся, что «это не пройдет даром бездельникам и что он подумает на досуге о способе отомщения». Но так как он сам не мог придумать ничего путного, то на следующее утро, явившись в совет, предложил своим вельможам решение вопроса. Мнения их разделились: один визирь Шамагул доказывал необходимость кровопролитной войны, рассчитывая, что его дело визирское и он должен воевать политически, т. е. языком; остальные советники были против войны, «смекнув, вероятно, что приятнее есть шашлык и запивать водкою, чем напрасно проливать кровь свою и чужую». На их стороне был храбрый военачальник Бахтимир, который, при своем мирном характере, ненавидел войну и заявил, что, по его мнению,

нужно последовать примеру просвещенных народов. у которых «если выйдет распря, то прежде объявления войны половина, почитающая себя обиженной, сносится с другою и требует возможного удовлетворения»...

Предложение это с радостью было принято князем; но оказалось бесполезным, потому что вслед за тем пришло известие, что князь Кунак «начал иметь подозрения на князя Кайтука в погублении сына его Кубаша», а потому приготовился отомстить за сию обиду и «уже собрал до пятидесяти человек вооруженных ратников».

Советники оторопели при такой неожиданной новости и смиренно ожидали решения князя, который «по довольном размышлении надувал для важности щеки и, представляя себя охриплым, сказал: для меня столь же опасен Кунак, "как моя цепня собака... Но вот обстоятельство, заставляющее меня позадуматься: воин объявил, что у Кунака все ратники вооружены исправно, а наши почти все, кроме орденских нагаек, ничего не имеют... А где возьмем оружие? У меня в казне крайнее оскудение, ибо я поновил храм богов, княжеский дворец и жреческое облачение. Посудите, чего все это стоило, не говоря уже о вседневном домашнем расходе"»...

Положение было довольно затруднительное, но обычная изобретательность не изменила визирю и в данном случае. Он поспешил успокоить князя обещанием «умножить казну его седмерицею» и, оставшись наедине с ним, изложил свой план... «Изволь выслушать, сказал визирь, — с каждого кавалера получаешь ты по уставу десять юзлуков, а у тебя остается еще в запасе тридцать нагаек. Завтра же произведем столько же новых рыцарей, а старых лишим ордена, дабы через два часа опять раздавать оные и получать подать... Так судил визирь Шамагул, так должна была судить здравая политика и так она всегда судила» (ч. I, стр. 118).

На следующий день мудрый визирь приступил к осуществлению своего плана. При этом некоторых насильно посвящали в рыцари, и за неплатеж брали козлов и баранов; а страженачальник за свое упорство, сверх того, получил дюжин пять ударов в спину. «В народе родился ропот; но князь Кайтук мало о том заботился, особливо видя, что княжеская его казна гораздо растолстела».

Затем следовали неудачи: князь Кунак согласился дать перемирие только на три дня; а воины, посланные для закупки кражи оружия, вернулись с пустыми руками.

Князь Кайтук был сильно опечален этим, но, по совету визиря, велел немедленно собраться всем, которые способны носить оружие, объявить им о предстоящей войне и, отдав приказ взамен оружия вооружиться дубинами, обещал после победы дать им дозволение «три часа грабить княжество Кунака, делать кому заблагорассудится насилия. а старых и молодых брать в плен». Надежда на поживу так воодушевила воинов, что они бросились домой за топорами и минут через десять явились из соседней буковой рощи «с страшными дубинами, храбро ими помахивали и приятный свист в воздухе раздавался. Князь Кайтук улыбался, взирая на их мужество <sup>1)</sup>).

<sup>1)</sup> Здесь автор, очевидно, изображает бывшее грузинское войско, составленное из поселян, о котором ген. Лазарев дает следующий отзыв в своем письме к Кноррингу от 4 августа 1800 года: «На грузин надеяться нечего. у них на 10 человек два ружья, а прочие вооружены кизилловыми обожженными палками, да и к тому же присовокупить должно. что здесь внутренний беспорядок»... «Ист. войны и вл. рус.» Н. Ф. Дубровина, III, стр. 306.

Далее следует в романе описание приготовления к битве и полного поражения осетинского войска. которое рассеялось в разные стороны; храбрый военачальник Бахтимир и мудрый визирь Шамагул едва ли не первые обратились в бегство. Князь Кайтук «тщетной пытался воротить их воплем стоим и остался один с своим отчаянием». Ему ничего не оставалось, как последовать примеру своих «ретивых воителей»: он бросился бежать без оглядки и наконец, упав на землю от изнеможения, пробыл в этом положении всю ночь и часть утра...

Этим, собственно, кончается первая, наиболее рельефная и законченная часть романа «Черный год или горские князья», где аналогия между правлением князя Кайтука и таким же кратковременным правлением Коваленского кажется нам достаточно очевидною.

## VII

Остальные три части романа «Черный год или горские князья» имеют более общий характер и посвящены описанию дальнейших походов князя Кайтука и его бывших советников Шамагула и Бек-

темира в несуществующем астраханском ханстве, где весь внутренний строй и правление представляют порядки то же Грузии и соседних с нею государств. Но и здесь, несмотря на грубую, подчас утрированную карикатуру и разные приключения, утомительные для нынешнего читателя, отвыкшего от этого рода романических произведений, встречаются прекрасные описания, метко очерченные характеры, где выступает сатирический талант автора и своеобразный, свойственный ему юмор.

Князь Кайтук, как герой романа, является везде действующим лицом; но ему теперь отведена второстепенная роль, и на сцену выступает «велепепный» астраханский хан Самсутдин, который, по своей неподвижности, бездействию и равнодушию к делам управления государства, в общих чертах настолько напоминает главнокомандующего Кнорринга, что едва ли можно сомневаться в их тождестве. Отношения хана к окружающим его вельможам те же, что и главнокомандующего к Коваленскому и другим членам «Верховного грузинского правительства»; он так же всецело предоставляет своим приближенным эксплуатировать разоренную страну для их своекорыстных целей и, подобно Кноррингу, пассивно изъясляет свое согласие, в большинстве случаев не вникнув в сущность дела и не замечая противоречий в заявленных мнениях. Хан Самсутдин облечен такою же неограниченною властью, как и Кнорринг, но по своему апатичному характеру, равным образом, не пользуется ею и только представляет собою послушное орудие в руках любимцев, которым оказывает безусловное доверие.

Тем не менее, наивный осетинский князь Кайтук, после бегства из собственного княжества и разных походов в Кабарде, предпринимает далекое путешествие в Астрахань, в надежде, что «кроткий и могущественный» хан Самсутдин даст ему денег и войска, чтобы завоевать обратно утраченные им владения. Но эта надежда, как видно из дальнейшего хода романа, оказывается такою же обманчивою, как надежды грузинских царевичей и других лиц, притесняемых Коваленским, которые не раз обращались к заступничеству Кнорринга.

Князь Кайтук во время пути останавливается для отдыха в Моздоке, областном городе астраханского ханства, и впервые получает понятие о ханских наместниках, величаемых «мурзами». Татарин, к которому он обращается за объяснениями, дает такой ответ: «Мурза есть начальник какого-нибудь улуса, и за верную службу астраханскому хану получает в непосредственное управление какой-нибудь город с принадлежащею ему округою. Доходы, правда, должны принадлежать хану, но мурзы обыкновенно так благоразумны, что умеют с ним делиться, и уверив его в беспримерном своем бескорыстии, получают в награду время от времени дорогие сабли, вооружения, золотые и серебряные цепи. Власть каждого такого мурзы почти неограниченна, а особливо моздокского, ибо он отдаленнее кизлярского и наурского от Астрахани...» (ч. II, стр. 12-13).

Далее автор приводит наглядный пример злоупотреблений в судах, которые он мог достаточно видеть в Грузии. Князь Кайтук и в этом случае является действующим лицом: он узнает случайно, что его бывшие советники, Шамагул и Бектемир, заключены в моздокской городской тюрьме вследствие жалобы, поданной на них евреем Елиасом, и что местный мурза Габидул уже приговорил их к телесному наказанию. Князь Кайтук спешит на выручку своих друзей, врывается без доклада в жилище мурзы и, не обращая внимания на его гнев, начинает излагать свою просьбу:

«Великодушный судья! сказал он, — по высокому повелению твоему содержатся здесь в тюрьме два осетинца, крайние мои приятели... Известно мне, что твое великолепие осудил их кое за что, — ибо настоящая вина мне неизвестна, — на палочные удары по подошвам, и усугубило число ударов за двадцать юзлуков жидовских! Внемли, судья беспристрастный, даруй свободу друзьям моим — и я предлагаю тебе столько же. Но чтобы и жид Елиас помнил сие происшествие, то я удвою число юзлуков, прося тебя повелеть отсчитать по пятам его добрую сотню ударов».

После этой «разительной» речи князь Кайтук вынул сорок юзлуков и со смирением смотрел в землю. Мурза, принявший в начале слов просителя грозный вид, при конце их ослабился и, подобно матери, с нежностью смотрящей на провинившееся дитя свое, взглянул на отверстую руку и, обратясь к стоявшему возле него мулле, спросил:

«Как ты думаешь, угодник пророка?»

— «Надобно признаться, ответил сей с таинственной важностью, — что чужеземец говорит неглупо... Но из сорока сих юзлуков половину ты возьмешь себе, а другую отдашь на заштопание дырявого занавеса в нашей мечети».



«Так, сказал мурза, протянув руку к просителю, в которую этот с почтительным поклоном положил юзлуки свои, — так! завеса требует починки, но думаю, что для заштопанья дыры, какова бы ни была она, довольно в наше дешевое время и пять юзлуков».

При этих словах он отсчитал мулле означенную сумму и, подавая своему писцу еще два юзлука, сказал:

— «Сейчас приготовь повеления: одно об освобождении двух осетинцев, другое о предании истязанию жида Елиаса; он и подлинно великий богохульник!»

Скоро повеления были готовы; мурза приложил к ним перстнем своим печать и, подав одно просителю, сказал:

«Покажи эту бумагу тюремному приставу, и друзья твои на воле. Алла да управит стопы твои...» (ч. II, стр. 25-29).

Далее в романе описана сходная с этою сцена вымогательства со стороны тюремного пристава, который только после получения достаточного количества юзлуков соглашается выполнить поручение мурзы и освободить заключенных горцев. Князь Кайтук, во избежание новых приключений, спешит вывести своих друзей за стены города; и они втроем пускаются в путь, в надежде, что с прибытием в Астрахань «наступит конец их бедствиям».

В Кизляре предприимчивый Шамагул едва не подвергся ослеплению; но при своей обычной находчивости вывернулся из беды, объявив окружающим его магометанам о готовности перейти в их веру. Это заявление с радостью принято благочестивым кизлярским мурзою, который отдает приказ отвести приличное помещение будущему мусульманину и его спутникам и доставлять бесплатно из лавок все, что они потребуют. Но с прибытием имама, который должен был наставить язычника в правилах новой веры, все изменилось. Шамагул оставил своих друзей и, «набравшись с избытком просвещения», провозглашен муфтием в главной мечети, а затем отправился ко двору астраханского хана в сопровождении мурзы и многолюдной свиты.

Князь Кайтук глубоко возмущен изменою своего бывшего визиря, но, уступая убеждениям Бектемира, соглашается продолжать путь.

В недалеком расстоянии от Астрахани они встречают Сафиру, которую вели, в качестве невольницы, в столицу ханства, где она должна была украсить гарем «велелепного» хана Самсутдина. Князь Кайтук, как герой романа, храбро выступает на защиту своей возлюбленной несмотря на численное превосходство неприятеля, отсекает ухо у ханского посланника Гассана, но тут же падает раненый и лишается чувств. Наконец, он приходит в себя и видит при свете тусклой лампы, что его заключили в узкую темницу с низкими каменными сводами.

Недели две спустя, когда раны его настолько зажили, что он мог держаться на ногах, к нему в темницу вошли шесть воинов с длинными бердышами, и предводитель их объявил, что поведет преступника в палату совета, так как дело его показалось настолько «замысловатым», что будет разбираться в присутствии хана и его советников.

Затем в романе следует подробное описание верховного астраханского судилища, где князь Кайтук в числе судей увидел своего бывшего визиря Шамагула, облеченного в священное звание великого муфтия, который на совете ханском является таким же мудрым *политиком*, как в былые времена, и находит еще более широкое применение своих природных дарований. Что касается хана Самсутдина, то он остается верен тому характеру, какой повидимому хотел придать ему автор: хан, присутствуя в совете, выказывает полное безучастие к тому, что происходит вокруг него, торопится окончить заседание и велит исполнить приговор, который еще не был произнесен ввиду разногласия в заявленных мнениях. С таким же безучастием, как мы указывали выше, относился Кнорринг к делам управляемой им Грузии, так что, по всем данным, в большинстве случаев он вел себя так же пассивно, как и хан Самсутдин, потому что при других условиях трудно допустить, чтобы Коваленский мог в такой степени пользоваться его именем для разных злоупотреблений.

Но автор, быть может, с целью большего прикрытия сатиры, изобразил хана Самсутдина в виде неограниченного азиатского властелина, изнеженного, неподвижного и неумеренного в чувственных наслаждениях. В этом отношении для хана не существует никаких преград; он позволяет себя всякие сумасбродства, «кои, по замечанию автора, питаются души праздные, изможденные, не находящие себе пиши и, так сказать, умирающие с голоду, быв закупорены в жирных тулуках телесных...» Наружность хана Самсутдина соответствовала его внутренним качествам: князь Кайтук, войдя в палату совета,

увидел против дверей на диване «огромное, толстое, темнолицее чудовище с мутными, опухшими глазами». Это был велелепный астраханский хан. Он курил кальян, холодными глазами смотрел во все стороны и, казалось, ничего не видел.

Когда ввели преступника, хан открыл заседание речью, в которой объяснил, что «обязался великому пророку священной клятвой не принимать каждый день пищи и питья, пока не окажет кому-либо из своих подданных правосудия»; а так как он уже чувствует порядочный позыв на еду и желает с чистою совестью приступить к трапезе, то предлагает изложить дело «вкратце».

Дело об отсечении Гассанова ужа было тотчас же доложено, и хан, закатив под веки глаза свои, со вздохом произнес:

— «Разберите дело допряма, объявите мне назначение ваше, и я, вдохновенный пророком, произнесу приговор правосудия, столько мне любезного!»

Но в совете произошло разногласие: сардар Ишмурат заявил, что «тут много думать нечего!», что следует «задорного язычника наверху главной мечети повесить вверх ногами и колотить по подошва до тех пор, пока он не околеет!» Визирь Батырша возстал против этого решения и сказал, что по его мнению следовало бы «нечестивца сего на большом астраханском майдане (площади) посадить живого на кол или, закупоря в мешок, пустить в море»...

«Хан в свою очередь также задумался, устремя к потолку мутные очи свои; потом, обратясь величественно к собранию, протяжно прошипел: *сие исполнить!*»

Тут поднялся он с дивана и, опираясь на визиря и сардара, вышел из палаты совета.

Послу удаления хана старый назир Туймак, пасмурно взглянув на собрание, поднял вопрос, каким обоюзом исполнить в точности повеление ханское и в чем заключается сие?

— «Повесить узника на мечети и забить до смерти палками; далее посадить живого на кол, наконец, также живого закупорить в мешок и кинуть в море!.. Вопрошаю весь высокопросвещенный совет, добавил он, — как все это произвести в действие с одним человеком?..»

Совет долго хранил глубокое молчание, вследствие чего Гассан, из ненависти к врагу своему, решил заявить собранию о придуманном им решении. по которому к преступнику можно было бы примени все три: бить палками до полусмерти, *легонько* посадить на кол, а затем уж бросить в море, и что для этого нужно только найти искусных исполнителей»...

«Высокопочтенные мужи в знак согласия мотали головами», и один из них произнес, что «в таком затруднительном деле поступить догадливее едва ли можно, и остается мнение Гассана привести в исполнение». Но тут вмешался великий муфтий Шамагул и посоветовал повременить с исполнением казни, говоря, что «легко станется и теперь, как случалось прежде, что хан и вельможи к завтрашнему дню совсем забудут о сегодняшнем решении и дадут новое, исполнение коего будет столько затруднительно» (ч. III, стр. 88-102).

Все собрание опять-таки подтвердило решение мудрого Шамагула, после чего князя Кайтука повели обратно в темницу. Здесь ежедневно навещал его великий муфтий Шамагул, который, не забывая собственных выгод, пускает в ход всю изворотливость своего ума, чтобы возвратить свободу своему бывшему повелителю и успокоить его относительно участи Сафиры.

Случай к этому скоро представился: хан Самсутдин во время вечернего пиршества, оставшись наедине со своими приближенными, обратился к **о** их помощи и совету по поводу прекрасной горской невольницы, с которою «он виделся каждый свободный час и не мог склонить на соответствие страстной любви своей».

Визирь и сардар советовали употребить насилие, но муфтий Шамагул был того мнения, что можно достигнуть цели иным способом. Он заявил, что если ему и его товарищам, визирю и сардиру, дозволено будет во всякое время видеть прекрасную язычницу и беседовать с нею, то в три месяца они сумеют обратить ее в правоверие и расположить ее сердце в пользу хана.

Мутные очи ханские прояснилось, и на поблекших ланитах его показались багровые пятна...

— «Теперь ясно вижу, сказал он, что *политика* есть полезная наука, и знание оной считаю необходимым для всякого властелина и великих двора его... Если я к объявленному муфтием времени достигну желаемого, то обильные щедроты мои разольются перед вами! Сквозь пальцы буду смотреть, если дом муфтия походить будет на европейскую гостиницу; если воины мои, за неимением врагов отечества, будут грабить своих соотичей и часть добычи поднесут сардару, если ограбленные предстанут к визирю с просьбою о правосудии и поступят ему последками имущества, оставшегося им после наше-

ствия моих воинов. Клянусь устоять в ханском слове моем, ибо — вы более других о сем сведомы — люблю порядок и правосудие...» (ч. III, стр. 146).

«Живем мы весьма дружески, объяснил Шамагул, — и один другому прямо ни в чем не мешаем. Я господствую в мечети и за каждый выход получаю добрые гостинцы, в коих муллы и имамы имеют весьма мало участия, и если я подоле пробуду у них муфтием, то они и подлинно от сухоядения просвятятся и сподобятся видеть пророка лицом к лицу. Сардур спокойно пригребают к себе жалование военно-служащих, платя им вместо юзлуков апросами, а если кто возропшет, тот, вправленный в фалаку, возопиет голосистее, чем вопияли подданные твои при пожаловании их кавалерами ордена нагайки. Визирь, уподобляя себя пастырю овец, властною рукою обстригает весь народ, а супорствующих сдирает и кожи. Покушались было некоторые, не знавшие нисколько политики, предстать к хану с жалобами на горькую участь свою, но таковая дерзость обыкновенно бывала в пример другим строго наказываема; и сии безумцы объявляемы были в народе возмутителями...» (ч. III, стр. 158-159).

Между тем произошло неожиданное событие, которое нарушило общее спокойствие: Юмангула, законная жена Самсутдина, подстрекаемая второю женою ханскою, тайно выехала из дворца и оставила супругу бранное письмо, в котором извещала его, что отправляется к своему отцу, казанскому хану, и что этот не замедлит потребовать у Самсутдина отчета в его поведении <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> В последние годы существования Грузии и при водворении русского владычества матери и жены царевичей также являются главными зачинщицами происходивших смут и междоусобных войн.

При прочтении письма Юмангулы в полном собрании совета хан обратился к своим вельможам с вопросом. что предпринять «в сем бедственном положении?»

В совете произошло разногласие. потому что каждый хотел соблюсти свои личные выгоды. Визирь Батырша был того мнения, что хан, согласно законам страны, должен раздать своих невольниц избранным друзьям. снабдив каждую приданым, и что тогда он может по-прежнему «владычествовать над подданными в мире и благоденствии». Сардар Иммурат ответил, что только «для виду» можно отправить посла к казанскому хану с требованием немедленного возвращения дочери; а затем стал доказывать необходимость кровопролитной войны, так как, подобно Коваленскому, рассчитывал, что поход даст ему возможность выказать свои воинские дарования и получить награду.

Когда дошла очередь до муфтия Шамагула, то он заявил, что находит оба мнения одинаково согласными «с пользою правителя и подданных», а что касается посла, то он советует отправить в Казань храброго горца, заключенного в тюрьме, как человека совершенно к тому пригодного.

Слова муфтия были признаны «самыми разумными», и хан тотчас же отдал соответствующее распоряжение.

Князь Кайтук пришел в ужас, когда узнал о предстоящем ему поручении, зная, что в подобном случае посол подвергается неминуемой опасности. Но муфтий успокоил его, говоря, что главная цель будет достигнута и его выпустят из тюрьмы. а что никто не мешает ему доехать до границы. пробыть там сколько вздумается и вернуться с объявлением войны... «Вельможи хотят войны, добавил в назидание муфтий, — и пусть будет по ихнему».

Князь Кайтук в точности исполнил совет своего мудрого друга, и война была немедленно объявлена.

Далее, в той же четвертой части романа, следует подробное описание беспорядочной орды, представлявшей собою астраханское войско, и самого похода, который сопровождается насилием и служит верным изображением тогдашнего способа войны у кавказских народов. Хан Самсутдин неохотно выступил в поход и даже заявил о своем желании вернуться Астрахань, но должен был уступить настойчивым требованиям своих приближенных, которые считали его присутствие в войске необходимым.

Князь Кайтук, предводительствуя толпою оборванцев, надеялся совершить чудеса храбрости, но при встрече с неприятелем. как только посыпались казанские стрелы и покрыли небо, воины его «бросились направо и налево, подобно огромной куче ниспавших древесных листьев, поднятых вихрем, или стаей испуганных ворон, и скрылись за холмами...» (ч. III, стр. 99). Князь Кайтук, оставшись один, повернул коня и пустился во всю прыть, чтобы присоединиться к остальному астраханскому войску, стоявшему пока в бездействии.

Здесь его приняли с почетом и поздравляли «с непомерною храбростью, оказанною им в виду обоих воинств»; но в то время, как он «с улыбкою раскланивался на обе стороны», к нему подъехал муфтий

Шамагул и велел следовать за собой. Когда они достигли ближайшего леса, где никто не мог подслушать их разговора, муфтий вручил ему свой перстень с поручением спешить в Астрахань, забрать сокровища и отвезти их в Моздок. Князь Кайтук немедленно пустился в путь. До самого солнечного заката он не встретил ни одного существа и видел только опустошенные поля и улусы: все пространство, по которому шло храброе астраханское воинство, представляло унылую безлюдную пустыню. С наступлением ночи на него напала ватага голодных татар. ограбленных ханскими полками, которые, видя в лице его одного из воинов Самсутдина, раздели его донага и с хохотом убеждали идти любой дорогою.

Но это происшествие не имело дурных последствий: князь Кайтук добыл себе платье в долг и с помощью врученного ему перстня благополучно вывез из Астрахани сокровища Шамагула. что пришлось совершить ему в день своего рождения, и он вспомнил, к величайшей своей радости, что для него прошел «черный год», в который он испытал столько бедствий.

Действительно, с этих пор все удается ему, вследствие чего конец романа принимает сказочный характер. В Моздоке князь Кайтук встречает Бектемира и Сафиру, которые были заранее отправлены туда догадливым Шамагулом; вскоре присоединяется к ним сам Шамагул с толпою астраханских выходцев. которые добровольно последовали за ним. Все сокровища Шамагула к услугам князя Кайтука; он покупает оружие и одежду для прибывших астраханцев, и с этим готовым войском возвращается на родину; соседние горские князья Мизарбек и Кунак уступают ему без бою осетинское княжество, которым они владели после его бегства. Бывшие подданные с радостью встречают своего бывшего князя; он строит себе новый блистательный дворец. становится добрым и мудрым государем и женится на Сафире.

Этим кончается роман «Черный год или горские князья». В целом или в набросках он был, вероятно, написан Нарезным во время его пребывания на Кавказе или вскоре после этого, судя по живости отдельных сцен и характеристик, множеству местных выражений и этнографических подробностей, которые не могли целыми годами удерживаться в его памяти при непрерывной литературной деятельности. Тем не менее, Нарезный, из боязни ли превратных толкований его сатиры или преследований со стороны Коваленского и его покровителей, не решился печатать своего романа, который вышел лишь после смерти автора, а именно в 1829 году.

Подобное замедление, невыгодное для всякого литературного произведения, особенно дурно отразилось на судьбе сатирического романа Нарезного. Прошло более четверти столетия со времени его пребывания на Кавказе; все изменилось в Грузии: — жалобы местного населения прекратились; и далекая, малоизвестная страна потеряла значение для русской публики, занятой другими интересами и пережившей целую политическую эпоху с нашествием Наполеона. Подвиги Коваленского и его сообщников были окончательно забыты в остальной России; о них помнили только местные жители, между тем как официальные документы, — эти немые и красноречивые свидетели всякой государственной деятельности, — лежали нетронутыми в архивах. Естественно, что при этих условиях сатирический роман Нарезного при выходе его в свет в 1829 году остался непонятым. И. В. Киреевский в своем «Обзрении русской словесности» за 1829 год говорит о нем: «"Черный год или Горские князья" имеет все те же качества, какие публика находила в прежних романах покойного Нарезного, — возможность таланта, которому для перехода в действительность недоставало большей образованности и вкуса». Еще менее благоприятный отзыв о «Черном годе» помещен в «Атенее» (1829), где неизвестный рецензент произнес над ним безапелляционный приговор, назвав его худшим из романов Нарезного, хотя и признал в нем «чисто сатирическую основу». Самый герой романа князь Кайтук произвел на него впечатление *арлекина*, который «посмешив публику со своего расписного балкона, отправляется восвояси, а за ним вся труппа» (20).

Со времени появления этого отзыва в «Атенее» 1829 года прошло более шестидесяти лет, и устаревший сатирический роман «Черный год или горские князья», оставаясь таким же непонятым, еще менее мог удовлетворить литературным требованиям русской публики. Но все это, как нам кажется, не исключает возможности хотя бы поздней оценки этого замечательного по своему времени произведения Нарезного.

Мая 14-го 1803 года В. Нарезный был уволен из Лорийской и уехал из Тифлиса в Петербург, где очутился в условиях далеко не благоприятных для развития его таланта, ввиду полного отчуждения от тогдашней Петербургской интеллигенции и литературы. Юношеские опыты будущего романиста, напечатанные в московских журналах 1798-1800 гг., не были настолько блестящи, чтобы доставить ему известность и литературные связи. Равным образом дальнейшая судьба Нарезного и его скромное общественное положение бедного незначительного чиновника менее всего могли способствовать его сближению с литературным миром. Имя его не встречается среди участников шишковской «Беседы любителей русского слова», возникшей лет за пять до официального открытия общества в 1811 г. «Некоторые любители отечественной словесности, как сказано в краткой истории Общества, большей частью члены российской академии, положили между собою в осеннее и зимнее время один вечер в неделю собираться вместе, провождать время в чтении, разговорах и беседах о русском языке. Всякий из молодых людей, изъявивших охоту быть в сих собраниях, имеет доступ»... (21) и так как круг участвующих в обществе был «ограниченный», то можно предположить, что допускались лица, знакомые учредителям, и весьма сомнительно, чтобы между ними находился Нарезный, мало известный в то время писатель и сотрудник двух московских журналов.

Не мог он также участвовать в обществе после утверждения его устава 11 февраля 1811 года и официального открытия заседаний в доме Державина у Измайловского моста, где мало помалу сгруппировались представители литературы известного направления, петербургская знать и высшие государственные сановники. Во всяком случае имени Нарезного нет ни в одном из списков членов «Беседы».

Не подлежит сомнению, что шишковское направление, господствовавшее в тогдашней петербургской литературе, придавало ей колорит застоя и слепого пристрастия к старым традициям. Но и здесь, еще до упомянутого раздвоения, вызванного спорами о слоге, мы видим несомненные признаки умственного движения среди интеллигентной петербургской молодежи. Так 1801 году, 15 июля, несколько молодых людей положили основание «Дружескому обществу любителей изящного», прогрессивному по самой идее, так как «оно имело целью своею взаимное усовершенствование и споспешествование участвующих в оном». В 1803 году, с утверждением устава, «по воле Его Имп. В-ва общество получило дозволение открыть свои заседания» под новым названием: «Вольного Общества Любителей Наук, Словесности и Художеств».

Согласно широкой задаче Общества, доступ к нему был открыт не только литераторам и ученым, живущим в Петербурге и иногородным, но также людям разных профессий и художникам. Среди первых членов мы встречаем: И. И. Дмитриева, Остолопова, Брусилова, А. Е. Измайлова, художника-архитектора А. Н. Оленина, «дерптского» профессора Г. А. Глинку, скульптора Терebeneва, доктора медицины Тимковского, архитектора Гальберга и нескольких художников. Но с течением времени Общество приняло более исключительный литературно-научный характер и значительно расширилось по количеству членов. как видно из отчетов 1807-1810 гг. и отчета за 1823 г. Последний помещен в журнале «Благонамеренный», издаваемым А. Е. Измайловым, который был тогда председателем Общества.

Однако, несмотря на общедоступность и разнообразный состав членов мы не встречаем в числе их имени Нарезного, ни в числе сотрудников двух изданий: «Вольного Общества Любителей Наук, Словесности и Художеств», а именно: в Периодическом издании 1804 г. и С.-Петербургском Вестнике 1812 г. Равным образом он не принимал участия в журналах, издаваемых членами Общества, кроме «Цветника» 1810 года.

В настоящее время, при отсутствии каких-либо точных сведений, мы можем только приблизительно объяснить причины неучастия Нарезного в «Вольном Обществе любителей Наук, словесности и Художеств», а также в упомянутых изданиях. Причины эти, как нам кажется, повидимому, зависели от более или менее случайных условий: слишком ограниченного числа знакомых, быть может, даже неумения заводить их, каких-либо личных соображений Нарезного и пр., а не от характера его произведений, которые в то время еще вполне удовлетворяли тогдашним литературным требованиям.

## IX

Осенью 1803 года В. Нарезный поступил на службу в Петербург при министерстве Внутренних Дел, как означено в его формулярном списке.

В настоящее время, при отсутствии данных, трудно решить, путями В. Нарезный получил место в Петербурге, чужом для него городе, так как, повидимому, не обладал искусством заводить полезные знакомства и находить сильных покровителей. Во всяком случае, был ли он обязан этим своему университетскому **диплому** или рекомендательным письмам, но его служба при министерстве Внутренних Дел началась при иных и более благоприятных условиях, чем на Кавказе. Он увидел других представителей чиновничьего мира, у которых государственные интересы стояли на первом месте и не смешивались с личными своекорыстными целями.

Экспедиция государственного хозяйства при М. В. Д. была тогда разделена на три отделения (22). В одно из них, именно в 3-е отделение, так наз. «Соляных дел», поступил Нарезный 1 сентября 1803 г. и занял скромную должность писца, хотя почему-то получил более значительное жалованье, нежели его товарищи, служившие при том же столе. Так из четырех штатных писцов, определенных в одно время с ним в 1803 году, и так же состоявших в чине коллежских регистраторов, — двоим назначено годового жалованья 300 р., одному 375, а Нарезному 400 р. ас.

3-му отделению «Соляных дел», учрежденному взамен упраздненной «Главной соляной конторы», предстояло сделаться средоточием по соляной части всей империи, и так как гр. Кочубей обратил особенное внимание на эту отрасль государственного хозяйства, то преобразования следовали за преобразованиями, и на долю служивших здесь чиновником выпало немало труда. Тем не менее, несмотря на усиленную и часто механическую работу, едва ли представлявшую какой-либо интерес для Нарезного, он неотлучно исполнял должность писца при М. В. Д. в течение четырех лет. Но в 1807 году, согласно поданному прошению, он был уволен из министерства 22 мая «для к должности в другом месте», как видно из выданного ему тогда аттестата. (См. Прил. V).

Что касается литературной деятельности В. Нарезного в продолжение его четырех-летней службы при М. В. Д., то в этот промежуток времени, быть может, вследствие усиленных служебных занятий, только в 1804 году был напечатан его «Дмитрий Самозванец», трагедия в пяти действиях. Но и та была написана в 1800 (как означено на заглавном листе), следовательно — в пору его студенчества (23).

Это драматическое произведение Нарезного, даже со стороны менее самобытной обработки сюжета, несравненно слабее его вышеприведенной трагедии «Кровавая ночь или конечное падение дому кадмова», напечатанной в «Иппокрене» 1800 г. Насколько мы могли проследить, «Дмитрий Самозванец», по общему характеру, а равно и в отдельных сценах, представляет сколок с известной трагедии Шиллера «Разбойники», которую Нарезный, при знании немецкого языка, мог читать в подлиннике, даже помимо русского перевода Сандунова, изданного в Москве 1793 г.

Дмитрий Самозванец, главное лицо трагедии, списан с Карла Мора, хотя характер его является далеко не таким типичным и выдержанным, как у героя Шиллеровской трагедии. В ранней молодости Дмитрий обкрадывает своего отца, галицкого дворянина, и бросив его в нищете, обращается в бегство, что совершенно не соответствует тем душевным качествам, какие хотел ему придать Нарезный, судя по следующим словам Басманова в 3-м действии: «Великий предприимчивый дух Дмитрия усыплен мною; строгая его деятельность ослеплена; его мужество, душевная твердость растленны»...

С другой стороны, Басманов, вопреки историческим данным, подобно Францу Мору в «Разбойниках», представляет собою олицетворение зла и всяких пороков: он не разбирает средств и не останавливается ни перед какими злодеяниями для достижения своих честолюбивых целей. Марина, или Мариана, как она названа у Нарезного, напоминает во многих чертах Амалию Шиллеровской трагедии, особенно в первом действии. Роль нищего в трагедии «Дмитрий Самозванец» та же, что и старого графа в «Разбойниках»: Дмитрий так же поражен появлением нищего, в котором узнает своего отца, как и Франц Мор при таком же неожиданном появлении старого графа, которого он заключил в подземелье замка и считал умершим.

Остальные действующие лица трагедии, самостоятельно созданные Нарезным, очерчены бледными, плохо подобранными красками. Василий Шуйский и молодой галицкий князь производят впечатление ходульных мелодраматических героев; Ксения, дочь Бориса Годунова и невеста князя Георгия, изображена в виде любящего и слаонервного существа: она падает в обморок при всяком сильном волнении, хотя в то же время оказывает упорное сопротивление самозванцу, который преследует ее своею любовью.

Но и помимо близкого подражания «Разбойникам» Шиллера и неудачно очерченных типов трагедия «Дмитрий Самозванец» неудовлетворительна и в историческом отношении, что объясняется тогдашней

недостаточной разработкой эпохи Смутного времени. Не говоря уже о крупных погрешностях в обрисовке бытовой стороны, характеры и отношения выведенных исторических лиц изображены неверно; высокопарные речи Василия Шуйского и галицкого князя Георгия поражают своею искусственностью и неуместными ссылками из древней истории и на классических героев Брута и Катона, хотя такие же ссылки являются весьма уместными у Шиллера в устах Карла Мора.

Неизвестно, был ли «Димитрий Самозванец» когда-либо поставлен на сцену; по крайней мере мы нигде не встретили подтверждения известия, сообщенного в Сборнике Н. Греча 1812 г. (24), будто бы эта трагедия Нарезного была играна в Москве <sup>1)</sup>. Между тем, почти одновременное появление в 1805 г. тра-

<sup>1)</sup> В «Biographie Universelle» Michaud изд. 1822 года сказано, что «Лжедмитрий» Нарезного все еще дается на сцене; но это известие лишено, повидимому, всякого основания, хотя в то же время другие сведения, сообщенные в «Biographie Universelle» о сочинениях и жизни Нарезного оказываются не только верными, но еще более подробными, нежели те сведения, какие нам приходилось встречать в русских энциклопедических и биографических словарях.

гедий Озерова, имевших громкий успех, не было благоприятно для трагедии Нарезного, которая, вследствие таковой опасной конкуренции, даже помимо ее недостатков могла пройти незамеченною.

В только что указанном нами Сборнике Н. Греча 1812 г. (стр. 447) кроме «Димитрия Самозванца» упомянуты еще три трагедии Нарезного: а) «Елена», трагедия в шестистопных стихах, б) «Светлосан» — в таких же стихах и с) «Святополк», писанный, в подражание Шиллеру, пятистопными белыми стихами. Не знаем, сохранились ли где рукописи этих трех трагедий.

## Х

30-го мая 1807 г., как видно из формулярного списка, Нарезный поступил в настоящее время уже не существующую «Горную экспедицию Кабинета его величества». Под ведомством «Горной экспедиции Кабинета» находились Нерченские и Колывано-Воскресенские заводы, не раз переходившие от Кабинета в заведывание Берг-коллегии и обратно; но в начале царствования Александра I заводы эти были окончательно оставлены за Кабинетом.

Время поступления В. Нарезного на новую должность совпало с важными преобразованиями горного дела в России. Вводилось *Горное Положение*, высочайше утвержденное 13 июля 1806 г. (25), по которому уничтожалась Берг-Коллегия и учреждался Горный департамент. При этом одним из главных нововведений, связанных с общей реформой, была замена местных горных начальств горными правлениями и уничтожение класса приписных крестьян посредством постоянных мастеровых (26).

Но пока *Горное Положение* распространялось только на заводы Уральского хребта, замосковские и частные; все же прочие заводы, а также находившиеся под ведомством Кабинета, оставлены были на прежних условиях. Таким образом в общем ходе дел «Горной экспедиции Кабинета» и заведываемых ею Нерченских и Колывано-Воскресенских заводов почти не произошло никаких перемен, и работа на этих заводах по-старому производилась приписными крестьянами <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Существенная перемена в управлении Нерченских и Колывано-Воскресенских заводов и в заведенных здесь порядках произошла в 1822 году вследствие именного указа от 22-го июля (П. С. З. XXXVIII, 29, 124).

О характере управления Горной экспедиции Кабинета относительно Нерченских и Колывано-Воскресенских заводов в те времена можно составить себе наглядное понятие из «Исторического описания» 1807 года, автор которого относится с видимым сочувствием к старым, издавна заведенным порядкам, так что его нельзя заподозрить в преувеличении:

«Кабинет, говорит он, управляя Колывано-Воскресенскими и Нерченскими заводами, как прежде, так и ныне дает полную хозяйственную власть начальникам заводов, не стесняя нимало их действия в пользу заводов. Увидев какое-нибудь недоразумение, в самых важных случаях требует он объяснения; но никогда не затруднит местного начальства в вещах обыкновенных и таких, в которых он никакой помощи и пользы сделать не может, как, например, предписывать о закупке провианта многими указами и наставлениями, изъявляющими разные сомнения, требованием ведомостей различных по сему и сим подобным предметам.

«Таковое управление Кабинета, соединенное с полной доверенностью к местным начальникам, содержало заводы в самом лучшем положении... Было и другое время, когда начал Кабинет считать главного заводчика начальника в разных мелочах, отступая от своего прежнего образа правления; но как сие продолжалось весьма недолго, то и не имело по себе никаких чувствительно-худых последствий...» (27).

Что касается общего хода дел «Горной экспедиции Кабинета» до 1822 года и состава служащих при ней чиновников, то в связи с общим характером этого учреждения есть основание предполагать, что здесь были такие же патриархальные порядки. Так, например, в 1811 году в отделении «Горной экспедиции Кабинета», при котором находился Нарежный, было два помощника экспедитора; в 1812-м, быть может, ввиду общего застоя в делах во время нашествия французов, один Нарежный исполнял эту должность; в следующем 1813 году число помощников экспедитора доходит до трех (28).

Но какая бы ни была причина увеличения или уменьшения числа служащих в «Горной экспедиции Кабинета», едва ли они были очень обременены работой при вышеупомянутых порядках. Таким образом, Нарежный, помимо повышения в должности, мог выиграть от перемены места — со стороны большего досуга для своих литературных занятий, особенно в сравнении со службой в министерстве Внутр. Дел, при той усиленной деятельности, какой отличалось управление графа Кочубея. В материальном отношении положение Нарежного также должно было измениться к лучшему вследствие увеличения жалованья, которое при тогдашней дешевизне могло удовлетворять требованиям человека, не избалованного жизнью.

Однако, по всем данным, и в это время, и после Нарежный не имел возможности печатать свои сочинения на собственный счет, вследствие чего некоторые из них могли лежать годами без напечатания. Вообще только трудностью найти издателей кажется нам возможным объяснить крайне неравномерное появление в свете сочинений Нарежного и значительное количество повестей и романов, вышедших в последние годы его жизни. В настоящее время, при бедности биографических сведений, нельзя решить, когда собственно было написано то или другое сочинение Нарежного; и едва ли более ранний или поздний выход в свет тех или других произведений его может служить в этом отношении безошибочным указателем. Мы считаем более вероятным, что выбор и время печатания зависели от усмотрения издателей; а Нарежный, не имея никакой поддержки в литературном мире, должен был неизбежно подчиняться их требованиям.

Немногие посвящения, приложенные к некоторым изданиям сочинений В. Нарежного, оставляют нас в полном недоумении относительно того, какую роль в его жизни и литературной деятельности играли лица, которым он посвящает свои труды, так как мы встречаем здесь одни неясные намеки. Посвящения эти представляют единственные данные о личной жизни Нарежного и могут навести на след его писем и ненапечатанных сочинений; поэтому мы считаем нелишним привести их, тем более, что таких посвящений всего четыре и они состоят из нескольких строк. Так, в 1809 году вышла *первая книга* «Славенских вечеров» с следующим посвящением *Петру Александровичу Буцкому*<sup>1)</sup>:

<sup>1)</sup> Петр Александрович Буцкой долго служил в Департаменте Уделов, где в 1824 году занимал место начальника отделения. В. И. Панаев в своих «Воспоминаниях» говорит о нем: «Буцкой умный, приятный, но несколько флегматичный человек, побочный брат графа Гурьева; он и друг его, статский же советник даровитый Взметнев, были тогда один правою, другой левою рукою министра Л. А. Перовского.

«Любезный друг. Тебе приношу *Славенские вечера* мои. Дружба твоя доставила мне досуги свои проводить с единственным для меня удовольствием; и поэтому первые плоды приятных часов сих посвящаю твоему доброму чувствительному сердцу. Прими их с тем расположением, с каким предлагаю. Тебе навсегда преданный В. Нарежный».

В *первой* книге «Словенских вечеров», изданной в 1809 г., помещены только восемь повестей или, точнее, эпических поэм, написанных прозой. Что касается трех остальных, напечатанных впоследствии, то две из них, а именно «Любослав» и «Александр», были напечатаны в журнале «Соревнователь» (1818 и 1819 гг.), а «Игорь» появился впервые в 1819 году в «Украинском вестнике» (№ IV стр. 85-88) в виде отрывка, написанного в стихотворной форме под заглавием «Песнь на могиле Игоря», — который был напечатан в журнале под оригинальным псевдонимом «Улан поселянин». Отрывок этот представляет



заимствование из повести Нарезного («Пятый словенский вечер»), как означено автором на стр. 88. Повесть «Игорь» была напечатана вполне только в 1826 году.

Сравнение этих трех повестей с остальными, помещенными в *первой* книге «Славенских вечеров», привело нас к выводу, что только повесть «Александр», вероятно, написана несколькими годами позже, как видно по слогу и несколько иному способу изложения, а равно и по времени, к которому относится рассказ. Между тем «Игорь» и «Любослав» настолько тождественны с повестями «Словенских вечеров», изданных в 1809 году, что они, повидимому, написаны около того же времени, потому что сумма впечатлений, пережитых автором в течение нескольких лет, должна неизбежно наложить известный отпечаток на его позднейшие произведения.

## XI

Обращение к отечественной старине в связи с возвеличением национальных героев вместо общепринятых исторических лиц классической древности началось у нас, как и у западных народов, в известную пору развития литературы. Направление это, которое выразилось рельефнее всего в Германии XVII века, хотя и плодотворное само по себе, но при ложном понимании поставленной задачи со стороны авторов, должно было неизбежно привести к искажению исторических фактов, неверному изображению исторических лиц, а также напускному, ничем не мотивированному пафосу. Недостатки этого литературного направления, возникшего у нас во второй половине прошлого века, должны были особенно резко проявиться на русской почве при тогдашнем неудовлетворительном состоянии нашей исторической науки. Мы видим это в большей или меньшей степени на произведениях русской драматической литературы и на попутках исторических повестей, указанных нами в начале нашей статьи.

Издание наших старых исторических памятников в конце прошлого века, появление «Слова о полку Игореве» в 1800 г., а равно издание былин Киршей Даниловым в 1804 г. несомненно способствовали расширению исторических знаний и усилили интерес к русской старине. Но с другой стороны накопление историко-этнографического материала при недостаточной научной разработке оставляло слишком большой простор для фантазии авторов.

Вслед за изданием «Слова о полку Игореве» появились стихотворные переложения этого замечательного памятника XII века, как, например: И. Серякова в 1803 и А. Палицына в 1807 году (30). Около этого же времени, а именно в 1809 г., напечатана была первая книга «Славенских вечеров», в которых Нарезный, под видимым влиянием «Слова о полку Игореве», делает попытку восстановить киевскую старину княжеских времен в форме повествовательных поэм, написанных прозой. Но только в «Игоре», как мы увидим ниже, заметно прямое подражание «Слова о полку Игореве», содержание которого во всяком случае не могло служить достаточным материалом для всей серии «Славенских вечеров». Это, вероятно, и побудило автора также воспользоваться для них преданиями, занесенными в летописях и других памятниках, и прибегнуть к иным образцам для подражания, наряду с стремлением внести в рассказ народный элемент, хотя понятый внешним образом.

Нарежный в пору своей юношеской литературной деятельности, а именно в упомянутом выше «Рогвольде», уже сделал попытку такой псевдо-исторической повести; но «Рогвольд» при всех своих недостатках имеет значение со стороны более самобытной обработки сюжета, чего не представляют «Славенские вечера». Здесь автор заранее начертал себе готовые и вдобавок чужие рамки, хотя вообще подражание и подделка под чужой тон плохо даются ему; *и подражательные места неизменно оказываются самыми слабыми во всех его произведениях.*

Элемент подражания значительно уменьшает впечатление, получаемое от «Славенских вечеров», написанных под разными влияниями как по форме и содержанию, так и языку, напоминающему местами Карамзинский слог. Вследствие этого общий характер повестей не выдержан, и они являются настолько искусственными и, так сказать, придуманными, что должны неизбежно утомлять нынешнего читателя. Не подлежит сомнению, что и на «Славенских вечерах» отразился талант Нарезного, как это доказывают прекрасные изображенные им картины, художественные и поэтические выражения; но они проходят незаметной среди множества славянских и устарелых, случайно вставленных слов, а также искусственно созданных архаизмов. Автор как бы намеренно испестрил ими текст повестей с целью придать старинный колорит своему слогу согласно изображаемой эпохе. При этом количество таких слов распределено весьма неравномерно и, насколько мы могли заметить, «Любослав» (Вечера X-XII) всего

обильнее наделен ими; а также на некоторых страницах они почему-то встречаются реже, чем на других.

В какой степени подобные вставки нарушают общее впечатление художественных образов, может служить следующая выписка из «Любослава»:

«Любослав *восклонился* на руку, *подъял* очи свои и воззвал к небу, звездами цветущему: *почто* месяц так кротко *помаваешь* ты жемчужными власами... Покрой, о месяц, кристальное чело свое тучею непроницаемой; отклоните, звезды, яркие взоры свои от князя несчастного! Для духа моего *способнее, вожделеннее* блуждать в дубравах мрачных под наметом пасмурного неба... *Восстал* и пошел... *Ночь* прошла в *пешешествии*» и пр.

Далее читатель на каждом шагу встречается не менее вычурные слова и обороты речи: *безвестно, хочу, тамо, воскрай, ослаблялся* или же: *совлеки багряницу с рамен твоих, копие повергни долу, тако быв* человек, *вопроси...* (стр. 149-151).

Между тем такие же вставки случайно подобранных слов и выражений почти незаметны в двух других «Славенских вечерах», а именно «Кий и Дулеб» и «Славен», вследствие более выдержанного тона и старательной отделки слога. Поэтому Н. Греч в своем Сборнике 1812 года, «Избранные места из русских сочинений и переводов», не без основания приводит в числе лучших образцов тогдашней русской прозы выдержки из повести «Кий и Дулеб».

Однако и на этих двух повестях «Славенских вечеров», как и на всех остальных, отразилось до известной степени влияние песен Оссиана, которые в переводе вышли отдельным изданием в 1792 году (31), помимо выдержек, помещенных в журналах конца прошлого века (32). Песни Оссиана пригнали по вкусу тогдашней русской публики; и Нарезный в молодости, вероятно, увлекался ими наравне с другими, а впоследствии изучал их с особенным вниманием. Он сумела подделаться в такой степени под своеобразный торжественный тон Оссиановых песен и настолько освоиться с ним, что не всегда легко отличить подражательные места от самобытных.

Между прочим, форма обращений к солнцу, месяцу, звездам, источникам, ветру и проч. прямо заимствована из Оссиана, хотя текст в этих случаях является более или менее самобытным. То же можно сказать и об Оссиановых бардах, которые являются у Нарезного с одинаковыми атрибутами и при той же обстановке в виде вдохновенных старцев. Но и помимо подражания внешней форме и приемам в «Славенских вечера» встречаются отдельные картины, непосредственно заимствованные из песен Оссиана с некоторыми изменениями <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Подтверждением этого могут служить следующие выписки из песен Оссиана и повестей Нарезного:

<p><b>Оссиан, ч. I, стр. 251</b> Поэма: Комлат и Кютона «Ночь была бурная; стелящие дубы исторгаясь падали с гор... частые молнии рассекали воздух... я зрел некий призрак: он стоял на берегу безмолвен. Одежда его, составленная из паров, развевалась по воле ветров» и пр. (См. перевод Е. И. Кострова 1792 г.).</p>	<p><b>«Славен. вечера», стр. 14-15</b> Вечер первый. Кий и Дулеб «Часто в бурную ночь, когда ветры потрясали в корне древа сии вечнозеленые, — когда молния рассекая воздух и громы рыкая на вершинах гор приводили в трепет неустрашимых странников... часто ловцы зверей и странные витязи видели, как дух Дулебов, в виде столпа огненного, носился над вместищем праха своего»...</p>
<p><b>Оссиан, ч. I, стр. 93</b> Песнь первая «Герои простираются. Сколь ужасно, среди мрачные осени, с высоты двух противостоящих гор устремляются друг против друга две грозные бури или два источника, свергаясь с утесистых камней, соединяются, сражаются и шумят, слившись между собою в долине, тако сомкнулися, тако стремилися ополчения... Сталь ударяет и ударяется отражаясь; щиты летят раздробляясь на части; кровь течет и дымится на полях»... и пр. См. перев. Е. И. Кострова 1792 г.).</p>	<p><b>«Славен. вечера», стр. 71</b> Вечер V. Громобой «Как два вихря противные, текущие сразить один другого, — роют землю и исторгают древа великие на пути своем, наконец, встретясь, борются и уничтожают друг друга, равную силою исчезают; пыль подымется к облакам и тишина наступает: так сразились мы с Буриваем... Я схватил меч и поразил в грудь врага жестокого; полилась черная кровь его по брони; но подобно удару грома булава его обрушилась над главою моею... рассыпалась сталь блестящая и шлем мой сокрушенный на части пал на землю»...</p>

Что касается *содержания* восьми повестей, напечатанной в *первой* книге «Славенских вечеров» 1809 года, то они представляют пеструю смесь летописных и былинных рассказов, мотивов «западно-европейских» рыцарских и других романов и самобытного творчества автора.

Две первые повести, сходные по содержанию: «Кий и Дулеб» и «Славен» («Славен. вечера» I и II), относятся к тем отдаленным временам, когда народы, некогда населявшие Россию, впервые «познали благо общежития» и усвоили зачатки культуры. При этом Нарезный делает попытку дополнить недостаток преданий об этой эпохе вымыслами своей богатой фантазии.

*Кий* и *Славен* одинаково являются просветителями диких племен, некогда населявших берега Днепра и Ильменя, научают их чтить веления богов, дают им мир и суд, открывают таинства земледелия и судоходства, и дикие племена одни за другими подчиняются их кроткому скипетру. В первой из названных повестей Дулеб, князь диких племен, носивших его имя, ставается к прекрасной Лебёде, сестре Кия, но получает отказ, так как не хочет подчириться «законам Кия», и кончает самоубийством. Во второй повести варяжский князь Радимир при тех же условиях оказывается более уступчивым; по требованию Славен он оставляет прежний образ жизни, становится «так же велик в добродетелях мирных, как был грозен в бранях кровавых», и вследствие этого женится на Славеновой дочери — Всемиле.

В четырех следующих повестях: «Рогдай», «Велесил», «Громобой» и «Ирена» автор «Славенских вечеров» изображает киевских богатырей времен Владимира; но выведенные им герои и романтические рыцари, кроме внешних черт и внешней обстановки, имеют малого общего с простодушными витезями русских былин.

«Рогдай» («Славен. вечера» III) не уступает в храбрости Илье Муромцу и другим былинным богатырям; но резко отличается от них резонерством и другими высокопарными речами в патриотическом духе. Он выступает один в сопровождении оруженосца против трех сот печенегов и убивает их князя Буйслава; а затем, когда печенеги предлагают ему выкупить дорогой ценой труп своего повелителя, он дает такой ответ: «Никогда не отважу жизни своей ради серебра и злата и последнюю каплю ее ценю дороже богатств всего света. Единственно отечеству посвящена жизнь витязя земли русской, — для него только проливается кровь его. Возвращаю вам Буйслава, вашего повелителя» и пр. (стр. 36).

«Велесил» («Славен. вечера» IV), один из древних витязей двора Владимира, представляет собою пример редкого постоянства в любви, достойного средневековых рыцарей. В течение многих лет он напрасно добивается любви похищенной им гречанки Софии, принимает крещение во время похода Владимира на греков в надежде тронуть сердце неприступной красавицы, котоорая оставлена им под охраной верного оруженосца. По прибытии на родину Велесил спешит к знакомой пещере, застаёт Софию на смертном одре и, предав земле тело своей возлюбленной, возвращается ко двору Владимира. Проходят годы, но ничто не может утешить несчастного витязя, ни рассеять его горести; наконец он поселяется у могилы гречанки, чтобы провести здесь остаток дней своих.

Повесть «Громобой» («Славен. вечера» V-VI) по общему характеру и романической завязке напоминают старые рыцарские романы, писанные по известному шаблону. Громобой служит оруженосцем у косожского князя и влюбляется в его дочь Миловзору; она платит ему взаимность и убеждает выступить в назначенное утро в числе других соискателей ее руки, которые «должны били утвердить право свое силою оружия». Далее следует описание турнира, хотя автор не употребляет этого слова: Громобой является неожиданно, в виде таинственного рыцаря, и побеждает своих соперников; но когда разбитый шлем падает с головы его, то косожский князь с негодованием объявляет ему, что не отдаст своей дочери оруженосцу. Громобой с отчаянием оставляет косожскую землю и поступает на службу к Добрыне, при содействии которого

получает звание витязя; после чего он разбивает врагов косожского князя и женится на Мило-взоре.

В повести «Ирена» автор рисует картину благоденствия киевлян под кротким правлением Владимира. Но чужое счастье «наполняет завистью черные души вероломных греков». — которые с целью лишить Владимира храбрых витязей, его главной опоры, — отправляют ко двору киевскому коварную Ирену, первую любовницу Кесаря.

Ирена является в Киев и настолько очаровывает русских витязей своей ослепительной красотой, что они сразу влюбляются в нее, а через месяц, когда она изъявляет желание посетить другие княжества, следуют за ней целой толпой. Из витязей только мудрый Велесил остается при дворе киевском. Вскоре приходит весть, что многочисленное ополчение греческое вторглось в пределы русской земли. Владимир готовится к бою, а Велесил отправляется за витязями и застаёт их на берегах Десны с обнаженными мечами, готовых в единоборстве истребить друг друга, так как Ирена обещала отдать свое сердце победителю. Велесил своей грозной речью приводит в смущение русских витязей, которые с раскаянием бросаются в его объятия, после чего гн отсекает голову коварной гречанке. С прибытием витязей в стан Владимира уstraшенные греки обращаются в бегство.

В повести «Мирослав» («Слав. вечер.» VIII) основой рассказа служат до известной степени исторические данные, хотя сильно прикрашенные фантазией автора. Так, например, летописные известия служат ему для описания распрей детей Владимира и обрисовки характера Святополка, прозванного «окаянным»; но при этом он выводит лицо, только мимоходом упомянутое в летописи, а именно Святослава, который здесь оказывается соперником Святополка в любви к Исмении. Святослав и Исмения спасаются бегством и находят убежище у старого отшельника Мирослава; но вслед за ними является Святополк с малой дружиной и убивает своего брата, а Исмения умирает от горя.

Повесть «Михаил» («Слав. вечер.» IX) по содержанию напоминает приведенную нами выше (в первой части) историческую повесть «Ксения княжна Галицкая» и также относится к временам Батые. Но сухой бездарный рассказ неизвестного автора повести «Ксения княжна Галицкая» резко отличается от рассказа Нарезного, которого ни в каком случае нельзя упрекнуть в недостатке красок, а скорее в избытке их.

В повести «Михаил» дочь Батые Зюлима влюбляется в пленного черниговского князя Михаила и испрашивает у отца согласия на брак; но Батый при этом ставит условием, чтобы пленный черниговский князь «преклонил колена перед его троном и признал Магомета». Это предложением с негодованием отвергнуто Михаилом, который принимает мученическую смерть; Зюлима в отчаянии закалывает себя кинжалом на месте казни.

Тогдашняя критика встретила см большим сочувствием «Славенские вечера» по выходе их в свет в 1809 году; и они удостоились самого лестного отзыва в журнале «Цветник» того же года. Неизвестный рецензент, назвав «Славенские вечера» «весьма удачным подражанием Оссиану», расточает щедрые похвалы их автору, находит, что «картины у него разительны, мысли высоки, выражения благородны и сильны, слог величествен, чист и плавен». Далее, в подтверждение этих слов, в том же отзыве приведены пространные выдержки из первых двух «Славенских вечеров» («Кий и Дулеб» и «Славен»), которые служат для рецензента «Цветника» поводом для новых похвал: «Кому не нравится такая превосходная проза!» восклицает он. «По крайней мере мы, с своей стороны, считаем обязанностью отдать полную справедливость дарованиям г. Нарезного и сказать, что его «Славенские вечера» могут служить образцом чистоты языка и хорошего слога» (33). Этот отзыв должен был иметь особенную цену для Нарезного, которому ни до этого, ни после не приходилось слышать похвал своему слогу. Хотя вообще рецензенты его остальных сочинений в большей или меньше степени признают в нем талант, наблюдательность и другие достоинства, но все они безусловно упрекают его в недостатке легкости и плавности слога; они находят его язык грубым и необработанным, исполненным галлицизмов, неправильных обветшалых слов и выражений.

В 1810 году В. Нарезный, быть может, ввиду вышеприведенного одобрительного отзыва о «Славенских вечерах» представил издателям «Цветника» А. Измайлову и П. Никольскому две новые повести: «Георгий и Елена» и «Анастасия», которые были тогда же напечатаны в журнале (№№ 2 и 7). Хотя повести эти по содержанию составляют как бы продолжение «Славенских вечеров», но отличаются от них более романтическим характером и сравнительно более легким и удобочитаемым языком. При этом влияние Оссиана здесь менее заметно и проявляется только в отдельных описаниях и выражениях.

В повести «Георгий и Елена» автор выводит юного витязя Георгия, любимца черниговского князя Изяслава, который, со стороны постоянства чувств, напоминает героя вышеприведенной повести «Велисил» («Слав. вечер.» IV) и так же неутешен в потере возлюбленной:

«Раз Георгий отправился на ловитву вепрей в полях широких» и увидел в долине, осененной древними дубами и липами ветвистыми, спящую деву такой неописанной красоты, что преклонил пред нею колена и «страстный поцелуй запечатлелся на розовых устах»...

Красавица быстро поднялась с дерна цветущего, с ужасом взглянула на Георгия и на его вопрос: кто она? объяснила, что она дочь пастыря его стад и ее зовут Еленой.

Долго юный рыцарь не мог прийти в себя от изумления и наконец кротко сказал ей: «Елена... судьба повергла тебя в бедность — богатства мои бесчисленны; золото и серебро блистают в чертогах моих и солнце освещает их сквозь пурпур драгоценные. Поди в терема мои и повелевай всем домом моим»...

Елена ответила: «Не прежде я выйду из дома родительского, пока не изведет меня рука священнослужителя».

«Она сказала и удалилась, Георгий стоял, как пораженный громом, и смотрел вслед ей. ... «Чего хочет красота надменная!» вскричал он; и медленными стопами направился к граду»...

«Проходят дни, проходят ночи — Георгий пасмурен, подобно вечеру осеннему. Не веселят его игры и пиршества... Он пылал любовью к Елене... и ужасался гнева Изяслава и презрения от великих дома его». Долго боролся он с собой и, наконец, однажды возложил на себя одежды блистательные и потек к чертоги Изяслава. Князь не противился желанию своего любимца и объявил, что сам с витязями и вельможами будет присутствовать в храме при совершении обряда священного и в чертогах на веселом пиршестве»...

На утро следующего дня счастливый Георгий в светлых одеждах... повел Елену ко храму, «где тысячи народа издали возгласы удивления при виде красоты невиданной!. Наконец, является Изяслав в венце и багрянице, во всем блеске своего величества; Георгий изъявляет свою радость; но князь не отвечал: пригвождены его взоры к прелестям невесты... Глубокое молчание царствовало во храме.

Князь подошел к невесте: «Не тщетно, вещал он, судьба одарила тебя такими прелестями... она родила тебя в прахе ничтожности, дабы после возвести на трон, доказать народам силу красоты девической!»

Общее недоумение разлилось по храму.

Князь продолжал: «Желает ли Елена разделить со мною трон и власть великого князя?»

«Георгий покрылся смертельной бледностью... Все устремили взоры на Елену, ожидая ответа... она обратилась к князю и, устремив взор долу, отречала: Бог и повелители управляют участью рабов своих! Рекла и с пламенеющими ланитами простерла руку к Изяславу»... Князь встал на место Георгия. Обряд священный начался и кончился с общим восклицанием народа. Изяслав и юная супруга его изшли из храма, не обратив на Георгия ни единого слова. Все ринулись на двор княжеский быть участниками пиршества веселого»...

Один Георгий остался «с растерзанным сердцем; блуждающими стопами извлекся он из храма, пошел к берегу Десны, не чувствуя я сам себя и всего сущего окрест его»... В этом состоянии уводит его старый инок в свою пещеру; Георгий долго живет тут и узнает, что Елена в свою очередь познала вероломство супруга могущего, который насильно вовлек ее в ограды монастырские. Не прошло двух лет — Елены не стало; Георгий просит инок постричь его в монахи, идет в монастырь, где были кости неверной Елены, поселяется «в вертепе, на десять стадий от ее могилы»...

Далее следует несколько видоизмененная выдержка из летописи, так как всякого рода заимствования были тогда в обычае, и в этом отношении для авторов не существовало никаких стеснений:

«Георгий, продолжает автор повести, сам обрабатывал сад свой и расширял стены малой обители»; слух об его святости распространился; к нему стекались несчастные, просили успокоения. Услыхал Изъяслав об его убежище, послал к нему злата и серебра число изобильное; — по довольном совещании воздвиглась обитель великая <sup>1)</sup>).

<sup>1)</sup> Сюжет повести «Георгий и Елена» заимствован Нарезным из предания об основании тверского Отрочего монастыря в XIII веке подобно тому, как пользовался летописными сказаниями неизвестный автор повести 1808 г. «Ксения, княжна Галицкая», приведенной нами в общем обзоре журнальной романической литературы второй половины прошлого и начала нынешнего столетия. Но предание это, повидимому, лишено исторического основания, потому что второй супругой князя Ярослава [?] Ярославича была Ксения, дочь знатного новгородца Юрия. (См. «История тверского княжества» Борзаковского. Спб. 1876 г., стр. 81-82).

«Прошли годы немалые. Покрыли седины чело Георгиево. Дни его текли в мире и спокойствии... Когда ангел смерти притек смежить очи мужа праведного, Изъяслав и сыны его присутствовали при одре убогом вместе с иноками»...

«Вторая повесть, «Анастасия», любопытна в том отношении, что на ней рельефно отразилось влияние рыцарских романов, особенно в конце повести, где автор, забывая об условиях изображаемого им удельного княжества туровского, выводит на сцену таинственного романического рыцаря, который ввиду неудачного исхода поединка закалывает себя кинжалом.

Повесть начинается с цветистого описания необычайной красоты Анастасии, питомицы старого князя туровского, который, пользуясь возвращением из похода обоих сыновей, объявляет всенародно о своем намерении исполнить давний обет, данный умирающему отцу Анастасии, и выдать ее за своего старшего сына и наследника Симеона.

Но Анастасия влюблена в младшего княжеского сына Иоанна, который платит ей взаимностью и отца «отдать трон и сокровища Симеону, а ему отдать одну Анастасию». Старый князь призывает Анастасию и в присутствии обоих сыновей своих, вождей и богатырей, предоставляет ей решить: кому быть ее супругом? Анастасия отвечает, что избирает Иоанна.

Князь не противится ее выбору, но объявляет, что Иоанн с рукой Анастасии получит и туровское княжение, потому что он клялся отцу Анастасии выдать ее за сына, которого возведет после себя на престол. Говоря эти слова, князь тщетно искал глазами Симеона, который незаметно скрылся из «приемной палаты». Посланные за ним гонцы вернулись с известием, что их поиски были напрасны.

Настал день брака... «Иоанн, облеченный в богатую одежду, стоял на крыльце храма и радостным оком взирал на площадь, усеянную народом. Ожидали только исшествия невесты из терема девического. Вдруг является посреди площади вестник с трубой брани» и от имени своего повелителя вызывает Иоанна на поединок, говоря, что иначе соберется воинство великое, предаст все мечу и пламени... В то время как Иоанн облачается в броню тяжелую, богатырь подъезжал уже «на бурном вороном коне, в доспехах черных, с опущенным забралом». Иоанн возсел на коня. Труба звучит; витязи наставляют копья, стремятся; во многих местах обогрены были кровью доспехи незнакомца; но и кровь Иоанна кипела на мече его... Незнакомец поднимает булаву — и, «увлеченный ее тяжестью расстилается по песку подобно дубу, громом низверженному; Иоанн устремляется к нему, сжимает руки его в своих руках и коленом грудь свирепую.

— «Кто ты, дерзкий незнакомец? спросил Иоанн...

— «Не желай знать имени моего, ежели не хочешь вечно страдать и раскаиваться...

«Ужасное предчувствие поразило Иоанна. Он отпрянул быстро, как странник беспечный, нашедший на спящего тигра и в неосторожности наступивший на челюсть его...

«Незнакомец извлекает потаенный кинжал», поражает себя и умирает.

«Иоанн снимает шлем с витязя и с ужасом отступает»... подходит старый князь Туровский к простертому незнакомцу: — Симеон! зывает он, падает на хладную грудь сына и умирает. Иоанн предает земле их бранные останки и женится на Анастасии.

По напечатании двух выше приведенных нами повестей в «Цветнике» 1810 года имя В. Нарезного не встречается в печати до 1814 года, когда появились первые три части его романа «Российский Жил-

блаз, или похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова». Этот роман Нарезного представляет переделку на русские нравы известного сочинения Лесажа «Histoire de Gil Blas», впервые переведенного на русский язык Тепловым в 1754 году. Подобная переделка была новостью в нашей тогдашней романтической литературе; и поэтому Нарезный в предисловии к «Российскому Жилбазу» нашел необходимым сделать следующую оговорку: «Я вывел напоказ, говорит он, русским людям русского же человека, считая, что гораздо сходнее принимать участие в делах земляка, нежели иностранца. Почему Лесаж не мог того сделать, всякий догадается. За несколько десятков лет и у нас нельзя было отважиться описывать беспристрастно наши нравы» и пр.

Но уверенность Нарезного, свободное, или, как он называет, «беспристрастное» описание русских нравов будет допущено в 1814 году оказалась ошибочною, потому что «Российский Жилбаз» был тогда же запрещен «по вызову» министра народного просвещения графа Разумовского; и остальные три части романа не могли явиться в печати. При этом министром были указаны «предосудительные и соблазнительные места на страницах: 46, 98, 125, 185 и след. третьей части», почему-то одобренной цензором Яценковым раньше первых двух, а именно 9 октября 1813 года.

По поводу романа Нарезного министр в своем отзыве высказал составленный им взгляд на романы вообще: «Между издаваемыми вновь романами, писал он, выходят многие, которые хотя и не содержат в себе мест, явным образом противных какой-либо статье цензурного устава, но вообще по цели своей, двусмысленным выражениям и ложным правилам могут быть почитаемы противными нравственности. Часто бывает, что авторы романов, хотя, повидимому, и вооружаются против пороков, но изображают их такими красками и описывают с такою подробностью, что тем самым увлекают молодых людей в пороки, о которых полезно было бы вовсе не упоминать. Каково бы ни было литературное достоинство романов, они только тогда могут являться в печати, когда имеют истинно нравственную цель» (36).

Хотя граф Разумовский в своем отзыве указывает только на нецензурные места напечатанной части «Российского Жилблаза», но его слова настолько же могли относиться к трем задержанным частям романа. Между прочим, на страницах 46 и 98 третьей напечатанной части, и на стр. 123 (ч. III) сврх того был затронут вопрос о крепостном праве в виде примера вопиющего злоупотребления помещичьей власти, что и могло показаться предосудительным министру. Начиная со страницы 185 и след. третьей, равно и в начале четвертой ненапечатанной части романа (остановленной цензурой) представлена весьма непривлекательная картина тайного «Общества благотворителей света», величавших себя *масонами*. Но так как автор не делает никакой оговорки, то его описание, ввиду сообщаемых им подробностей, могло быть отнесено к масонству вообще и показаться злонамеренным. Нападки на масонство, которое пользовалось покровительством многих влиятельных людей, уже сами по себе были достаточны, чтобы навлечь гонение на книгу Нарезного. Покровительство масонству, а равно и участие в нем, не считалось тогда вредным, так как масоны «ставили себе цели чисто нравственные и в принципе заявили о своем удалении от всякой цели политической» (37). К тому же масонские ложи с 1809-1810 гг. были официально разрешены правительством.

По многим данным появление первых трех частей «Российского Жилблаза» не могло пройти незамеченным. Помимо того, что это был первый более или менее самобытный русский роман, где читатель впервые встречал на каждом шагу знакомую ему обстановку, русских людей и русские нравы, даже самые недостатки «Российского Жилблаза» не были настолько ощутительны для него, как для нас. Русская романическая литература находилась тогда в зачаточном виде, и так как вкус не был выработан в этом направлении, то и требования не могли быть особенно строги. С другой стороны в «Российском Жилблазе» слабая и неудачная страница с избытком искупалась прекрасными, вполне оригинальными сценами и описаниями, которые должны были неизбежно произвести впечатление на публику, всегда более или менее чуткую в оценке истинного таланта.

Цензурное запрещение, разумеется, в свою очередь способствовало успеху неоконченного романа и по свидетельству очевидца <sup>1)</sup> значительно усилило интерес публики, так что уже в 1820 году «Российский Жилбаз» считался библиографической редкостью.

<sup>1)</sup> Н. И. Греч, современник Нарезного, пишет по этому поводу: «Обстоятельства долгое время препятствовали изданию в свет "Российского Жилблаза", и публика, слыша о том, что *эта книга не может быть напечатана, вообразила, что в ней заключается невесть что*. Обнародование некоторых повестей Нарезного ее разочаровало. Справедливость побуждает меня сказать, что первый русский роман написал и издал у нас Фадей Булгарин» и пр. (38)

Хотя в этом отзыве Н. Греч в ущерб истине усердствует в пользу друга Ф. Булгарина и хочет выставить его превосходство над Нарезным, тем не менее сообщаемое им известие, при всей его неопределенности, имеет для нас значение как единственное свидетельство о том впечатлении, какое произвело на русскую публику запрещение «Российского Жилблаза».

## XV

«Российский Жилблаз», первый русский нравоописательный роман, носящий на себе следы самобытного творчества, написан по образцу известного романа Лесажа «Hisoire de Gil Blas», изданного в первой половине XVIII века <sup>1)</sup>. Талантливый роман Лесажа при появлении в свет обратил на себя внимание

<sup>1)</sup> Первые два тома «Hisoire de Gil Blas» Лесажа были изданы в Париже в 1715 году, третий том в 1724, четвертый в 1735.

французской критики как новизной содержания, так и своим оригинальным характером; и послужил поводом к оживленному литературному спору об его происхождении. Вопрос этот был поднят Вольтером, который находил близкое сходство между произведением Лесажа и старинным испанским романом, изданным в Мадриде в 1618 году и переведенным около этого времени на французский язык: «Relation de la vie de l'écuyer Marcos Obregon par Vincente Espinel». После долгих и напрасных пререканий самобытный роман Лесажа был окончательно признан Франсесоном в 1757 году, который доказал неопровержимым образом, что «Hisoire de Gil Blas» ни в коем случае «не перевод, а свободное общее подражание, кроме нескольких десятков страниц, действительно заимствованных их испанского романа, указанного Вольтером».

Публика, не дожидаясь окончательного решения вопроса о степени самобытности романа «Hisoire de Gil Blas», зачитывалась им в течение нескольких десятков лет, как это доказывает множество изданий, следовавших одно за другим. В непродолжительное время роман Лесажа был переведен на все европейские языки; за переводами следовали подражания и переделки под разными названиями не только в повествовательной, но и в драматической форме. Первый русский перевод «Hisoire de Gil Blas» сделан Василием Тепловым в 1754 году; первый опыт русского подражания роману Лесажа принадлежит Нарезному, как видно из предисловия к первому тому «Российского Жилблаза», **изданному** в 1814 году.

Последовательное сравнение «Российского Жилблаза» с «Hisoire de Gil Blas» убедило нас, что роман Нарезного может быть признан в такой же степени самобытным, как был признан роман Лесажа, так как и здесь подражание носить общий характер, и заимствование ограничивается повторением отдельных эпизодов и частей. Хотя Нарезный видимо придерживается французского образца со стороны внешних приемов и формы, тем не менее «Российский Жилблаз» вполне заслуживает название *русского* романа; здесь везде главными действующими лицами являются русские люди и изображены русские нравы. Автор более или менее подробно касается явлений общественной русской жизни того времени: чрезмерного пристрастия к славянскому языку последователей Шишковской школы, масонства, положения крестьян у хороших и дурных помещиков, злоупотреблений близко знакомого ему чиновничества, неразвития и бедности интересов уездного общества и пр.

Нарезный, так же, как и Лесаж, ставит себе широкую задачу изобразить людей самого разнообразного типа, всякого звания и общественного положения; и его «Российский Жилблаз» по богатству содержания мог бы представить достаточно сюжетов для нескольких романов, хотя, с другой стороны, это чрезмерное богатство содержания в значительной степени нарушает цельность общего впечатления. Если роман Лесажа требует особенного внимания при чтении ввиду множества действующих лиц, вставных биографий, эпизодов и всяческих приключений, то «Российский Жилблаз» в этом отношении является еще более сложным.

Здесь выступает еще большее число лиц и количество приключений и вставок в виде биографий, отдельных эпизодов и рассказов несравненно значительнее. Между прочим, через весь роман проходят три отдельные повести или, вернее, романа, которые то тесно сплетены, то принимают самостоятельный характер, а именно: *история жизни князя Гаврилы Симоновича Чистякова* (Российского Жилблаза), *его сына Никандра и семейная история помещика Простакова*. Вследствие того чтение «Российского Жилблаза», несмотря на его несомненные достоинства, талантливые описания и глубокого прочувствованные сцены, становится утомительным, и нить рассказа тем неуловимее, что Нарезный не сумел создать



органической связи между отдельными частями. В добавок, в угоду тогдашней русской публики, он старался по возможности запутать завязку и придать таинственность рассказу.

Роман начинается с истории помещицкой семьи Простаковых; эта история проходит через все шесть частей «Российского Жилблаза» и составляет его наиболее законченную часть со стороны вполне очерченных и выдержанных характеров и реального описания помещицкого быта. Описание это особенно любопытно в том отношении, что свидетельствует об устойчивости форм общественной жизни, которые складываются века в силу известных условий. Так, сравнивая описания помещицкого быта у Нарезного и у других писателей начала нынешнего столетия и более поздние рассказы очевидцев последних десятилетий существования крепостного права — с такими же описаниями и рассказами прошлого века, мы встречаем те же черты общего склада жизни русских помещиков. Отсюда, путем аналогии, мы приходим к заключению, что таков был в общих чертах помещицкий быт и в более раннюю пору, в так называемый «Московский период» русской истории, так как Петровская реформа, видоизменив и смягчив внешность, не коснулась коренного строя общественной жизни, который в сущности остался таким же (40).

«Нравы наши, хотя внешне несколько отполированные европейскими формами, слишком часто носили на себе черты до-петровского азиатского быта, которые мы можем одинаково наблюдать и в приемах правления, и в частной жизни даже наиболее образованного европейского класса»... (41).

Согласно общему характеру романа «Российский Жилблаз» история помещицкой семьи Простаковых, хотя вполне законченная, не производит цельного впечатления; отчасти потому, что постоянно прерывается другими рассказами и эпизодами, не имеющими к ней ни малейшего отношения. Она служит как бы фоном для автобиографии главного действующего лица в романе, князя Гаврилы Симоновича Чистякова, который неожиданно является в дом Простаковых, становится их другом и покровителем, при всяком случае читает им наставления и с целью назидания рассказывает многосложную историю своей жизни.

Князь Чистяков начинает свой рассказ с описания места родины, села Фалалеевки Курской губернии. Здесь, по всем данным, под видом малоземельных князей автор изображает хорошо известный ему быт мелких шляхтичей, которые, живя меж крестьян, таких же первобытных хлебопашцев, как они сами, отличались от них только чванством и сознанием своего благородного происхождения. Князь Чистяков, оставшись после смерти отца владельцем небольшого участка земли, коровы и лошади, мог жить не хуже своих родителей; но этому помешала любовь к прекрасной княжне Феклуше, которая послужила источником несчастий его последующей жизни.

Несложная история любви князя Чистякова, полунасилованного брака и первых двух лет его супружеской жизни составляет наиболее талантливую часть «Российского Жилблаза»; и до сих пор, несмотря на устарелый слог, принадлежит к лучшим описаниями этого рода нашей романической литературы.

Молодому князю и в голову не приходило жениться на дочери Сидора Архиповича Буркалова, самого бедного из фалалеевских князей, который после смерти жены целые дни пьянствовал а корчме. Но увлечение любовью было настолько сильно, что князь Чистяков все лето не заглядывал в поле, гонясь за обольщенной красавицей; и настолько расстроил свое небольшое хозяйство, что к осени от всего имущества у него остался дом и корова. По совету своей работницы, старухи Марьи, он хотел было поправить свои дела женитьбой на богатой Мавруше, единственной дочери Фалалеевского старосты, но вмешательство буйного и вечно пьяного Сидора Архиповича заставило его отказаться от этого намерения. Он изъявил согласие жениться на Феклуше, которая растрогала его своими слезами и жалобами. Чтобы скрыть «ее дородность», которая могла возбудить толки в селе, он упросил священника назначить возможно поздний час для венчания; но тут представилось новое затруднение: все наряды Феклуши оказались заложенными в корчме его сиятельством Сидором Архиповичем. Хотя Феклуша предлагала пойти к венцу в набойчатом сарафане, но князь Чистяков считал такой наряд неприличным для его будущей супруги, и чтобы избавить себя от унижения, решил пожертвовать последней коровой. К его удовольствию, добродушный еврей Янька не только возвратил заложенные вещи, но сверх того дал ему денег и два штофа водки (т. I 30-91).

Свадьба совершилась благополучно, и молодые супруги некоторое время наслаждались полным счастьем, пока велись деньги, полученные от еврея; но вскоре для них наступили тяжелые дни.

Они «не только не имели ничего, чтобы как-нибудь встретить нового в мире гостя, но еще сами, и то по милости крестьянки своей Марьи, только что не умирали с голоду. Один князь Сидор Архипович ме-

нее всех о том заботился»... Наконец, под вечер дождливого осеннего дня, Феклуша начала мучиться родами, а князь Чистяков «ударился бежать, чтобы просить в долг несколько денег», вошел наудачу в дом одного из князей и, получив отказ, с ноющим сердцем вышел на двор. «Ночь была не лучше дня; мрачные тучи носились стаями по небу, дождь лился ведром». Он вымок до костей, «но хотел еще попытать счастья». Однако куда он ни обращался, везде говорили ему о вытоптанном огороде, проданном поле, или давали непрошенные советы; тщательно [?] стучался он у старосты, у священника, у всего причта церковного; «никто даже не взял труда спросить, кто там и чего надобно?» (т. I 100-104).

«В первый раз чувство, близкое к отчаянию, поразило его душу»... но так как делать было нечего, то он побрел домой. Подходя к воротам, он с удивлением увидел довольно хорошее освещение, отворил дверь и обомлел от ужаса: посреди комнаты стоял стол, покрытый толстой простынею; вокруг него четыре подсвечника, а на нем тело князя Сидора Архиповича Буркалова», умершего скоропостижно в корчме. Сердце несчастного человека облилось кровью. Печальный сидел он у окна «и неподвижными глазами смотрел на сине-багровый труп своего тестя»; уже несколько раз прокричал петух; «псаломщик зевал за каждым словом, из соседнего покоя слышались всхлипывания княгини и вопль молодого князя»...

Наконец «ему надоело смотреть на тестя; он отправился в пустой хлев и против ожидания заснул. Солнце уже стояло высоко на небе, когда он вышел из своей опочивальни и, видя у ворот множество народа обоего пола и разного возраста, толпящихся *смотреть*, невольно задал себе вопрос: «стоило ли труда видеть обезображенный труп бедняка, погибшего от невоздержания, на который он сам не мог взглянуть без трепета...» Не теряя времени, он отправился к священнику с просьбой похоронить тестя и открыто заявил ему, что ничего не имеет. Священник сурово принял его, найдя смерть князя Буркалова «сомнительной», но потом смягчился, велел принести покойника в церковь и обещал прочитать проповедь. Князь Чистяков вышел на улицу, не помня себя от восхищения, так как до сих пор «ни один староста, ни один князь деревни не имел такой чести», чтобы после его смерти была проповедаема.

На следующее утро князь Чистяков торжественно понес покойника в церковь с помощью пастухов и с нетерпением ожидал конца обедни; минутами у него являлось опасение: не подшутил ли над ним бабюшка? Однако все его сомнения рассеялись, когда вынесли наложь и священник начал говорить проповедь; но тут радость его сменилась горем; он задрожал и упал бы на землю в судорогах, если бы не было тесно и пастухи не поддержали его... Священник не пощадил покойника в своей проповеди и в самых оскорбительных выражениях выставил его на позор перед прихожанами; указывая на пример скоропостижно умершего князя Буркалова, он распространился о пагубных последствиях лени и невоздержания.

По окончании проповеди князь Чистяков с плачем опустил в землю гроб своего тестя, и так как на позорном погребении никого не было, кроме пастухов, то он пригласил их к себе, чтобы дать по куску хлеба. Но, против ожидания, он застал дома сытный ужин, присланный его единственным другом, корчмарем Янькой, который сверх того возвратил ему бесплатно принадлежавшую ему корову (т. I стр. 104-118).

Неожиданная помощь наполнила радостью сердца молодых супругов; с обычным легкомыслием бедняков в подобных случаях, они считали себя чуть ли не обеспеченными людьми, толковали о будущем устройстве хозяйства; и мечты их неожиданно осуществились. В их доме остановился богатый купец и за старые книги, перешедшие к ним по наследству от князя Буркалова, оставил им полтора рубля.

Чистяков, не задаваясь мыслью о причине такой неслыханной щедрости и наученный печальным опытом, на этот раз не замедлил употребить с пользою доставшиеся деньги: он выкупил свое поле, устроил хозяйство и при усердной работе скоро достиг некоторого довольства. Так прошло два года. Летом князь Чистяков трудился, а в зимние вечера, на досуге, занимался умственным развитием своей молодой супруги посредством чтения романов и устных рассказов о подвигах «большого света», слышанных им в детстве от покойного деда. Результаты такого своеобразного воспитания не замедлили обнаружиться; в один прекрасный день княгиня Фекла Сидоровна бежала из дому для лучшего знакомства с «большим светом», как она выразилась в письме, оставленном на имя мужа. Вскоре князь Чистяков постигла новая беда: он лишился единственного сына Никанора, который был похищен неизвестными людьми и пропал без вести (Рос. Жилбл., т. I, изд. 1814 г.).

Князь Чистяков встретил Никанора много лет спустя в доме Простаковых и узнал, что он его сын, когда этот рассказал ему свою биографию. Рассказ Никанора, одного из главных действующих лиц романа (т. II, стр. 28-137), относится к немногим несчастным годам его жизни. В этой вставной повести заслуживает внимания тип художника Ермила Федуловича и трагикомическая история Трисмегалоса, усердного поклонника славянского языка.

## XVI

Дальнейший рассказ князя Чистякова становится все более и более отрывочным, и по множеству бывшим с ним приключений и постоянных неудач напоминает «Histoire de Gil Blas», хотя и сохраняет характер русского нравоописательного романа. Считая лишним вдаваться в подробности, мы коснемся главных событий жизни князя Чистякова, насколько необходимо для уяснения рассказа, который, по своей сбивчивости, требует от читателя большого внимания и усилий памяти.

После двойной утраты жены и сына ничто уже не привязывало князя Чистякова к родине. Поручив дом и хозяйство своему другу, еврею Яньке, он пустился в путь несмотря на позднюю осень (т. I, изд. 1814 г., стр. 230-233). Первая его дорожным приключением была встреча на постоялом дворе с неверной женой и виновником ее похищения, мнимым князем Святозаровым, который, завидя супруга, приказал своим слугам вытолкать его за ворота. За этим следовали новые приключения (т. II, стр. 196-234), и благодаря случайным, а также добровольным остановкам Чистяков только несколько месяцев спустя прибыл в Москву, где получил место приказчика у добродушного погребщика Саввы Трифоновича, который «полюбил его, как родного, не обременяя работой, старался доставлять развлечения и всякий раз брал с собою, когда отправлялся на Воробьевы горы и в Марьину рощу, с самоваром и пирогами, женою и приятелями» (т. III, стр. 72). Но такая жизнь пришлась не по вкусу прирожденному князю; он охотнее читал книги, попадавшиеся под руку, и настолько пристрастился к чтению, что стал пренебрегать занятиями в погребе, так что Савва Трифонович, потеряв терпение, пристроил его к ученому метафизику Бибариусу, который за сходную цену взялся обучать его всем наукам.

Трехлетние занятия у Бибариуса, обогатив «Российского Жилблаза» знаниями, придали ему большой запас самомнения, что, в связи со свойственным ему легкомыслием, неразборчивостью в выборе средств для достижения тех или других целей, послужило источником его дальнейших несчастий.

В короткое время князь Чистяков по своей оплошности потерял два выгодных места и, оставшись без дела, сделался усердным посетителем театра. Раз отправился он на представление приезжей актрисы, красавицы, о которой было много толков в Москве, и с первого ее появления на сцене убедился, что это его жена, Фекла Сидоровна, несмотря на ее надменный уверенный тон и манеры знатной дамы. «Любовь, ненависть, сожаление, гнев, чувственность и мщение попеременно овладевали его сердцем»; по окончании представления он бросился к выходу и видел, как разряженная Феклуша, сопровождаемая гайдуками, села в богатую карету своего любовника, князя Латрона [разбойника], и скрылась из его глаз... Случай отомстить неверной жене скоро представился. Он встретил в трактире беглого купеческого сына Авксентьева и мнимого князя Святозарова, который, видя его мельком несколько лет тому назад, теперь не узнал его и за стаканом пунша откровенно рассказал ему свою автобиографию [!] и подробности бегства с ним Феклуши из села Фалалеевки, а затем предложил ему принять участие в ее похищении из дома князя Латрона с целью грабежа, добавив, что уже заручился согласием доверчивой красавицы.

Озадаченный супруг изъявил свое согласие и, узнав план действий, сообщил обо всем кн. Латрону, который, дождавшись условленного часа, приказал слугам высечь и выгнать на улицу Феклушу, а не прошенного доносчика посадить в тюрьму (т. III, стр. 150-155). Здесь князь Чистяков, просидев около двух недель, вырвался на свободу и после новых приключений попал в дом Доброславова, одного из главных руководителей масонского «Общества благотворителей света», который поместил его у себя в качестве домашнего секретаря и, после годичного испытания, предложил ему вступить в масоны.

Далее весь конец третьего и главы V и VI четвертого неизданного тома заняты описанием тогдашнего масонства (едва ли не единственным в этом роде), которое составляет самую любопытную часть романа как свидетельство современника и очевидца. Автор «Российского Жилблаза» хотя и рисует масонство в крайне непривлекательном свете и преимущественно касается его дурных сторон, но в общих

чертах он верно передает действительные факты и то представление, какое существовало о масонстве у большинства непримечательной к нему многочисленной части публики.

Отвлеченная мистическая сторона масонства оставалась ей недоступной, и она неизбежно должна была приписать ему более понятные материальные цели. Таким образом нравственные стремления масонов, выраженные в делах благотворительности, считались многими личиной, за которой скрывались корыстолюбивые или преступные замыслы; другие издевались над масонами и обращали в смех их обряды, с которыми были мало знакомы, и представляли их в превратном и преувеличенном виде (42). Взгляды эти находили поддержку и в литературе XVIII века. Главные нападения на масонов содержались в сочинениях Екатерины II; поданный ею пример послужил поводом к дальнейшим нападениям, например, у Державина и в сатирических журналах 1786 года. Еще раньше, а именно в 1784 году, появилось переводное сочинение «Масон без маски» (43), где автор, указывая на недостатки ордена, называет их «печальным злоупотреблением, следствием слабости человеческой». Более серьезное опровержение масонства представило «Исследование книги о заблуждениях и истине», изданное в Туле 1790 года.

Доказательство недружелюбного отношения тогдашней русской публики к масонству находим и в романе Нарезного. Так, князь Чистяков, получив приглашение вступить в «Общество благотворителей света», заранее задается мыслью разрушить существующие предубеждения против масонства: «О, как же непростительно, восклицает он, кои издеваются над священной метафизикою, а особливо над мудрейшею дочерью ее — пневматологиею. Коль скоро я достигну обещанной высоты, тогда докажу буйным невеждам, что они грубо обманываются, разрушу сомнения света, открою завесу непроницаемую (Российск. Жилбл. изд. 1814 г., ч. III, стр. 186).

Однако масонство, несмотря на недоброжелательное и отчасти презрительное отношение к нему значительной части тогдашней публики, представляло само по себе замечательное явление в русской жизни. Подобно многим заимствованиям из запада, масонство самостоятельно переработалось на русской почве, имело свою историю и оказало немалую долю влияния на нравственное развитие современного общества. Так, мы видим, что несмотря на неизбежные оттенки и различия в мистических воззрениях и внешнем складе различных лож, масонство неизменно придерживалось правил терпимости, гуманного отношения к людям, братской любви и взаимной помощи, и с этой стороны в лице своих членов оказывало вполне благотворное влияние (44). Оно являлось противовесом против формальной религии и нравственности, хотя, с другой стороны, по замечанию А. Н. Пыпина, «ничего не сделало для настоящего просвещения, а преувеличенная обрядность и мистицизм повредили тому, что в нем было полезного и благотворного». Блестящий период московского масонства, связанный с просветительною деятельностью Новиковского кружка, представлял в нем исключительное явление и не может служить общей характеристикой русского масонства (45).

Русские масоны еще в 50-х годах прошлого столетия подвергались тайному надзору со стороны правительства, которое то покровительствовало им, то преследовало, как это случилось в конце царствования Екатерины II. Однако несмотря на закрытие лож с 1786-1789 г., некоторые из них продолжали существовать до 1810 года, когда они были формально разрешены в царствование Александра I и «начались их первые отношения к официальной власти» (46).

Между тем таинственность, которой окружали себя масоны, и многочисленные разветвления масонских лож давали возможность ловким людям и шарлатанам преследовать личные цели, обманывать и обирать легковверных для своей наживы, тем более, что в масонство нередко поступали люди совершенно неподготовленные. Этим объясняется печальное состояние *некоторых лож*, которые, по свидетельству очевидцев, «ничем серьезным не занимались». Так, например, известный масон Елагин (род. 1725+1796 г.) пишет в своей «Записке о масонстве», что в юности, поступив в масоны, он «видел токмо единые предметы неудобопостижимые, обряды странные», и говорит о своих тогдашних собратьях, что они «инога таинства не знают, как разве со степенным видом в открытой ложе шутить и при торжественной вечери за трапезою несогласным воплем непонятные реветь песни, и на счет ближних хорошим упиваться вином, и начатое Минерве служение окончится празднеством Вакху...» (47). Новиков говорит, со своей стороны, что «в собраниях играли масонством, как игрушкою, ужинали и веселились» (48). Не лучший отзыв о масонстве встречаем мы у иностранца, описывающего свое путешествие в Россию в первые годы царствования Александра I (1805 г.): «Русские, говорит он, с ревностью вступали в масонство: собственная цель Общества мало принималась в соображение. а превратилась в застольные беседы, дорогие пирушки и даже в денежные операции... Здесь был случай под завлекательным по-

кровом тайны убивать скучное время... Иной находил здесь средство пополнить недоимки в своей кассе» и проч. (49).

Эти показания очевидцев, которых мы не можем заподозрить в пристрастии или преувеличении, убеждают нас в верности описания Нарезного, который в своем романе в тех же внешних чертах изображает известные стороны русского масонства. Помимо легкого доступа в масонство формальное разрешение лож с 1809-1810 гг. должно было в значительной степени рассеять окружавший их мрак, и Нарезный, не поступая в масоны, мог собрать о них достоверные сведения. К тому же благотворительная деятельность масонов никогда не составляла тайны и пользовалась сочувствием даже их недоброжелателей, хотя имена главных действующих лиц оставались неизвестными. Так, князь Чистяков, в качестве домашнего секретаря г. Доброславова, мог во время своего годовичного искуса убедиться, как широко простираются благодеяния общества благотворителей <sup>1)</sup>, и до своего поступления в масоне не имел повода усомниться в чистоте их намерений.

<sup>1)</sup> Название это едва ли было делом простой случайности, ввиду того, что известный Шварц, друг Новикова, деятельно хлопотал об основании ордена «Благотворительных рыцарей», который был утвержден по просьбе Шварца на Вильгельмбадском конвенте 1782 года, где собраны были просвещеннейшие каменщики всех европейских земель (50). Хотя орден «Благотворительных рыцарей» был вскоре отменен московскими масонами, но Нарезный мог слышать о нем во время своего пребывания в университете, так как тогда число учеников и последователей Шварца было еще довольно значительно.

Масонские обряды, а равно и церемония принятия вновь поступающего члена тайного общества верно передана в романе и подтверждается существующими данными.

Князя Чистякова повезли в карете с завязанными глазами, чтобы скрыть от него место собрания. Когда сняли с него повязку, то он увидел обширную комнату, обитую черным сукном, и посредине «большой стол, уставленный свечами, за которым сидели, потупя голову, в молчании около пятидесяти человек в черных мантиях, на которых изображены были таинственные знаки, как то: созвездия, планеты, духи парящие, ползающие, добрые и злые». Все были в полумасках; встречаясь вне собраний, масоны могли узнавать друг друга посредством жеста и особого прикосновения руки. Первенствующий из них встал, поклонился собранию три раза и спросил: дозволено ли будет говорить ему о принятии в общество нового члена? Он начал свою речь, размахивая руками, говорил «так высокопарно, так замысловато о небесной гармонии, о брачном сочетании звезд, о внутреннем плане Еговы, начертанном для создания человека», что навел уныние на князя Чистякова, который ничего не понял из всего слышанного. Оратор кончил вопросом: согласны ли братья на принятие нового члена?... вписал что-то в большую книгу, лежавшую на столе, и громко возгласил: «Козерог будет имя ищущему просвещения младенцу!» Затем следовало пение масонской песни <sup>1)</sup>; в это время князя Чистякова накрыли мантией, надели шляпу и начали поздравлять. По окончании этой церемонии все перешли в залу, еоторая была окружена диванами из пунцового атласа; посредине стол, уставленный яствами и напитками. «Когда все уселись и довольно насытились тем и другим, начались веселые разговоры, и радость заблестала в глазах каждого»... (190 стр.).

За веселым ужином в романе «Русский Жилбляз» следует описание еще более веселой оргии собравшихся масонов, которую мы приведем в сокращении (ч. III, стр. 193 и след.).

«Когда все пресытились от благ земных, продолжает автор, высокопросвещенный три раза ударил по столу молотком и глубокое молчание настало... раздалась невидимая гармония; быстро отворяются потаенные двери залы, вылетает хор юных нимф, одетых в греческом вкусе, а белых легких одеждах, с обнаженными грудями и цветочными венками на головах»... Пленительные нимфы начали пляску; «что черта, что взор, что малейшее движение, то новая прелесть, новая нега, новое наслаждение»... На стенах пробило двенадцать и все утихло, пляски тоже, высокопросвещенный с своего дивана сказал громко: «которую из сих прелестных назначаете вы царицей ночи сея?» — «Прекрасная Ликориса да будет царицей ночи и усладит тебя своей любовью!» раздалась голоса в ответ на его вопрос... Он подошел к одной из нимф, возвел ее на трон, блестящий резьбою и, облобызав румяную щеку ее, сел на свое место. Ликориса, избранная царица ночи, взяла арфу, наложила белые персты, — все умолкло — и чистый голос ее раздался в сопровождении звонких струн...

«Пение кончилось. Братья встали и подошли к трону. Ликориса заставила каждого вынимать из урны жребии, на коих написаны были женские имена, греческие и римские. Дошла очередь до князя Чистякова. С трепетом и почти нехотением он опускает руку, вынимает, читает вслух: Лавиния! и вмиг девушка с потупленными взорами, с покрасневшими щеками, с волнующейся грудью берет его за руку и сажает на диван». Но тут «стены залы поколебались, свечи в люстрах постепенно потухли, диваны начали двигаться», и князь Чистяков очутился наедине с красавицей, выпавшей ему по жребию, в небольшой комнате, в углу которой горела лампада». Он прислушивается к голосу Лавинии и с негодованием отталкивает от себя, потому что узнает в ней Феклушу...

## XVII

Приведенное здесь описание масонской оргии с первого взгляда кажется совершенно неправдоподобным, между тем основанием рассказа послужили действительные и вполне достоверные факты. Существуют несомненные данные, что масонство, в известных случаях, служило не только предлогом для веселых пирушек, преследования корыстных и других неблагоприятных целей, но и для прикрытия разврата. Так, П. И. Мелессино, брат куратора московского университета, по закрытии масонской ложи, носившей его имя... «несмотря на свои преклонные лета утешился тем, что учредил под своим председательством тайное «Филадельфическое общество», которое составилось из молодых столичных развратников и имело целью предаваться всевозможным беспутствам» (51). Почти в то же время учредился в Москве так называемый «Еввин клуб», который помещался в Немецкой слободе, в доме Годаина, и где «еженедельно совершались лицами обоего пола, принадлежавшими к высшему обществу, неслыханные сатурналии разврата и бесчинства, что продолжалось около двух лет» (52). Императрица Екатерина II, узнав об этом, послала в Москву Шешковского, который и закрыл клуб в 1793 году. «Еввин клуб» подробно описан в книге «Voyage de deux français» (t. III, p. 358-363) [Voyage de deux Français en Allemagne, Danemarck, Suède, Russie et Pologne, fait en 1790-1792; Auteur: Alphonse Fortia de Piles, comte de, 1758-1826;], где это своеобразное учреждение названо *club physique*; по характеру бывших в нем собраний он настолько напоминает масонскую оргию в романе «Российский Жилблаз», что едва ли можно сомневаться в достоверности сведений Нарезного об этом клубе; о нем открыто говорили в Москве. В *club physique* мы видим то же число членов, как и в «Обществе благотворителей света», такие же еженедельные собрания, переходившие в безобразные ночные оргии, с соответственными разговорами, пением и танцами. и которые кончались так же, как и в романе Нарезного <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Полное заглавие сочинения «Voyage de deux français en Allemagne, Danemarck, Suède, Russie et Pologne, fait en 1790-1792», Paris 1796. Все описание путешествия «двух французов» отличается замечательной правдивостью, что придает особенную цену тем подробностям, которые они сообщают о *club physique*. Мы пользовались этой редкой книгой из библиотеки А. Н. Пыпина и по его указанию.

Дальнейшие подробности, сообщаемые автором «Российского Жилблаза», представляют не меньший интерес и близко знакомят с деятельностью «Благотворителей света», которая главным образом заключалась в ограблении богатых членов общества в пользу неимущих. Не проходило ни одного собрания без сборов для благотворительных целей; в случае упорства со стороны жертвователей являлись на помощь злые и добрые духи, слышались голоса, приводившие в трепет непокорных. Кроме того «равновесие, согласие с правилами верховной премудрости» достигалось и другими способами при посредстве наиболее ловких расторопных членов общества; между ними не последнее место занимает князь Чистяков, который, в угоду «Благотворителям света», в короткое время довел до полного разорения богатого откупщика Куроумова и еще похвастался совершенным подвигом перед своей жертвой. Хотя он тут же раскаялся в своем легкомыслии, но уже было поздно: Куроумов, как член общества, посвященный в его тайны, открыл их полиции и явился на следующее собрание в сопровождении целого отряда драгун.

Все бросились в разные стороны; князь Чистяков счастливо избегнул опасности и нашел убежище у добродушного погребщика Саввы Трифоновича; здесь несколько дней спустя он получил письмо от Феклуши, которая, извещая его о своем примирении с князем Латроном, получившим видное место в Варшаве, предлагала ему отправиться за ними для устройства судьбы при ее содействии. Это предложение было настолько оскорбительно для обманутого мужа, что он пришел в благородное негодование, но

практичный Саввы Трифионович стал доказывать ему, что не следует упускать такого прекрасного случая, и убедил его отправиться в путь.

Далее следует описание путешествия князя Чистякова; оно переполнено всяких неправдоподобных приключений, и только типичный рассказ ямщика Никиты составляет счастливое исключение. Но еще менее удачным является описание двухлетнего пребывания Чистякова в Варшаве в пятой, неизданной части романа, где Нарезный задается нравоучительной целью представить читателям самую возмутительную картину злоупотреблений чиновничества и разврата «большого света», известного ему только по наслышке, что придает беспочвенность его рассказу, тем более, что он переносит действие в незнакомую ему Варшаву. Князь Чистяков, попав в омут пороков, все более и более заражается безнравственностью окружающей среды, не разбирает средств для достижения своих честолюбивых и корыстных целей, хотя в то же время становится искренним в своих отношениях к Фелуше, опять-таки мастерски очерченных автором, где снова выступает его талант среди бледных и вялых страниц. Феклуша, наскучив продажною и чувственною любовью, привязывается к обманутому мужу и предлагает ему вернуться с нею в родное село, но, отвергнутая им и мучимая раскаянием, в ту же ночь оставляет дворец своего любовника и, достигнув киевского воеводства, поступает в один из местных монастырей. Князь Чистяков попрежнему следует своим дурным инстинктам и, благодаря разным проискам, получает выгодную должность секретаря при князе Латроне, которому не уступает в жестокости, высокомерии и ненасытной алчности; но в то время, как он задается новыми честолюбивыми планами, его постигает достойная кара: он посажен в тюрьму; здесь он предается позднему раскаянию, и после двухмесячного заключения выпускается на свободу под условием навсегда оставить не только Варшаву, но и царство Польское.

Князь Чистяков отправился пешком на родину; нерадостно было его возвращение в Фалалеевку, куда он вступил после заката солнца. Дом его представлял печальную картину разрушения; и здесь в углу комнаты он застал старого своего приятеля еврея Яньку, который лежал больной и изнемогал от голода и жажды — вследствие того, что жители деревни, считая его умершим, оставили на произвол судьбы. Несчастный еврей, утолив голод, рассказал своему неожиданному избавителю несложную историю постигших его бед: потеря семьи и всего имущества, так как по доносу одного из обитателей Фалалеевки он попал в руки уездных судей, которые довели его до полного разорения. Князь Чистяков, в память прежних благодеяний еврея, заботливо ухаживает за ним и, по выздоровлении, отдает ему половину случайно сохранившихся у него денег, на которые они завели небольшую лавку сельских товаров; к ним присоединился пришлый молодой еврей Иосиф и внес свою долю, что дало им возможность расширить торговлю.

Но судьба продолжала преследовать Российского Жилблаза; вскоре его постигло новое бедствие: Иосиф сошелся с фалалеевской шинкаркой Устиньей, и та потребовала от него, чтобы он принял христианство и женился на ней; еврей ответил отказом, за что посажен был, по распоряжению старосты, в земскую избу, откуда бежал с наступлением ночи. Тогда гнев защитников Устиньи обрушился на товарищей виновного, дом и имущество которых были сожжены дотла; старый Янька не вынес нового несчастья и умер скоропостижно, а для князя Чистякова начался новый ряд приключений. Однако несмотря на все превратности судьбы, которые постигают героя романа и других действующих лиц, все должно кончиться общим благополучием, как показывает начало развязки, хотя она неожиданно прерывается вследствие нескольких недостающих страниц, быть может, недописанных автором ввиду запрещения «Российского Жилблаза».

Что касается вставных эпизодов, рассказов и биографий, то они все более или менее бесцветны, кроме упомянутого рассказа ямщика Никиты (в главе VIII четвертой неизданной части) и описания встречи князя Чистякова с доморощенным философом, вышедшим из среды русского достаточного дворянства, который выработал своеобразную теорию на основании евангельских истин, изречений греческих философов и взглядов Руссо (см. гл. XI, XIII, XIV пятой части). Мудрец этот называет себя Иваном; он не признает сословных и других отличий; при полном отрицании имущественной и денежной собственности является врагом всякого насилия и лжи, и настолько чужд всех потребностей цивилизации, что считает труд излишним и ведет нищенскую созерцательную жизнь среди природы.

В заключение помещаем отзыв о «Российском Жилблазе» одного из наших первоклассных современных романистов-писателей Ивана Александровича Гончарова в письме к М. И. Семевскому от 11-го декабря 1874 года.

«Возвращаю при этом вам, многоуважаемый Михаил Иванович, три томика «Российского Жилблаза». Нельзя не отдать полной справедливости и уму, и необыкновенному, по тогдашнему времени, умению Нарезного отделяться от старого и создавать новое. Белинский глубоко прав, отличив его талант и оценив его как первого русского по времени романиста. Он школы Фон-Визина, его последователь и предтеча Гоголь. Я не хочу преувеличивать, прочитайте внимательно и вы увидите в нем намеки. конечно, слабые, туманные, часто в изуродованной форме, на типы характерные, созданные в таком совершенстве Гоголем [глупость! ничего Гоголь не «создал в совершенстве»]. Он часто впадает в манеру и в тон Фон-Визина и как будто предсказывает Гоголя. Естественно, у него не могли идеи выработаться в характеры, по отсутствию явившихся у нас впоследствии новых форм и приемов искусства; — но эти идеи носят в туманных образах — и скупого, и старых помещиков, и всего того быт. который потом ожил так рельефно у наших художников, — но он всецело принадлежит к реальной школе, начатой Фон-Визиным и возведенной на высшую ступень Гоголем [постыдная ложь! Гоголь бездарность!] И тут у него в этом «Жилблазе», а еще более в «Бурсаке» и «Двух Иванах», там, где не хватало образа [самому тебе не хватало!], характер доказывается умом, часто с сатирической и даже юмористической приправой. [так бы и дал в морду за эту болтовню!].

«В современной литературе — это была сильная фигура.»

«Замечательны также его удачные усилия в борьбе с старым языком, с Шишковской школой, с педантизмом и вообще со всем устаревшим — в формах суда, например, и т. п.

«Эта борьба, в которой он еще не успел, как почти и все тогда (в 1814 г.), отделаться вполне от старой школы — делает его язык тяжелым, шероховатым — смешением Шишковского с Карамзинским; но очень часто он успевает, как-будто из чащи леса, выходить на дорогу — и тогда говорит легко, свободно, иногда приятно, а затем опять впадает в архаизмы и тяжелые обороты» [а сам-то ты куда впал с твоею глупостью и недоумком Гоголем?! в «приятные обороты»? читать тошно! ты Нарезному по щиколотку].

P. S. В этих беспорядочных строках я, конечно, не успел выразить того, что считаю Фон-Визина, Нарезного и Гоголя главными представителями чисто реальной школы, стоящими как будто отдельно в литературе до нашего времени, когда почти вся литература приняла это характер с немногими исключениями.» [самодовольный дурак!]

Временной успех романа, вышедшего в первых трех частях, был плохим утешением для автора, потому что последние три части остались не напечатанными, что должно было тяжело отразиться на нем как с материальной, так и с нравственной стороны, особенно ввиду тех затруднений, с каким был связан тогда самый процесс писания романа. Тем не менее мы позволим себе выразить некоторые сомнения относительно известия, сообщенного сыном романиста, что цензурное запрещение, постигшее «Российского Жилблаза» было причиною, что «Нарежный почти оставил авторство», тем более, что в той же краткой биографии сказано через несколько строк, что «*Нарежный до 1821 года утро посвящал службе, а вечер исключительно литературе*».

Но и помимо этого видимого противоречия многое говорит в пользу второго известия. Хотя, действительно, с 1814 по 1822 г. мы почти не встречаем имени Нарезного в печати, но это еще не дает нам права заключить о перерыве в литературной деятельности; и вообще едва ли мыслимо, чтобы такой плодовитый и талантливый писатель под влиянием огорчения добровольно осудил себя на многолетнее бездействие. Тут неизбежно возникает вопрос, когда же были написаны его повести *Мария, Богатый бедняк, Невеста под замком, Турецкий суд, Два Ивана или страсть к тяжбам* — вышедшие в короткий промежуток двух лет, 1824-1825 гг.

Во всяком случае трудно предположить, чтобы все эти произведения были написаны раньше 1814 года, так как некоторые из них, при всех своих недостатках, являются несравненно более зрелыми и законченными, нежели «Российский Жилблаз», а тем более все предыдущие сочинения В. Нарезного. Равным образом едва ли можно отнести их к самым последним годам Нарезного, когда, по свидетельству сына, «сидячая жизнь при напряженном труде оказала губительное влияние на здоровье романиста» (53).

Что касается материальной стороны, то если Нарезный связывал какие-либо надежды с появлением в свет «Российского Жилблаза», то упомянутое цензурное запрещение было тем чувствительнее для него, что в предыдущем 1813 году он вышел в отставку и женился<sup>1)</sup>. Хотя первые три части романа бы



<sup>1)</sup> Год женитьбы Нарезного указан в краткой биографии, сообщенной его сыном, который при этом не дает никаких сведений о своей матери (Ист. христ. А. Галахова, и. II, стр. 292-293). Равным образом в формулярном списке Нарезного сказано только, что он был «женат на Александре Иван[ов]ой дочери», без обозначения ее звания.

ли напечатаны и, вероятно, тогда же раскуплены публикой, но едва ли полученный от них доход был особенно велик, судя по тому, что в начале 1815 года Нарезный снова поступил на службу и определен столоначальником в инспекторский департамент. В следующем году он был утвержден в этой должности при новом образовании инспекторского департамента, поступившего в состав Главного штаба.

## XVIII

После напечатания первых трех частей «Российского Жилблаза» и запрещения остальных частей в 1814 году наступил упомянутый перерыв в литературной деятельности Нарезного, в следствие ли его собственного нежелания печатать свои произведения или невозможности найти издателя. Таким образом, в промежуток с 1814 по 1822 г. сочинения Нарезного не встречаются в числе отдельно вышедших книг, ни в тогдашних повременных изданиях, кроме двух упомянутых нами «Славенских вечеров», напечатанных в «Соревнователе», а именно: «Любослав» (№№ XI и XII, 1818) и «Александр» (№ VII 1819 г.)

Повесть «Игорь», напечатанная после смерти Нарезного во втором дополненном издании «Славенских вечеров» в 1826 года, любопытна в том отношении, что в ней всего заметнее отразилось влияние «Слова о полку Игореве», изданного в 1800 году, из чего можно вывести заключение, что она, вероятно, была написана около того времени. В повести «Игорь», как и в «Слове о полку Игореве», различные знамения предвещают грядущую беду, равно и грозные явления природы соответствуют изображаемым событиям, что видно из следующего описания:

«Туманом покрыты были власы востекающего над градом Киевским Световида. Сизый Днепр с глухим ревом медленно катил в берегах волны свои; умолкло пение птиц сладкогласных. Один вран чернокрылый издавал вопли по дубраве и хищный волк вторил ему грозным завыванием...»

Юная княгиня Ольга, подобно Ярославне, тоскует в отсутствии супруга своего Игоря:

«Друзья мои и советники, вещала она к избранным старейшинам двора княжеского: сердце мое ноет в груди мутящейся и слезы текут из очей моих, дабы подобно перловому ожерелью унизать выю мо.. Знамения утра сего суть отголоски ночи той, в которую узрел меня впервые Игорь воинственный. Ах, они были тогда предтечами моего счастья; теперь должны быть, по вещанию премудрых, вестниками горести безутешной...»

«Ревел мутный Волхов в берегах своих; молнии терзали покров неба ярящегося; град сбивал ветви с дубов и елей долговечных; гром рычал среди областей небесных ужасно и заглушал рев бесчисленных стай медведей, обитателей лесов великого Новагорода. В дожде беспредельном горько рыдала природа» и т. д. (стр. 201-203, второе изд. 1836 г.).

Далее автор впадает в тон исторических повестей конца XVIII века и, не стесняясь условиями времени и быта, а равно и летописными данными о характере Игоря Святославича и причине его смерти, дает полную волю своей фантазии:

«Вопли скорби и сетования, пишет он, разлились на широких стогнах Киева» при вести об убиении древлянами князя Игоря; воины и граждане оплакивают смерть «мудрого повелителя, кроткого и милосердного покровителя вдов и сирот, который ополчился на брань «не по личной злобе или пристрастию, но единственно для блага народа ему подвластного...»

Повесть «Любослав», по бедности содержания и крайне вычурному языку слабее остальных «Славенских вечеров» и отличается от них нравоучительным элементом, так как здесь автор поставил себе целью объяснить наглядно, что задача государя заключается не в славе военных подвигов, а в мудром управлении и заботе о благе подданных:

Герой повести, молодой туровский князь Любослав, жаждет военной славы и несмотря на мирное время собирает войско, вторгается в соседнюю муромскую землю, сжигает пашни и хижины поселян. Но вскоре угрызения совести начинают мучить его; он отправляется в пустыню к отшельнику Иоилу в надежде найти у него утешение от душевных страданий. Иоил говорит ему длинную наставительную

речь о назначении правителей, советует изгнать дурных советников и щедро вознаградить разоренные им семейства муромцев.

Любослав исполняет совет старца и в непродолжительном времени «становится примером для вождей и повелителей». Везде разносится слава о его мудром правлении; а князь муромский, который еще недавно ответил отказом на его сватовство, теперь с радостью выдает за него свою прекрасную дочь Гликерию.

Совсем иной характер имеет следующая и последняя повесть «Александр», которая относится к моменту вступления союзных войск в Париж 31 марта 1814 года. Главный интерес ее заключается в том, что она служит верным отражением тогдашнего общественного настроения. Первенствующая роль русского императора в событиях 1813-1815 гг., торжественное следование его по Европе, представлявшее ряд триумфов, равно и великодушное отношение к униженной Франции, должны были тем сильнее действовать на воображение русских, что льстили их национальному чувству.

Известно, какими громкими овациями и воодушевленными приветствиями наших первоклассных поэтов сопровождалось возвращение императора в Россию: естественно, что и Нарезный, увлеченный общим движением, заплатил свою дань поклонения; и не пожалел поэтических красок для изображения личности Александра I и его гуманных космополитических взглядов.

Повесть «Александр» начинается с печальной картины Парижа накануне вступления союзных войск, расположенных на ближайших холмах у бесчисленных огней. Глубока полночь раскинула над воинством черные крылья. Мало помалу огни сокращались, угасали.

Александр медленно шествует по долине в сопровождении вождя русских дружин. «Устремленный на светлый месяц и звезды мерцающие взор его прояснился; умиление разлилось по высокому челу его и кротость в ангельской улыбке». Он обращается к своему спутнику и, указывая на древнюю Лютецию, выражает сожаление об ожидавшей ее участи: «Настанет утро, говорит он, и по манию перста моего раздадутся новые громы, падут твердые стены и гордые башни, раздастся плачь и вопль, и сего града не станет. Путник с трудом отыщет место бытия его, спросит потомство отдаленное: кто произвел гибель сию, сие опустошение ужасное? — Александр! будет ответ истории. — О, как ужасаюсь я сей мысли, столько для других обольстительной!»

«Рек — и светлая слеза заблестала в небесных очах его»...

Вождь русских дружин возражает ему, что и солнце, «извлекая из недр земли и вод обильные испарения, дает им время сокопиться воедино, составить тучу черную и низвергнуться на устремленную землю в дожде, громе и молнии».

...«Знаю обязанность сана моего к моему отечеству и россиянам, отвечал самодержец... Но почему же семейство мое осудит меня, если я хочу для его же пользы и славы усыновить еще посторонних? Любовь моя жаждет принять в объятия свои все племена и народы земные, благословить их родительским благословением и воззвать к ним: дети, никогда не уклоняйтесь от закона правды — и вы благополучны».

Настает утро; румяная заря озлатила небосклон... поднимается русское войско с сырой земли, собирается в ряды «пространные» и на вопросы Александра: — «Какую судьбу изречем мы древней столице все Галлии? Как встретим мы жалких ее обитателей?» — громко требует гибели галлов и их древней столицы.

Александр пребыл в недоумении. Раны Москвы и Смоленска близко прилегли к его сердцу... он дает слово войску воскресить древнюю столицу и достойно отомстить за нее...

Но «завзвучали врата железные града гордого и разверзлись. Медленно извлеклись граждане Лютеции — с поникшими главами шествовали они во сретение царю русскому и его воинству. Удержал царь за бразды коня ратного; вожди и воинство остановились»...

Далее следует длинная речь старейшины галлов, который взывает к милосердию Александра и преклоняет перед ним колена; прибывшие с ним граждане пали во прахе; «слезы горькие, слезы кровавые оросили чело земли отеческой». Царь обратился к своим воинам и, видя умиление на их лицах, простер десницу к старейшине галлов и повелел им идти за ним «во град осиротелый и там во храмах принести благодарственные молитвы Богу кротости и милосердия»...

Александр пошел по граду. Галлы и россияне ему последовали. С воплями радостными приняли граждане гостей своих в стены Парижские — и примиренные народы совокупно простерли к Небу мольбы благодарности <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> В «Revue Encyclopedique» 1829 года, которая в это время получала от одного из своих московских корреспондентов «значительную часть лучших произведений русской прессы», помещен краткий обзор сочинений В. Нарезного, составленный Шопеном (octobre, p. 111-122). Автор статьи называет Нарезного «первым из русских нравоописательных романистов» и, между прочим, с похвалой отзываясь о «Славенских вечерах», кроме повести «Александр», где, по его словам, «Нарежный слишком увлекся патриотизмом и позволил себе пристрастные нападки, неуместные для первоклассного писателя».

## XIX

Повесть «Александр», помещенная в «Соревнователе» 1819 г., была последним произведением В. Нарезного, помещенным в журнале. Все остальные, появились отдельными изданиями, начиная с повести «Аристион, или Перевоспитание», вышедшей в 1822 году с следующим посвящением, которое почему-то выключено из второго издания 1835-1836 года:

«Петру Алексеевичу Взметневу <sup>1)</sup>).

«Около пятидесяти лет я пользуюсь твоею бесценной дружбой. Нередко в продолжение сего времени над головой моей собирались грозные тучи и твое благоразумие всегда умело отвращать гибельные удары, доставляло укромное пристанище. Ничем не в сила отблагодарить тебя за все одолжения... Но чтобы и дети детей твоих знали, сколько я обязан был твоей великодушной дружбе, посвящаю любезному имени твоему новое сочинение.

«Октября 5-го дня 1821».

<sup>1)</sup> Петр Алексеевич Взметнев, сотрудник журнала «Улей», изд. в 1811-1812 гг., где он помещал свои стихи и басни, и, кроме того, автор довольно сухой и бездарной сатиры в стихах «Полезьа медиков». О службе Взметнева в департаменте уделов упомянуто в «Воспоминаниях» В. И. Панаева.

В «Аристионе», как во многих романах и повестях этого направления, основой рассказа служит тогдашний избитый мотив о преде новомодного воспитания, где все внимание обращено на внешние преимущества в ущерб действительных знаний и развития душевных качеств.

Такое именно воспитание получил Аристион (сын отставного бригадира, живущего в Украине), который на шестом году жизни отправлен в Петербург и помещен «в славнейшем тогда пансионе, содержимом знаменитым иностранцем».

По окончании учения Аристион, как «прилично дворянину», поступает в Петербурге на военную службу и вскоре, под влиянием дурного воспитания, предается пагубным и дорогостоящим столичным развлечениям, запутывается в долгах и одновременно получает весть об измене любовницы и о своем выключении из службы. Верный дядька Макар, пользуясь отчаянием своего господина, увозит его в Украину. Здесь Аристион узнает, что его родители умерли, разоренные им, и что некто Горгоний владеет его наследственным имуществом. Горгоний никто иной, как родной отец Аристиона, который выдает себя за мертвого, чтобы исправить своего блудного сына, принимает его к себе в дом и занимается его перевоспитанием с помощью своего друга, мнимого г. Кассиана (графа Радиона).

В распоряжении Аристиона превосходная библиотека; г. Кассиан ведет с ним длинные поучительные беседы; из города выписаны «ученые мужи», которые обучают его философии, истории и другим премудростям. Аристион незаметно привыкает к правильному образу жизни и настолько преуспевает в науках и добродетели, что мудрые воспитатели находят возможным познакомить его с прекрасной Людмилой, заранее приготовленной для него невестой, на которой он женится в конце повести. Людмила, в довершение мистификации, является воспитанницей мнимой помещицы Зинаиды (матери Аристиона).

В настоящее время повесть «Аристион, или Перевоспитание» читается с трудом, тем более, что завязка рассказа совсем неправдоподобная. Нельзя предположить, чтобы Аристион, искусившийся в развлечениях столицы, приехав на родину в зрелых годах так легко поддался незамысловатой мистификации, придуманной для его исправления, и не открыл ее до тех пор, когда главные действующие лица комедии не нашли нужным прекратить ее. Между тем автор изображает своего героя человеком способным, которому легко даются всякие науки, и вследствие этой несообразности весь рассказ является крайне искусственным и надуманным.

Критика 20-х годов ставила в упрек автору неправдоподобную завязку рассказа, как, напр., рецензенты журналов «Благонамеренный» 1822 года (ч. 19, стр. 503-506) и «Сына Отечества» 1823 (ч. 87, стр. 166-172), которые при этом нападают на тяжелый и необработанный язык повести. Но и здесь, как во многих других рецензиях произведений Нарезного, наряду с действительно обветшалыми словами и выражениями отмечены слова и выражения, употребительные до сих пор, как: *заниматься* науками, он *быстро* вышел, *проклятый* лакомка, *бесстыдный* обжора и пр. Кроме того рецензент «Сына Отечества» находит в повести «Аристион» *ложные* мысли, как, например, во фразе, сказанной одним из действующих лиц романа, что «для дворянина может ли иная служба быть прилично, как придворная или военная», и возражает автору, что *это значит унижать гражданскую, столь полезную службу...* С другой стороны исправление героя повести кажется рецензенту вполне уместным с нравоучительной точки зрения, хотя, по его мнению, «жестокое притворство родителей Арстиона и с добрым намерением могут видеть равнодушно только сердца холодные: перед душами чувствительными оно кажется невозможным».

Но и в «Аристионе», при всех недостатках повести, встречаются места, заслуживающие особенного внимания, как, например, те страницы, где г. Кассиан вместе с Аристионом посещают соседних помещиков с целью назидания. Перед читателей, как и в «Мертвых душах» Гоголя, хотя еще в грубом необработанном виде, выступают типы, или, вернее, смело очерченные наброски типов тогдашних помещиков, с их семейной и домашней обстановкой, нравами и привычками: пана Сильвестра, страстного охотника, пана Парамона, проводящего дни в пьяном разгуле, и, наконец, пана Тараха, который, по замечанию А. Галахова, представляет фамильное сходство с «Гарпогоном великорусским», художественно изображенным в лице Плюшкина (54). Действительно, украинский помещик Тарах и его жена во многих отношениях напоминают бессмертный [давно помер!] Гоголевский тип скупца. Мы види здесь то же неразборчивое накопление имущества, ставшее преобладающей страстью и единственной целью жизни, перед которой умолкают все нравственные стремления и даже животные инстинкты. Пан Тарах и его жена, обирая крестьян для собственного обогащения, в то же время обрекают себя на жизнь, исполненную лишений, в противоположность более распространенному и более мелкому типу скупцов, скарденых только по отношению к другим, а не к себе. Наконец, пана Тарах, подобно Плюшкину, был некогда только бережливым хозяином, «но достоинство это простер до того, что сделался гнусным скрягою».

## XX

Два года спустя после «Аристиона», а именно в 1824 г., появились в трех частях «Новые повести» Нарезного с следующим кратким посвящением К. Я. Командер:

«Сколько родственна между мною и вами связь, столько или более отличное превосходство вашего нрава и неизменяемая никакими превратными случаями доброта сердца побуждают меня посвятить вашему имени вновь написанные мною повести» и пр.

«Августа 1-го дня, 1823 года».

Из шести так называемых «Новых повестей» не последнее место занимает повесть «Мария», единственное из сочинений Нарезного, которое может быть отнесено к сентиментальному роду, с неизбежными титулованными особами, насильственной разлукой влюбленных, сумасшествием, смертью от любви и пр.

Однако несмотря на безусловно подражательную форму повесть «Мария» является более законченной и, во многих отношениях, выше всего, что нам приходилось читать в этом роде из старых романов и повестей. Рядом с изображением главных действующих лиц автор рисует окружающую их обстановку богатого помещичьего дома старого времени, а также их отношения к слугам, тогда как в большинстве случаев сочинители, говоря об усадьбах, считают лишним упоминать не только о крестьянах, но и о домашней прислуге. Кроме того в повести «Мария», вместо ходульных мелодраматических героев, выведены вполне реальные типы с определенной физиономией и характерами. Таки<sup>м</sup> являются: старый добродушный граф, свободомыслящий швейцарец аббат Бертольд, исполнявший в доме роль воспитания графских детей, и высокомерная графиня, гордая своим происхождением и знатностью, которая ради сословных предрассудков готова пожертвовать счастьем детей. Она случайно узнает о любви своего сына к Марии, дочери управляющего, воспитанной вместе с ее собственной дочерью; приказыва-

ет по этому поводу позвать к себе мужа и воспитателя Бертольда и с гневом объявляет им о своем решении выдать Марию за своего крепостного камердинера.

Эта сцена несомненно принадлежит к лучшим страницам повести. Не менее характерен и остальной рассказ старика управляющего, повествующего случайно захваченному путешественнику печальную историю любви своей дочери Марии. Рассказ этот особенно производит впечатление простым безыскусственным тоном. Управляющий (бывший графский крепостной) безропотно покоряется своей судьбе и не винит господ в постигшем его несчастье, в котором он сам является совершенно пассивным лицом. Если он решился в разговоре с помещиком высказать свое мнение против брака, грозящего дочери, то вслед за тем, со слезами благодарности, выслушивает данное ему приказание уехать вместе с семейством в самое дальнее из графских поместий, хотя от этой ссылки единственная дочь преданного слуги сходит с ума от горя и умирает любимая жена.

Рассказом управляющего заканчивается первая и наибольшая часть повести «Мария». Вторая часть далеко не представляет ни тех же достоинств, ни той цельности, так как автор впадает в преувеличение и рисует неестественные сцены и положения. Хотя здесь, как и в первой части, рассказ ведется от лица старого управляющего, но в нем уже слышны фальшивые ноты при описании безутешного горя молодого графа.

В течение трехлетнего пребывания за границей молодой граф не перестает тосковать в разлуке с Марией. Наконец, он узнает о смерти матери и, с разрешения отца, спешит к своей возлюбленной в далекое украинское поместье, но приезжает в момент погребения Марии и падает без чувств. Обморок его настолько продолжителен, что отец Марии успеваеет похоронить ее и поставить у ее могилы деревянный крест. Но это не останавливает влюбленного графа, который велит приготовить два великолепных гроба в деревянной беседке и в один из них положить вырытый из могилы прах Марии, а другой оставляет для себя. С наступлением весны вместо беседки построена каменная церковь и в нее перенесены оба гроба. Проходят годы после смерти Марии, но ничто не может утешить молодого графа, ни рассеять его горести. Он ведет уединенную жизнь, редко кого допускает к себе, и то по необходимости. Но такая жизнь не мешает ему быть благодетелем не только крестьян, ему принадлежащих, но и посторонних. «Все благословляют его, добавляет автор, все хвалятся своим счастьем; один он носит в груди своей корень злополучия, который... не прежде иссохнет, как во взорах страдальца потухнет последняя искра жизни.»

Любопытно, что современная критика отнеслась с наибольшим сочувствием к сентиментальной, сравнительно слабой части повести. Так, рецензент в журнале «Благонамеренный» 1824 года (ч. 18, стр. 25-45), называя «Марию» прекрасной хотя и сентиментальной повестью, говорит, что «читая Марию рецензент и притом журналист в зрелых уже летах, который и в молодости своей не был плаксив, выронил поневоле несколько слез. Как хорошо знает сочинитель человеческое сердце. В каких трогательных положениях умел он представить героев своей повести...» Далее в том же отзыве рецензент, нападая на автора за недостаток простоты и естественности, находит вполне естественной и даже назидательно развязку повести. «Цель повести Мария, замечает он, самая полезная. Автор хочет показать, что самое лучшее воспитание, если оно не согласно с предназначением нашим в общественной жизни, бывает для нас пагубно, и что любовь самая невинная, самая благородная, между людьми, родившимся повидимому друг для друга, но в разных, или, так сказать, противоположных друг другу состояниях, — есть ужаснейшее мучение, которое только одна смерть прекратить может...»

Таким образом, современный рецензент обращает внимание только на сентиментально-нравоучительный элемент повести.

Этот элемент, как и во многих других произведениях Нарезного, развивается об руку с самобытным; и на этот раз с заметным преобладанием последнего, чего нельзя сказать о следующей небольшой повести *Турецкий суд*, которая должна быть признана подражательною от начала до конца. Она принадлежит к известному роду переводных и подражательных произведений, обозначаемых общим названием «восточных повестей», где сочинители с нравоучительною целью изображали добродетели отдаленных народов. Соответственно с этим, и в повести «Турецкий суд» приведен пример неподкупного турецкого правосудия в лице Ибрагима-паши, посланного турецким султаном в Кипр по жалобе жителей на Ассага-пашу. Разумеется, Нарезный, подобно большинству сочинителей «восточных повестей», выказывает полное незнакомство с нравами и обычаями жителей описываемой страны и строит фабулу своей повести на случайных сведениях, вычитанных им из книг.

Наряду с повестью «Турецкий суд» в собрании «Новых повестей» 1824 года помещено не менее слабое, хотя, повидимому, до известной степени самобытное произведение Нарезного, а именно «Невеста под замком». Это не более как фарс в драматической форме, довольно неправдоподобный и лишенный всякого остроумия, в котором выставлены на смех недогадливость и резонерство немцев. Старый ювелир Руперт держит взаперти живущую у него племянницу Розину, так как хочет жениться на ней и присвоить себе тридцать тысяч приданого, оставленного ей покойным отцом. Такие же виды на Розину имеет сосед ювелира, старый доктор Аффенбергер, выгодно продавший свою первую жену какому-то богачу. Но Розина влюблена в бедного молодого чиновника Милона, который уговаривает ее бежать с ним и захватить часть сокровищ старого ювелира, в счет задержанных им тридцати тысяч, что удастся влюбленным с помощью самой невероятной мистификации. Оба немца, видя себя кругом одураченными, утешают себя длинными рассуждениями и тяжелыми остротами.

Несмотря, однако, на все недостатки этой повести Н. А. Некрасов, в раннюю пору своей литературной деятельности, воспользовался сюжетом «Невесты под замком» для водевиля в двух действиях «Шила в мешке не утаишь, девушки под замком не удержишь». Водевиль этот был напечатан в «Репертуаре Русского театра на 1841 год» под псевдонимом Н. А. Перепельский.

## XXI

Остальные три повести, напечатанные в упомянутом сборнике повестей 1824 года, а именно «Богатый бедняк», «Запорожец» и «Заморский принц», принадлежат к нравоописательным и историческим сочинениям Нарезного, в которых, как и в «Российском Жилблазе», он изображает русские нравы и русских людей с окружающей их обстановкой и, таким образом, является вполне самобытным. Но и здесь он придерживается замысловатой завязки старых романов с приключениями, на которых воспитывался в молодости. Запутанными похождениями главных действующих лиц, которыми автор думал придать интерес своему рассказу, производят неприятное впечатление на нынешнего читателя, который из-за них не обратил внимания на талантливые сцены, описания и прекрасно очерченные типы.

Такое именно впечатление оставляет талантливая бытовая повесть «Богатый бедняк», которая, если мы не ошибаемся, имеет сверх того автобиографическое значение. Повесть начинается с краткого описания вечера в недалеком расстоянии от Полтавы; вдали раздается рев усталых под ярмом волов и блеяние овец, идущих с паствы. Из пятилетнего похода возвращается молодой Эсаул Ипполит, по прозвищу Голяк, сын бедного шляхтича; товарищи его разбрелись по домам; ему одному негде преклонить голову, так как его родная хата запустела, и «много понадобилось бы иждивения, чтобы сделать ее похожей на жилище человеческое: а у него в кармане было пусто!».

Ипполит пускает коня на траву и решается провести ночь под открытым небом. Перед ним знакомая, но [?] не забытая картина: вдали виднебся села соседних помещиков; справа стоит его заброшенная родовая хата, из которой, пользуясь наступившей темнотой, стали показываться кучи нетопырей. «Она заросла высоким бурьяном, окна выбиты градом и соломенная крыша снесена ветрами...»

Тут жил его отец, самый бедный шляхтич в округе, он имел во владении небольшой участок земли и небольшую хату, в которой помещался с женой, сыном Ипполитом, дочерью Мариной, работником и работницей. Шляхтич не ленился сам ходить за плугом, жать и молотить хлеб и косить сено. Он этих занятий никто из домашних уволен не был. Однако Ипполит с самого отрочества охотнее ходил в школу в ближнее село к дьячку Сидору, чем в поле или лес... Едва исполнилось ему двадцать лет, как «постигли его бедствия не мечтательные»: в короткое время лишился он отца и матери; сестра Марина, избавившись ига родительского, склонилась на ласки проезжего шинкаря, обвенчалась с ним тайно и бежала<sup>1)</sup>, работники бросили опустевшую хату. «Ипполит оказался один во всей природе, и вся природа показалась ему бесплодною пустынею...»

<sup>1)</sup> О подобном романическом браке своей тетки Нарезной (сестры писателя) рассказывал сын Т. [?]. Нарезного одним знакомым в Полтаве, где он несколько лет занимал должность воспитателя при Полтавском кадетском корпусе.

Совпадения приведенных здесь подробностей с данными о детстве и семье В. Нарезного приводят нас к догадке, что, быть может, автор, в лице Ипполита Голяка, до известной степени изобразил самого себя. На двадцатом году жизни, как было сказано выше, Нарезный, вследствие каких-то особенных, вероятно, семейных обстоятельств вышел до окончания курса из московского университета несмотря на

успешные занятия и поступил на службу. Если причина заключалась в смерти родителей, то по прошествии известного времени, при посещении родины на обратном пути из Кавказа летом 1803 года он мог застать такое же запустение родного гнезда. Небольшое хозяйство и хата, не поддерживаемые трудами владельца, должны были прийти в упадок. При этих условиях такая же печальная судьба, как судьба Марины (в упомянутой повести), могла постигнуть одинокую осиротевшую девушку, сестру Нарезного, в отсутствие брата, с которым она не виделась несколько лет.

Возможно также, что разорение родного гнезда было отчасти причиной, что Нарезный во время многолетней службы в Петербурге ни разу не отлучался в отпуск и умер вдали от родины, несмотря на расстроенное здоровье. Во всяком случае, представленная нами печальная несложная картина — где трагизм заключается в самом положении бедняка, поставленного в известные условия — едва ли создана силою одного воображения. Безыскусственная простота рассказа отчасти подтверждает эту догадку, так как автор, против обычая сочинителей в подобных случаях, даже не считает нужным описывать то, что думал и чувствовал бездомный есаул Голяк, сидя один под открытым небом в виду наступающей ночи, за которой должен был следовать такой же нерадостный для него день.

В этом положении застаёт героя повести его бывший приятель Вирилад, растолстевший до неузнаваемости, который навеселе возвращается домой в сопровождении слуг. Следует объяснение, после которого Вирилад приглашает Голяка к себе. поит и кормит его и, в память их прежней дружбы, оказывает ему самое радушное гостеприимство.

Тип добродушного и плутоватого Вирилада, не особенно разборчивого на средства, а равно и его отношения к окружающим, вполне реально очерчены автором. Особенно характерен в этом отношении рассказ самого Вирилада о своем постепенном обогащении: наскучив долгой нищетой, он, наконец, взялся за ум, стал как можно чаще являться с поклонами к соседним помещикам, разыгрывать перед ними роль шута, «дозволять пускать себе в глаза табачный дым, мять чуб и ерошить усы», и за это в короткое время получил от одного пана нарядное платье, от другого пару волов. Затем, «когда он увидел, что отрава лести, угождения и унижения сильно подействовали на сердца и души милостивцев», то, при удобном случае, начал сам выпрашивать у них подачки... и, продолжая усердно прислуживать панам, купил себе хутор и пр.

Таким же практичным является Вирилад в дальнейшем разговоре с молодым есаулом, который на вопрос: много ли он привез добра из бусурманщины? — простодушно ответил, что у него ничего нет, кроме двух крестиков с Афонской горы и других редкостей, подаренных монахом. Вирилад был настолько озадачен, что некоторое время молча смотрел на своего гостя, затем разразился неудержимым хохотом и с тяжелым вздохом заметил ему, что «в Малороссии народ начал развращаться, так что и самый страстный охотник до редкостей, а притом самой богатой и щедрой, за все твои диковинные вещи и с сумкою едва ли даст более одного золотого...»

Что же касается собственно романической завязки повести, то, несмотря на общий чисто реальный характер рассказа, о котором свидетельствуют приведенные нами выдержки, она является настолько же слабой, как и во многих сочинениях Нарезного. Этим объясняется умолчание о романической стороне повести в современной рецензии, помещенной в журнале «Благонамеренный» 1824 года (ч. 28, стр. 25), автор которой ничего не видит в рассказе, кроме комизма. Герой повести не представляет для него никакого интереса; он считает главным действующим лицом пана Вирилада; но находит, что «Сочинитель слишком много уже говорит о съестном и хмельном. Малороссийские наливки и волошские вина, добавляет он, очень хороши, но лучше употреблять их при сочинении, а не в сочинении...»

В повести «Запорожец» Нарезный выступает на путь исторического романа и начинает рассказ с прекрасной, вполне реальной картины Запорожской сечи:

На площади перед храмом угодника Николая собралась толпа в ожидании запорожского войска, которое возвращается из похода с победой и богатой добычей. Наконец, в поле поднимается пыль высокая, еще одно мгновение — и все увидели развивающуюся в воздухе хоругвь запорожскую. Но вскоре радость сменяется общим унынием при виде храброго атамана, тяжело раненного, который едва и едва держится на коне, поддерживаемый казаками. Атаман говорит речь народу и велит половить себя у врат церковных, чтобы услышать, — быть может в последний раз, — слово Божие и помолиться об отпущении грехов своих.

Далее следует описание молебствия, по окончании которого знамя запорожское внесено в церковь, и все распущены по куреням. Ослабевшего атамана уносят в его дом, где уже дожидал его врач, известный по всем Запорожьи, «где каждый больной лечился, как знал»...

Не менее рельефной картиной автор кончает свою повесть. Заслуженный оправившийся от ран атаман обращается с прощальной речью к собравшимся запорожцам и просит как милости дозволения сложить с себя почетное звание. Долго длится всеобщее молчание, и только по слову священника запорожцы соглашаются отпустить своего атамана, который приглашает всех куренных атаманов и все войсковое начальство к себе на обед, а для простых казаков в каждый курень ставит по бочке пива.

Затем автор представляет краткий строго исторический очерк описываемой им Запорожской сечи.

Указанные здесь места повести *Запорожец*, в сравнении с прежними русскими попытками исторического романа, ясно показывают, насколько Нарезный опередил своих предшественников, не исключая и Карамзина, со стороны верного понимания задачи исторического романиста, так что в этом отношении его произведение до сих пор не утратило своего значения и не может считаться отсталым. Если «Запорожец» прошел незамеченным в нашей литературе, то это объясняется тем, что автор, под видом рассказа старого атамана о своей прошлой жизни, вставил в рамки русской исторической повести совершенно чуждое ей и едва ли не переводное сочинение какого-то иностранного романиста, исполненное искусственных эффектов, чем окончательно нарушил общий характер повести.

## XXII

Шестая и последняя повесть, напечатанная в числе так наз. «Новых повестей», а именно «Заморский принц», написана в драматической форме и скорее может быть названа комедией, чем повестью <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Комедия эта переделана автором из его собственной «вставной» повести «Заморский принц», помещенной в четвертой неизданной части «Российского Жилблаза».

Она принадлежит к наиболее самобытным произведениям Нарезного и, несмотря на нелепость сюжета с нынешней точки зрения, многословие и слабые места, заслуживает особенного внимания как со стороны рельефно набросанных характеров, так [и] комизма положений и живости действия:

Пан Златницкий, богатый малороссийский помещик, кичится своими предками, из которых многие были гетманами; он выставил их портреты в особой комнате, которую назвал «заветной палатой», и никому не позволяет вступать в нее без особенного дозволения. Он настолько проникнут собственным достоинством, что, получив от губернатора письменный выговор за бесцеремонное отношение с крестьянской собственностью на охоте, приходит в негодование и считает это «неслыханной дерзостью» относительно себя, потомка гетманов.

У пана Златницкого живет племянница Наталья, за которую сватается сын соседа, капитан Алексей Прилуцкий; но потомок гетманов объявляет, что не иначе выдаст племянницу как за принца или, по крайней мере, за князя. Ввиду такого решения отверженный жених выдает себя за заморского принца, но сам не показывается, а через посла сватает Наталью. Пан Златницкий, польщенный такою честью, с гордостью объявляет своему соседу, отставному майору Прилуцкому, отцу Алексея, что весть об его решении выдать племянницу за принца или князя разнеслась в иностранных землях, и Бог послал ей достойного жениха.

Во втором действии представлен съезд свадебных гостей. Посол принца, от имени своего повелителя, просит пана Златницкого отпустить Наталью в церковь для сочетания браком с светлейшим принцем. Златницкий несколько раз пытается отвечать, но безуспешно.

1-й гость (Судья). Возможно ли? какая честь!

2-й гость (Городничий). Отроду подобного не видывал, да и во сне не грезилось.

3-й гость (Исправник). Не в коня корм! не по нашему, — слова сказать не умеет...

Наконец, майор Прилуцкий выручает соседа и вступает в беседу с послом, который в хвастовстве не уступает Хлестакову в Гоголевском «Ревизоре» и рассказывает всякие небылицы о богатстве и могуществе Заморского принца. Гости с умилением слушают его. Пан Златницкий велит призвать племянницу, после чего все удаляются в церковь, кроме самого хозяина и майора Прилуцкого.

Третье действие начинается монологом дворецкого, который бранит своего господина, пана Златницкого, за его затеи и пророчит, что от свадьбы Натальи с Заморским принцем нечего ждать добра. Входят: судья, городничий и исправник. Дворецкий тайно объявляет им, что Заморский принц



большой колдун и чародей и что в церкви он, ввиду народа христианского, начал оборачиваться. Слушатели поражены неожиданностью. Судья и городничий обращаются к исправнику, так как дело происходит в уезде.

Исправник (весело)... Когда так, то мы, по силе данной нам инструкции, знаем, как поступить в таком казусном случае

Городничий. Крайне жаль, что это произошло в уезде, а не в городе! Право, и я не новичок в своем деле, и — самого злого оборотня умел бы так выворотить, что вся правда высыпалась бы из карманов. Жаль, истинно жаль!...

Исправник. Мы и сами езжали и учиться ни у кого не станем! Слава тебе, Господи!

Судья. Все же без меня не обойдется дело. Вы не больше, как следователи, я же по благости Господней — судья...

Дворецкий. Милосердные господа! Вы забыли, что не с нами грешными будете иметь дело. Представьте, что вы должны будете ратовать с принцем, у которого одна свита может всю эту деревню поставить вверх дном, хотя бы он сам и не был чародеем.

Городничий. И впрямь! Мы о свите его совсем не подумали...

Судья. Ты, друг мой, нас пугаешь. Почему тебе знать, что принц в самом деле колдун?

Городничий. И подлинно, не пустяки ли?

*(Входит пан Златницкий с майором Прилуцким).*

Златницкий. Что, дорогие гости? Весело ли проводите время в ожидании молодых? Нет ли от них верхового вперед?

Судья. Позволь, любезный сосед, рекомендоваться тебе снова. Буде ты замолвишь у племянника твоего за нас словечко, то мы пресчастливые люди, мы, — т. е. я, судья, городничий и справник.

Златницкий. Надеюсь на меня, как на соседа и приятеля. Все, все, что только могу, готов сделать в вашу пользу. А в чем дело?

Судья. Прежде дай обнять тебя и нижайше поздравить. *(Обнимает его).*

Городничий. С неописанною честью! *(Обнимает.)*

Исправник. С полной властью! *(Обнимает).*

Златницкий. Господа! Бога ради, уймись! Помилуйте, что с вами сделалось. *(Он бежит вдоль и поперек горницы; они его преследуют, кто кланяясь, кто нарываясь обнять его.)* С чем вы меня поздравляете? Вам уже известно все и вы меня поздравляли. Что еще за новость?...

Судья. Ах, Боже мой! Так ты ничего больше не знаешь? Возможно ли! Совсем ничего?

*(Все трое устремляются к нему с распростертыми объятиями. Устрашенный Златницкий отступает, отмахиваясь чубуком).*

Прилуцкий *(становится между ними)*. Клянусь честью майорскою, не позволю душить моего соседа... Говорите, господа, свои новости, хотя все трое вместе; я буду отвечать за соседа; видите, он едва дышит.

Судья. Изволь! Как ты думаешь, кто теперешний муж его племянницы?

Прилуцкий. Что за вопрос? Без сомнения, принц Заморский!

Городничий. Вот то-то!

Судья. Не мешайтесь, господа, до времени; ведь я еще не смешался. — Ну, пан Прилуцкий, так только что принц?

Прилуцкий. Так что же тебе больше?

Судья. То-то и штука, что мы кое-что и больше знаем! Этот принц мало того, что принц Заморский; но он сверх того — слушайте внимнее! — великий колдун!

Городничий. Чародей!

Исправник. Оборотень!

*(Прилуцкий и Златницкий пятаются назад. Молчание).*

Судья. Что теперь скажете?

Прилуцкий. Что за бесовщина. Не даром, когда я садился на коня для поездки сюда, две проклятые вороны страшно каркали над моей головой. Тогда же подумал я, что это не даровое...

*(Входит толпа гостей мужчин и женщин; затем является посол принца и объявляет, что обряд бракосочетания кончен и что молодые скоро придут. Слышны выстрелы и звуки рогов.)*

Прилуцкий (*тихо*). Сколько я ни храбр, а должен сознаться, что лучше бы сделал, еслиб теперь сидел в своем хуторе. Кто же знал, что в этом христианском доме встречу принца, а притом колдуна и оборотня.

Златницкий (*со вздохом*). Пан Прилуцкий! Не оставь соседа своего и друга в эту решительную минуту! Где бы мне приличнее стать? — здесь? а? или здесь? — Ну, сказывай...

Наконец новобрачные возвращаются из церкви; пан Златницкий поражен не менее гостей, узнав в особе Заморского принца отверженного жениха Натальи, Алексея Прилуцкого. Хотя потомок гетманов глубоко возмущен браком племянницы и объявляет, что «ему надобно умереть от стыда», но тем не менее, уступая убеждениям майора Прилуцкого и остальных гостей, он заключает новобрачных в свои объятия.

При чтении этих наиболее характерных выдержек из комедии «Заморский принц» нельзя не заметить, что она напоминает Гоголевского «Ревизора», но в такой слабой степени, что мы не беремся определить, в чем именно заключается сходство. Между тем оно частью проглядывает в общем ходе пьесы, отчасти в отдельных, преимущественно внешних чертах. Неизвестно, было ли это делом простой случайности, или Гоголь в данном случае находился под впечатлением вышеприведенной комедии, так как мог читать ее еще в юности. [мне — это известно! ещё одно свидетельство мародёрства; украдена интонация]

В настоящее время сравнение наивной комедии Нарезного с «Ревизором» Гоголя едва ли возможно, равно как и нынешние требования критики не могут в одинаковой мере применяться к обоим писателям. О сочинениях Нарезного мы можем судить только по связи их с предшествующей, а не с последующей литературой, уже достигшей известной степени развития; и при этом не следует упускать из виду крайне невыгодных и, так сказать, исключительных условий его писательской деятельности.

Гоголь, разумеется, как художник был неизмеримо выше Нарезного [врётся! идёшь на поводу у черни; он — не то что ниже Нарезного, он бездарен], но он выступил со своими первыми юношескими произведениями при самых благоприятных условиях, в пору полного расцвета русской литературы [хватанула!], готовой формы и выработанного слога [да где же слог у Гоголя?!]. Он сразу попал [втёрся!] в круг первоклассных писателей и образованнейших людей того времени, которые были непосредственными критиками и ценителями его сочинений. Не подлежит сомнению, что они в значительной мере способствовали развитию таланта Гоголя и даже, быть может, отчасти той почти болезненной добросовестности, с какой он относился к задачам своей литературной деятельности и произведениям своего пера. Напротив того, Нарезный по выходе из московского университета очутился в чуждой для него чиновничьей среде, вдали от остального литературного мира, вне всякого, а тем более благотворного влияния. Вследствие того он остался одиноким в литературе, со всеми хорошими и слабыми сторонами самоучек, которые видны в недостаточной отделке его романов и повестей, подчас отсутствии чувства меры, вы известной грубости выражений и даже цинизме [вздор!]. Если Нарезный в последние годы своей жизни, — как мы узнаем из краткой биографии, составленной его сыном (55), — «любил читать вслух свои произведения», то читал их в тесном кружке приятелей, чиновников, которые могли быть плохими судьями в литературном деле. При этих условиях произведения Нарезного должны были неизбежно явиться перед публикой в необработанном виде, а произведения Гоголя — в такой же мере художественными и законченными [постыдный вздор! «законченными» в их беспомощности!].

Таким образом, в применении к Гоголю и Нарезному, как нам кажется, едва ли может *прямо* поднят вопрос о подражании и заимствовании, а скорее — следует признать большую или меньшую степень влияния отжившего писателя на его непосредственного преемника в известном роде литературы. Этого влияния нельзя поставить в упрек Гоголю, так как оно не касается его самобытного творчества. Такое влияние двух других сочинений Нарезного, а именно «Запорожца» и «Бурсака», отразилось на «малороссийских» бытовых и исторических повестях Гоголя, равно как устаревший [дура набитая!] роман «Два Ивана, или Страсть к тяжбам», помимо содержания, напоминает в известных сценах и описаниях гоголевскую «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

### XXIII

Роман «Бурсак», наиболее известное из произведений Нарезного, вышел первым изданием в 1824 году. В нем, как и в «Российском Жилблазе», мы видим положительный поворот от подражательного романа к самобытному, так что и в этом отношении, помимо других его достоинств, «Бурсаку» принадлежит видное место в русской литературе.

В «Бурсаке», романе полубытовым и полуисторическом, мы встречаем вполне самобытные, принадлежащие автору сюжеты, характеры, сцены и типы, а с другой стороны законченные исторические картины и мастерское изображение известных моментов из прошлой истории [!] Малороссии. Здесь Нарезный впервые представляет действительное, а не фантастическое описание старинного малороссийского быта гетманских времен со всей тогдашней обстановкой. Историческая и бытовая часть тесно связаны между собою; и эта связь является без каких-либо натяжек и видимых усилий со стороны автора.

Что касается содержания, в сравнении с предшествующей романической литературой, то в «Бурсаке» новым является и самый тип главного героя Неона, в лице которого Нарезный впервые вывел в русском романе настоящего малороссийского бурсака, наивного и добродушного, но проникнутого гордым сознанием своей учености. Автор подробно описывает условия его воспитания, сначала у сельского **дьяка**, затем в бурсе, вследствие чего изображенный им тип становится еще рельефнее и как бы воскресает перед читателем.

Первым воспитателем Неона является его приемный отец, дьячек Варух, который начинает учить его с раннего детства и с таким успехом, что ученик в двенадцать лет читал и писал не хуже его и пел на клиросе на все восемь гласов». Но Варух, не желая обречь своего питомца на жалкую участь сельского дьячка, решается отдать его в Переяславскую семинарию, в надежде, «что со временем, с Божьей помощью, он займет завидный пост диакона в каком-нибудь селе». Но так как для приема нужна была протекция, то Варух, по прибытии в город, на занятый рубль устраивает попойку для ректорского келейника отца Паисия, при посредстве которого Неон был тотчас же принят в семинарию и очутился в бурсе, где бедные иногородние ученики имели даровое помещение.

Далее следует превосходное описание старой малороссийской бурсы, с ее своеобразными порядками и уставами, которое принадлежит к лучшим описаниям этого рода и до сих пор не утратило своего бытового и исторического значения. Автор так близко знаком со всеми подробностями обстановки и внутренней жизни бурсаков и так живо и наглядно передает их, что, по всем вероятностям, до поступления в московскую гимназию он сам учился в семинарии и провел некоторое время в бурсе, где, помимо воспитанников духовного звания, помещались так же дети недостаточных дворян. Если наша догадка справедлива, то от лица героя романа, бурсака Неона, автор передает свои личные впечатления при поступлении в бурсу, где на первых порах все поражает и вызывает на размышления.

При выходе в свет романа «Бурсак» в 1824 году большинство русской публики впервые получило наглядное представление об устройстве малороссийской бурсы и характере семинарского воспитания. Телесные наказания в тогдашней семинарии, как и в позднейшей бурсе, описанной Помяловским, составляли существенную часть воспитания, которое, по понятиям семинарского начальства, должно было развить в учениках «терпение и послушание, — добродетели, необходимые для всякого человека, а особливо для готовящего себя в духовное звание». Обитатели бурсы, в свою очередь, настолько свыклись со всякого рода истязаниями со стороны преподавателей и старших товарищей, что считали их «пустяками, не заслуживающими внимания», и утешали себя мыслью, что «количество полученных ударов приближает каждого к лестной цели быть диаконом или попом». О развитии нравственных качеств кроме «терпения и послушания» никто не заботился; и семинарское начальство смотрело сквозь пальцы на способы пропитания вечно голодных бурсаков, если их бесчинства не переходили известных пределов. Помимо открытого добывания припасов посредством пения духовных песен под окнами горожан и произнесения речей бурсаки пробавлялись ограблением чужих огородов и садов. Тот и другой способ, изображенный впоследствии в малороссийских повестях Гоголя, подробно описан в «Бурсаке» Нарезного, где, между прочим, приведен случай грабежа в саду женского монастыря, заслуживший повидимому примерное наказание. На следующее утро пойманного бурсака Сарвилу с связанными руками привели в приемную комнату семинарии, где «в полукружии сидели: ректор, префект, келарь, игуменья, дьяконша, несколько монахов и монахинь... Начался допрос и продолжался немало время», после чего виновный осужден на изгнание из семинарии...

В то время, как в переяславской семинарии происходили описываемые события, во всей Малороссии все более и более усиливалось политическое брожение:

«Сперва тайно, а потом и явно начали говорить на базарах и в классах семинарии, что гетман принял твердое намерение со всею Малороссиею отторгнуться от иноплеменного владычества Польши и поддаться царю русскому. Такие слухи более и более усиливались и доводили поляков до неистовства. Ста-

рый киевский воевода принял деятельнейшие меры воспротивиться такому предприятию гетмана, низложить оное и еще более поработить Малороссию. Гетман тайно начал готовить войска.

В таком [неточная цитата] сем положении были дела народные, и всякий, кто только имел какую-нибудь собственность, принимал в них живейшее участие. Последний казак, у коего ничего не было, кроме плохой свиты и сабли, с презрением смотрел на нарядного поляка, и в шинках нередко доходило до поволочек...» (стр. 57, ч. I изд. 1836 г.).

После этой исторической вставки, из которой читатель узнает о времени описываемых событий, автор снова возвращается к бурсе и рассказывает о несчастье, постигшем его героя. В один зимний день бурсак Неон на обратном пути из классов в бурсу неожиданно встречает пастуха из родного села, который сообщает ему, что приемный отец его, дьячек Варух, после бывшего с ним случая лежит при смерти и желает проститься с ним.

— «Случая? — вскричал я, — случай, или судьба, или что мы, ученые, называем *fatum turcicum*.

— «Провались ты с твоею латынью, — сказал сурово Вакх [имя пастуха; неточная цитата], — идешь ли ты к умирающему отцу или нет? Теперь не лето; если запоздаем, то достанемся на ужин какому-нибудь голодному волку...»

Эти слова остановили поток бурсацкого красноречия. Неон, заручившись дозволением ректора и теплым платьем, быстро окончил сборы, после чего оба молча двинулись в путь, не пропуская шинков, стоящих у дороги. Наконец, когда все купленные булки были съедены, Неон вступил в разговор с своим спутником и начал расспрашивать его о причине внезапной болезни дьячка Варуха., пересыпая речь учеными выражениями и мифологическими именами. На все вопросы пастух отвечал упорным молчанием и только тогда удовлетворил любопытство бурсака, когда этот, потеряв терпение, спросил его простым языком: «отчего отец мой сделался болен и близок к смерти?»

Из слов пастуха оказалось, что охмелевший дьячек взобрался на колокольню, чтобы перекричать звон деревенского колокола своим громким голосом, за что и был сброшен с лестницы звонарем и находился при смерти от полученных ушибов.

«Вот какова жизнь человеческая [неточная цитата]

«— Вот какова жизнь человеческая, — примолвил Вакх со вздохом, — живи, живи, да и умри! Что, господин студент, не поворотить ли нам направо по этой утопанной дорожке?»

— А куда ведет она?

— Разве не видишь там, подле лесу, большой хаты? Это шинок, и в нем всегда можно найти преизрядное вино. Если ты, по примеру всех бурсаков, путешествуешь без лишней копейки и от подати, заплаченной Матридии, ничего не осталось, так пастухи в сем случае догадливей. Пойдем-ка!»

Неон охотно последовал приглашению и «чтобы доказать, что не все бурсаки одинаковы, оставил в шинке половину злого».

Благодаря таким остановкам путники уже в глубокие сумерки дошли до хаты Варуховой. Умирающий дьячек с умилением обнял приемного сына и велел сесть у ног своих, а затем распорядился, чтобы пастух вместе с старым батраком приготовил сытный ужин.

«К вам придет также, добавил Варух, и пользующий меня знахарь. Не забудь припасти хорошую меру пеннику. Хочу, чтоб всего довольно было. Надобно, чтоб эта ночь, которая может быть есть последняя в моей жизни, проведена была сколько можно веселее. Дни прошедшие, о коих имел я время размыслить теперь обстоятельнее, текли не очень хорошо, не очень худо, и за то да будет препрославлено имя Господне!»

Пастух с заметным удовольствием удалился, чтобы «заняться делом полезнейшим, чем слушанием последних слов дьячка Варуха», который, окончив беседу со своим питомцем [выпущена самая интересная и выразительная сцена!], отправил его на кухню ужинать с остальной компанией. Ужин продолжался «до вторых петухов; а тут, вздумав успокоиться, зашли все поведать о немощном, — Варух уже оледенел!»... (стр. 58-70, I).

Так же реально и просто писаны автором похороны Варуха и непритворное горе осиротевшего бурсака, который, продав имущество покойного, отправился в Переяславль. Дорогой, когда он поравнялся с тропинкой, ведущей к знакомому шинку, «ему показалось, что он все еще очень печалится» и что вино рассеет его горе. Но вместо ожидаемого утешения он почувствовал себя еще несчастнее и настолько опьянел, что несмотря на сильный мороз и вьюгу вышел в полночь из шинка, чтобы продолжать путь, и сбился с дороги. Чем дальше, тем лес становился гуще, а снег глубже; он должен был чаще останавли-

ливаться для отдыха и мало помалу начал выбиваться из сил... Уже рассвело, когда он вышел из лесу, и необозрима снежная равнина представилась его глазам. Он сделал усилие, чтобы поддаться вперед, но упал без чувств на снежное ложе; и был поднят проходившими охотниками.

Далее рассказ становится менее выдержанным [?] и представляет смесь небывалых приключений с изображением действительности, как, например, изображение жизни бурсака в доме богатого малороссийского помещика **Искутария** [правильно: Истукария], который пригласил его для надзора за своим шестнадцатилетним сыном (ч. I, стр. 104-119). Автор немногими словами рисует характер помещика, его жены и отношения бурсака к своему воспитаннику, которого он считает «лентяем и повесою», но утешается мыслью, что «его глаза не отцовские, и какая ему до того нужда? Довольно, что родители не могли им налюбоваться». К тому же в доме помещика жила его дочь Неонилла, молодая вдова, воспитанная в Киеве, веселая и обходительная, которая сразу пленила сердце бурсака и сама увлеклась им. Влюбленные сходились ночью в садовой беседке для нежных свиданий, которые становились все чаще и вскоре были обнаружены. Бурсак, во избежание гнева оскорбленного родителя, должен был искать спасения в бегстве.

Но судьба печется о безопасности героя романа, который остается невредим среди всевозможных приключений, женится тайно на своей возлюбленной и находит богатых покровителей, которые щедро снабжают его платьем и деньгами. Он спокойно пользуется даровыми благами, не размышляя о причине такой заботливости о нем посторонних людей и, по совету одного из своих покровителей, едет в казацкую столицу Батурин искать службы у гетмана ввиду предстоящей войны.

### XXIII

Вторая часть романа «Бурсак» носит по преимуществу исторический или, вернее, историко-бытовой характер и переносит читателя в Батурин, где происходит торжество по случаю дня рождения престарелого гетмана. На торжестве присутствует и бывший бурсак:

«Пришед в соборную церковь, он увидел чрезмерное стечение народа... Место, где становился гетман, устлано было богатым ковром и осеняемо сверху покровом малинового бархата с золотой бахромой и такими же кистями. Вскоре суетливость духовенства и народа возвестили прибытие великого гетмана. Молчание распростерлось повсеместно. Сначала показалось около полусотни телохранителей, одетых в богатые черкески; они преследуемы были важными чиновниками в блестящем убранстве, за коими шествовал державный старец. Стопы его были медленны... Шествие заключалось знатнейшими гражданами Батурина и других городов Малороссии... По окончании богослужения гетман он вышел из храма тем же порядком, как и вошел». У крыльца церковного «подвели ему богато убранного коня; он сел и, окруженный телохранителями, медленно возвращался в свои палаты и пушечном громе и колокольном звоне»... (стр. 5-7, II).

Это описание уже потому заслуживает внимания, что принадлежит романисту сравнительно более близкому по времени к гетманской эпохе. Все детство его прошло в Малороссии, где еще свежи были предания о Богдане Хмельником, и где он имел возможность слушать от очевидцев рассказы о последних гетманах, которые, несмотря на потерю власти, в церемониале и внешней обстановке вполне придерживались старины и обычаев своих предшественников. Этим также мог воспользоваться Нарезный и, без нарушения исторической правды, перенести окружавшую их обстановку во времена Богдана Хмельницкого. Только при близком знакомстве с характером эпохи мог он усвоить все подробности старого казацкого быта и соблюсти в такой степени верность общего колорита, которая составляет отличительную черту всей исторической части романа. Это можно отнести и к следующему описанию завтрака в гетманском дворце.

В ближайший воскресный день бурсак Неон снова увидел гетмана в церкви и, по окончании богослужения, должен был идти по следам его, так как получил приказ явиться во дворец.

[неточная цитата] «Гетман с приближенными своими удалился во внутренние покои, а Неон остался в огромной комнате, где множество знатных людей, малороссиян, черноморцев и поляков, в блестящих одеждах взад и вперед разгуливали. Иные были веселы и молили всякий вздор; другие задумчивы и неохотно отвечали на делаемые вопросы; третьи, попарно или по три человека, отошед в угол, шептались меду собою; четвертые — казавшиеся совсем без характера и занятия — похаживали важно по комнате, смотрелись в зеркала, закручивали усы, полуобнажали сабли и явно всем рассказывали, каких трудов им

стоило изучить искусство биться на пединках, за то и сделались они совершенными наездниками. Между тем придворные служители набрали большой стол и устали водками, винами и разными кушаньями. Все многолюдство обратилось к сему привлекательному предмету. Один Неон, не смея даже шевельнуться, и подавно не осмеливался приблизиться к цели общего обольщения, а стоял у окна, как на горячих угольях»...

В это время в комнату вошел Куфий, любимый шут гетмана, и обратил на себя общее внимание. Все знали, каким влиянием он пользовался у своего господина, и, встретив его радостными восклицаниями, стали спрашивать о здоровье и расположении духа гетмана. Куфий отвечал нехотя на предлагаемые вопросы и в свою очередь спросил: «Кто этот молодой казак, у окна стоящий, и почему не пригласите вы его к завтраку?»

— «Это», сказал пожилой польский сановник, «повидимому какой-нибудь малороссийский шляхтич, который приехал ко двору предложить посильные услуги, лишь бы его одели, дали клячу и кусок черного хлеба».

«Все не мешает, пан Казимир», сказал Куфий: «пусть он и нищий дворянин, но как скоро Господь Бог сподобил его вобраться в чертоги своего гетмана, то не должен он выйти из них с засохшим горлом и пустым желудком. Ах! Сколько наш старый простак Никодим питает польской саранчи, которая за его же хлеб-соль над ним издевается и строит козни!»... (стр. 10-13, II).

Эта сцена, очевидно вымышленная, является исторически вполне правдоподобной ввиду давней вражды малороссиян с поляками, которая должна была еще более усилиться накануне отложения Малороссии. Равным образом и описание пестрой толпы гостей за гетманским завтраком в такой же степени соответствует действительности и носит местный колорит, так как двор малороссийских гетманов за все время своего существования состоял из самых разнородных элементов.

Что касается чисто фактической стороны, то Нарезный, пользуясь правом исторического романиста, только в общих чертах придерживается исторических событий, а в изображении исторических лиц и их семейных отношений дает слишком большой простор своей богатой фантазии; вследствие чего, быть может, Богдан Хмельницкий является под именем Никодима [может, это имя, придуманное шутом и ему одному позволенное?], а равно и его приближенные названы вымышленными именами. Но и здесь, несмотря на фантастичность рассказа, история непокорной дочери Никодима представляет интерес со стороны верного понимания исторической эпохи и верного изображения местных и бытовых условий. Таким образом с историко-бытовой стороны автор нигде не изменяет своей задаче, а тем более на страницах, где фантазия его является более обузданной, и он касается событий повседневной жизни.

К таким страницам во второй части «Бурсака» можно отнести описание службы бывшего бурсака при дворе гетмана, его производство в есаулы, а затем в сотники, и крестины его новорожденного сына, так как гетман, в виде особенной милости, вызвался быть крестным отцом ребенка и поручил исполнить за себя эту церемонию одному из полковников (стр. 19-40). Далее следует описание войны, которое принадлежит к лучшим романическим описаниям этого рода, тем более, что автор хорошо знаком с местностью, где протекают военные действия. Здесь историческая верность заключается не в частности, а в верном изображении общего характера тогдашних войн поляков с казаками, типичных черт обоих народов и бесчеловечного обращения с евреями, которые у тех и других неизменно исполняли роль шпионов и нередко предавали ту или другую сторону из-за выгоды или иных соображений.

Неон, как и подобает герою романа, с самого начала военных действий **оказывает** чудеса храбрости, спасает старого гетмана из плена, а затем от верной смерти во время рукопашного боя с поляками, получает несколько ран, после чего отправлен на излечение в хутор, принадлежащий одному полковнику. Между тем прежние покровители Неона не перестают заботиться о нем и по окончании войны напоминают о совершенных им подвигах гетману, который, несмотря на молодость героя, решает возвести его в почетное звание воинского старшины. Бывший бурсак крайне польщен таким почетом, который приписывает исключительно своим заслугам, и, нарядившись в присланное ему богатое золотистое платье, «сообразное с его новым достоинством», спешит во дворец благодарить гетмана за оказанную милость.

[даю точную цитату вместо неточной]

«Вошед в приемную палату, я возбудил всеобщее движение. Все обступили меня с приветствиями, поздравлениями. Иной удивлялся необычайным моим достоинствам, другой — чудесному счастью; сей превозносил великость моего разума, доказанного освобождением гетмана из плена, а тот отдавал пре-

имущество сверхъестественному мужеству, с каким поразил я пана Бурлинского и тем сохранил на плечах гетманову голову. Словом, на сей раз все сделались самыми красноречивыми витиями, и я начинал уже принимать важную осанку витязя, кидать вокруг величественные взгляды и несколько пасмурно кивать головою, — как пришел в себя, услыша, что отходившие в сторону поздравители, говоря между собою вполголоса, довольно явственно произносили: «Настоящий бурсак!» Как скоро сие магическое слово коснулось моего слуха, вдруг я с превыспренного неба ниспал на землю бrenную, на одну минуту задумался и после, неприметно вздохнув, сказал самому себе: "Vanitas vanitatum et omnia sunt vanitas!"... (стр. 119-120, II).

Вскоре Неон испытывает новое огорчение, еще более чувствительное для него, чем уязвленное самолюбие. Пан Искутариий [правильно: Истукариий], который не мог простить своему непрошенному зятю похищение дочери, подал на него жалобу гетману и требовал примерного наказания. Гетман, в качестве судьи вновь назначенного войскового старшины, принял его среди торжественной обстановки, усвоенной в подобных случаях, и сурово начал допрос, так как не забыл такой же истории, бывшей с его собственной дочерью, и сочувствовал негодованию оскорбленного отца. Тем не менее суд кончается в пользу обвиняемого благодаря заступничеству Куфия и присутствовавших полковников; и приводит к неожиданному открытию, что бывший бурсак — родной внук гетмана и сын его непокорной дочери, некогда найденный в лесу сельским дьячком Варухом.

Затем роман становится все более и более неправдоподобным и кончается общим благополучием, так как Нарезный, за исключением сентиментальной повести «Мария», большею частью следовал примеру своих предшественников и не любил оставлять читателей под тяжелым впечатлением несчастья главных действующих лиц романа.

Из вводных эпизодов романа, со стороны самобытности и реализма, заслуживает внимания краткий очерк быта так наз. «плащеватых цыган», очевидно, хорошо знакомых автору по воспоминаниям детства (стр. 294-298, II). Затем, в первой части романа особенно удачной кажется нам встреча Неона с *шляхтичем* и следующая за тем общая характеристика шляхты (стр. 143-145).

Кроме того в первой части «Бурсака», в виде вводного эпизода, не имеющего непосредственной связи с главной нитью романа, вставлен цельный вполне реальный рассказа бывшего бурсака Сарвилы, который после изгнания из Переяславской семинарии за ограбление монастырского сада очутился «под открытым небом, без гроша денег, с небольшим запасом булок и плодов, данных ему из милости на дорогу». Положение его было самое безвыходное, так как единственный известный ему способ честного зарабатывания хлеба посредством пения духовных песен под окнами мира был теперь закрыт для него. С другой стороны семинарское воспитание не дало ему никаких твердых нравственных правил для борьбы против искушения в голоде и нужде; и он пользуется первым удобным случаем, чтобы украсть церковные деньги, хотя этот первый шаг на новом пути до известной степени мучителен для него:

«Сошед с паперти, рассказывает он, я бросился бежать со всех ног. Колена подгибались, в ушах звенело, в глазах мерещилось; мне казалось, что преподобный Вавила гонится за мною. Так мучит совесть при соделании первого преступления; при втором разе она вопиет менее внятно; при третьем еще менее, а там мало помалу совсем замолкает»...

Справедливость изречения бывшего бурсака Сарвилы подтверждается его дальнейшими похождениями. Он становится все менее и менее разборчивым в способах добывания денег и средств для жизни и под конец поступает в шайку разбойников (стр. 218-261, I).

Такой исход, возможный при указанных условиях, является тем более естественным в описываемые времена, при безурядице, господствовавшей тогда в Малороссии, где разбойники почти безнаказанно грабили по дорогам и даже нередко целыми ватагами нападали на селения. В случае неминуемой опасности им всегда был открыт доступ в Запорожскую Сечь, «эту чудовищную, по выражению автора, столицу свободы, равенства и бесчиния всякого рода», где каждый беспрепятственно получал права гражданства... (стр. 325, II).

В представленном здесь разборе «Бурсака» мы выделили, согласно нашей задаче, самобытные места романа, составляющие его лучшую и наибольшую часть и только мимоходом коснулись остальной подражательной части, которая по содержанию напоминает старые отжившие романы с «приключениями».

Самобытная сторона «Бурсака» по выходе его в свет обратила на себя внимание и современной критики, как видно из рецензий, появившихся в журналах 1824 года, что, с одной стороны, свидетельствует о достоинствах романа, а с другой — показывается, сравнительно с прежним, большую

степень понимания и развития русской критики. Так, рецензент журнала «Литературные листки» 1824 (ч. IV, стр. 49), указывая на тот факт, что современная русская литература небогата оригинальными романами, замечает, что «Нарежный едва ли не один занимается этого рода сочинениями и в его произведениях видно много ума, много воображения... рассказ «Бурсака» жив, завязка занимательна, изображение Малороссии и запорожских нравов верно...» Но при этом рецензент упрекает Нарежного в недостатке чувства изящного и того познания светской жизни и высшего класса общества, какими отличаются современные иностранные писатели: «У Нарежного, говорит он, вельможа и корчмарь говорят одним наречием; и все свои наслаждения полагают в пиршествах и попойках. Все его картины принадлежат к фламандской школе и дают ему право на славу русского Теньера [David Teniers the Younger]. Кроме того Нарежный употребляет много слов и малороссийских выражений, непонятных для русского... Слог его везде правилен, — смешение простонародных и самых высоких выражений...»

Еще более характерные отзывы о «Бурсаке» помещены в 27-ой части журнала «Благонамеренный» 1824 года. В одном из этих отзывов (стр. 215-216) рецензента «Бурсака» самым лучшим из всех вышедших на русском языке оригинальных романов, несмотря на многие небрежности и погрешности против вкуса. «Любители приятного чтения, говорит он, найдет здесь весьма занимательные происшествия и необыкновенные характеры, мастерски изображенные верным наблюдателем. Сверх того в этом истинно самом лучшем у нас и можно сказать *историческом* романе — изъяснимся языком наших романтиков, — очень много *местности и народности*».

Другой рецензент журнала «Благонамеренный» того же 1824 года (ч. 27, стр. 274-282) по поводу «Бурсака» касается общего положения тогдашней романической литературы: «Русский оригинальный роман, говорит он, *есть необыкновенное явление в нашей словесности*, несмотря на то, что у нас около полутора тысяч романов по каталогам наших книгопродавцев, — но большая часть переводы. Русских же оригинальные едва наберется сто романов и те, за небольшим исключением, можно причислить к самым плохим переводам. Жалеть о том бесполезно! Утешимся надеждою на будущее: может быть и у нас появятся свои Фильдинги, Лафонтены и Скотты, — а до того времени предлагаем любителям чтения новый роман Нарежного «Бурсак»... и ручаемся, что многие прочтут его с удовольствием... Характеры действующих лич отненены превосходно, — особливо характер гетмана. Всего любопытнее в этой повести место происшествия... Малороссия, обычаи малороссийские, гетманский двор, шдыхетство, сечь Запорожская и пр. — описаны превосходно». Далее рецензент приводит подробные выдержки из романа «Бурсак»; но выражает сожаление, что «слог не везде довольно обработан» и что автор «с излишнею подробностью описывает мелочи, недостойные внимания просвещенных писателей, — беспрерывно появляются на сцену сулеи, чарки, вишневка и пенник. Нельзя также оставить без внимания, добавляет рецензент, что все лица в этом романе имеют необыкновенные имена: Серваилл, Далмат, Неонилла и пр.; даже названия селений весьма странные, — село Глупцово, село Швитково, сельцо Мигуны» и т. д.

Рецензент «Сына Отечества» 1824 года (ч. 97, стр. 97-98), равным образом упрекая Нарежного в недостатке вкуса и плохой обработке слога, придает особенное значение самобытной части романа «Бурсак». У нас, говорит он, почти вовсе нет оригинальных романов не только сочиненных на русском языке, но таких, коими изображены наши обычаи, которые основаны на преданиях русской старины и представляют картины знакомые и близкие русскому читателю. Всякое подобное произведение должно быть принято любителями приятного чтения с особенною благодарностью; — и «Бурсак» принадлежит к сему роду книг... Особенного внимания заслуживают черты малороссийского быта и старых обычаев того края. Сии оригинальные черты, добавляет рецензент, мало-помалу исчезают под *илифровкой* общего просвещения. Желательно, чтобы они до совершенного изгнания сохранены были хотя бы в повестях; и вот почему можем по всей справедливости рекомендовать нашей публике новое произведение Нарежного...»

В 1832 году в «Сыне Отечества» (т. 147, № II, стр. 102-103) опять встречается отзыв о «Бурсаке» под псевдонимом Царынный (А.Я. Остроженко) «Мысли малороссиянина по прочтении повестей пасечника Рудого Панька», где почтенный критик говорит мимоходом о «Бурсаке» и, отдавая должную справедливость таланту автора, особенно хвалит его за верное и мастерское изображение малороссийской бурсы (стр. 194).



В 1825 г. издан был московскими книгопродавцами Ширяевым и Смирдиным новый роман Нарежного «Два Ивана, или Страсть к тяжбам», с портретом автора и следующим посвящением:

Его прев-ству, милостивому государю Ефодору Павловичу Вронченку <sup>1)</sup>:

<sup>1)</sup> Федор Павлович Вронченко (+1852 г.), товарищ В. Нарежного по московскому университету, впоследствии занимавший после Канкринна должность министра финансов с 1840-1850 гг.

«С давнего времени ваше превосходительство никогда не оставляли меня без благосклонного внимания, как скоро прибежал к вам с представлением о своих нуждах. Ласковое великодушие ваше поставляет меня в непремennую обязанность оказать пред вами, по мере возможности, свою благодарность. Посвящая имени вашего превосходительства новое мое произведение под названием "Два Ивана, или Страсть к тяжбам", я ласкаюсь надеждою, что приношение сие вы примете со всегдашним вашим великодушием и тем обяжете меня к новой благодарности. 2-го февраля.»

Роман «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» носит исключительно нравоописательный характер и по содержанию опять-таки настолько отличается от других романов и повестей Нарежного, что может служить новым доказательством разнообразия, а следовательно и силы его таланта. Здесь автор знакомит читателя с бытом старинных малороссийских помещиков средней руки и описывает судьбу трех [?] семейств, разоренных вконец многолетней тяжбой. Поводом к ней служит ничтожный случай; но под влиянием чувства мести и оскорбленного самолюбия страсти обеих заинтересованных сторон разгораются все более и более и доводят их до ожесточенной ненависти, перед которой умолкает голос рассудка, денежные и другие соображения. Таким образом Нарежный не ограничивается описанием подробностей домашнего быта выведенных им действующих лиц и обрисовкою отдельных типов и единичных черт характера, а ставит себе более широкую задачу — изобразить типичную национальную особенность малороссийских нравов.

Сутяжничество, как известно, составляющее издавна отличительную черту малороссийских нравов вообще и, преимущественно, малороссийского «шляхетства», до сих пор держится там во всей силе, как показывает число постоянно возникающих новых тяжбных дел, которые служат немалым бременем для нынешних судов. Для старых судов, с их патриархальным устройством, этого рода дела составляли неисчерпаемый источник дохода, тем более, что тогдашние приказные, в видах кормления не стеснясь брали ту или другую сторону, смотря по степени щедрости «позывающихся». Нарежный, живя до двенадцатилетнего возраста в Малороссии, вероятно, не раз слышал по поводу происходивших в это время тяжб рассказы о прежнем способе ведения их в казацких сотенных и полковых канцеляриях. Приведенные в романе образцы тогдашних канцелярских бумаг едва ли могут быть названы карикатурой, а скорее служат наглядными, хотя, быть может, и преувеличенными образцами старого канцелярского слога и своеобразных судейских решений.

Роман «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» еще рельефнее, нежели «Бурсак», делится на самобытную и подражательную часть. Если в «Бурсаке» талант автора проявляется с большею силою, то самобытная часть все еще выступает как бы урывками и перемежается слабыми подражательными местами [указала бы хоть одно!]. Между тем в романе «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» совершенно отделена от подражательной и носит характер вполне законченного последовательного рассказа, что уже составляет значительный шаг вперед в литературной деятельности Нарежного, а равно и в развитии русского самобытного романа вообще. К самобытной части романа можно отнести весь первый том и начало второго; к подражательной части — весь конец второго и третий том.

Мы изложим здесь в общих, наиболее характерных чертах содержание самобытной части романа и, по возможности, словами самого автора.

Роман начинается с описания грозы под Миргородом, сопровождаемой сильными порывами ветра и проливным дождем. В это время, «и подлинно невеселое», два молодых философа из Полтавской семинарии пробирались лесом по глинистой дороге, останавливаясь почти на каждом шагу, чтобы закрыть руками глаза, ослепляемые блеском молнии, и выжать с усов жидкую грязь, со шляп струившуюся.

— «Вот настоящий Девкалионов потоп, сказал один из философов... Миргородский протопоп не напрасно предсказывал бурю, но ты во всем виноват, друг Никанор. Тебя никак нельзя было уговорить, чтобы остаться в безопасном убежище петь псалмы и стихири и принимать рукоплескания.

— «Твоя правда, Коронат, отвечал другой, — но мне хотелось если не к ночи сегодня, то, по крайней мере, завтра поутру обнять своих родителей, с коими я не виделся целые десять лет»...

Таким образом рассуждая то вслух, то про себя молодые бедняки продолжали путь и в непродолжительном времени увидели вдали кибитку, стоявшую в сажнях десяти от дороги, а под кибиткой нечто весьма толстое, покрытое серным войлоком.

— «Это наверное хозяин укрылся от непогоды, заметил один из них, — вот и пара коней, привязанных к осине.

— «Пойдем же туда, сказал другой, — и усядемся по сторонам сего многоопытного Улисса, не ходящего, подобно нам, под дождем по уши в грязи, а всегда имеющего при себе священную эгиду Минервину, т. е. свою кибитку...

«Они пошли далее, достигли кибитки, сколь возможно тише уселись под нею и, сняв шляпы, начали щипать траву и вытирать ею лица свои. Вскоре дождь и вихрь поутихли, и философы увидели, что войлок пошевелился, послышалась сильная зевота и медленно показались две ноги; затем послышался басистый голос: "ну, что ты?" и еще две ноги выставились.

Студенты всполошились, но недолго пробыли в нерешимости, придвинули к себе страннические посохи, и один пошептал другому что-то на ухо. Они погладили чубы, раздвинули усы и раздув щеки с величайшею отвагою возопили:

— *«Заблудих яко овча погибшая; погна враг душу мою; посади мя в темных, и уны во мне дух мой...»*

— «С нами крестная сила! Что за бесовщина! раздались голоса из-под войлока: он быстро открылся до половины, и двое пожилых мужчин, поднявшись, уселись перед студентами...», которые «не без замешательства опустили взоры в землю и сжали губы».

«Хозяева кибитки и по самой наружности, казалось, были люди степенные и не простые. Они одеты были в синие черкески; у одного висела сбоку сабля, а другой имел за поясом кожаный футляр, в каких обыкновенно приказные грамотеи носили свинцовую чернильницу, несколько перьев, ножик с приделанной к нему печатью и палочку сургучу. Они захотели знать о житьи-битьи незнакомцев, об их роде и племени», и молодые философы, не желая «бесчестить своего шляхетского звания» неопрятным видом, выдали себя за дьячковских детей, которые, пользуясь вакантными днями, расхаживали по хуторам, городам и селам, чтобы пением и речами собрать денег на новое платье.

Хозяева кибитки, в свою очередь, объявили юношам, что они «первостатейные» шляхтичи из большого селения Горьбылей, друзья с отроческих лет, оба называются Иванами и что для различия в посторонних беседах одного из них стали величать «Иваном Старшим», а другого «Иваном Младшим».

— Послезавтра, добавил Иван Старший, в селе нашем ярмарка по случаю для Ивана Купала, и мы оба именинники. Если вы и впрямь честные парни... и согласитесь «повеселить нас и друзей наших пением и сказыванием похвальных речей, то уверяю моею шляхетскою честью, что идти далее и драть горло вы не будете иметь надобности»... И так, студенты, что вы на это скажете?

Мнимые дьячковские дети пришли в немалое смущение от такого предложения, и чтобы объяснить свой отказ, должны были заявить, что они сами принадлежат к шляхетскому званию, не имеют ни в чем нужды и хотят провести наступающий праздник у своих отцов, которые также называются Иванами. При этих словах старые шляхтичи переглянулись и лица их просияли, так как они начали догадываться, что видят перед собою своих возмужавших сыновей, отправленных десять лет тому назад в Полтавскую семинарию, что и подтвердилось дальнейшими расспросами. Когда все достаточно успокоились от радостной встречи и могли продолжать путь, два Ивана решили вернуться домой с дорогими гостями и отложить на несколько дней свою поездку в Миргород, куда они собирались, чтобы «понаведаться о своем деле» с паном Харитоном Занозою.

На следующий день молодые философы узнали подробно, в чем состояло «дело» их родителей в Миргороде, из-за которого они уже десять лет «позывались» с шляхтичем Харитоном Занозою в Сотенной канцелярии, хотя повод к тяжбе был такой же ничтожный, как и в Гоголевской «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Здесь причиною ссоры были кролики, принадлежавшие Ивану Старшему, которые пролезли в сад пана Харитона и произвели там опустошение. Два Ивана, не зная о случившемся, мирно беселовали после обеда в саду Ивана Старшего, как услышали выстрелы за плетневым забором, разделявшим сады соседей, и увидели кучу бежавших к ним кроликов, облитых кровью, а за ними показался шляхтич Ха-

ритон с ружьем в руках в сопровождении своего пятилетнего сына, который нес с полдюжины убитых кроликов.

...«Кто опишет меру нашего негодования и гнева, рассказывал Иван младший. — Что за храбрость показал ты, пан Харитон, вскричал друг мой Иван, и как осмелился так буяннить? Сосед, *не скидывая колпака*, — а надо знать, что мы оба были с открытыми головами — подошел к самому забору и сказал: на сегодняшний ужин дичины довольно, и я сказывал тебе, пан Иван, что если не переведешь сих проклятых животных... то я в скорости всех их доканаю, а сверх того стану позываться. — Ах ты невежа, бурлак! и ты осмелился говорить это военному человеку, не скинув колпака! вскричал друг мой Иван, выдернул кол из забора, взмахнул и колпак взвился на воздух. Но как это сделано второпях, то кол как-то задел соседа по уху, отколе соскочил на висок, сосед полетел на траву, и мы с торжеством воротились каждый в дом свой.

«Вот основа тяжбы, добавил рассказчик. Начались следствия, переисследования, и день-ото-дня дело наше становилось запутаннее. Я, будучи человек приказный, помогал другу своему советами и пером, и за то и самого меня опутало сетью неразрывною... и таким образом во всегдашнем ратоборстве протекло около десяти лет. В течение сего времени с нашей стороны погублены: целое стадо гусей, уток, множество свиней, овец, коз и баранов; за то и у пана Харитона убыло: три пары рабочих волов, две лошади и несколько коров с телятками... Но кто исчислит все убытки, которые одна сторона другой причинила!»... (стр. 27-29, I изд. 1825 г.).

Далее следует описание сельской ярмарки. Два ивана не прежде решились выйти из дому в сопровождении гостей и домочадцев, как получив удостоверение от посланного слуги, что «пана Занозы не видно». Они уже обошли несколько раз ярмарочную площадь и сделали некоторые покупки, как на главной улице показался пан Харитон со всеми домашними и множеством гостей, в числе которых был сотенный писец Анурий и два «подпищика». Противники вскоре сошлись: началась перебранка, за которою следовали палочные удары, а пан Заноза уже схватился за эфес сабли, но писец Анурий удержал его воззванием:

— «Пан Харитон, какая польза, следовательно какая и честь, если ты прольешь кровь человеческую? Кроме убытков, горя, и, наконец, несчастья от этого ничего не будет! Не лучше ли тебе *позываться*? Я с сею челядью моих подпищиков переночую у тебя, а завтра или послезавтра настрочу прошение в Сотенную канцелярию, и все вместе пустимся в город».

Пан Харитон кивнул головою в знак согласия и молча пошел в обратный путь.

На следующий день Иван Младший, в свою очередь, сочинил прошение в Сотенную канцелярию, в котором жаловался на пана Харитона. Прошение это было прочитано Ивану Старшему в присутствии обоих студентов и единогласно признано «премудрым», после чего кибитка была запряжена, оба друга сели и отправились знакомою дорогою «позываться».

## XXV

Пока шляхтичи судились в Миргороде, их жены и дети усердно посещали ярмарку. Молодые философы, одетые в новые платья, важно расхаживали в толпе поселян с затаенною надеждою встретить красивых дочерей пана Харитона, пленившей их сердца во время уличной стычки позывающихся шляхтичей. Но только в последний день ярмарки желание их исполнилось, так как, протеснясь сквозь толпу к скоморохам, они очутились рядом с женой и дочерьми пана Харитона, вежливо раскланялись с ними и с ловкостью городских щеголей вступили в разговор. Эта отрывочная беседа юношей с наивными сельскими красавицами, их дальнейшее настойчивое ухаживание за ними, первые свидания в баштане под прикрытием сумерек, а равно и вся история непосредственной быстро развивающейся любви, усиленной препятствиями, — прекрасно очерчены автором. Здесь мы видим новую черту таланта Нарезного и прямое доказательство, что если бы и с этой чисто романтической стороны он решился идти самобытным, а не подражательным путем, то его произведения, вероятно, не прошли бы незамеченными в нашей литературе. Но вскоре свидания в баштане были прекращены обратным прибытием в Горбыли трех шляхтичей. Оба Ивана вернулись из Миргорода крайне недовольные своею поездкою, проклиная пана Харитона, глупость сотника и плутовство дьяка, который после поднесения ему рубля, кадушки меду и боченка пеннику торжественно обещал им свое покровительство, а затем, получив «кое-что» от пана Харитона, неожиданно перешел на его сторону.

При этих условиях мир не мог быть продолжителен. Новая «пакость», учиненная двумя Иванами их противнику, заключалась в том, что они, вооружившись ружьями, отправились в хутор пана Харитона и истребили там немалое число голубей, до которых он был большой охотник, а сыновья их сверх того сожгли дотла голубятню. Пан Харитон, в свою очередь, отомстил за нанесенный ему ущерб уничтожением пасеки Ивана Старшего, после чего разгневанные паны снова укатили в город, чтобы искать правосудия у Сотенной канцелярии.

С отъездом родителей влюбленные опять увиделись на баштане; и «прекрасные птички так проворно и охотно кинулись в расставленные им сети», что Никанор, сын Ивана Старшего, который был вообще энергичнее своего товарища, решил обратиться к помощи богатого деда, пана Артамона, жившего по соседству. При его содействии дочери Харитона Занозы были тайно обвенчаны с сыновьями его заклятых врагов и с этих пор ничто уже не мешало им наслаждаться своим счастьем. Так прошло около месяца.

...«Новобрачные считали себя преблагополучными людьми, между тем как отцы их, позываясь между собою беспрестанно и делая друг другу возможные пакости, едва ли не были самые несчастные из всего села Горбылей... Несколько раз писали к своим семействам, и сии писания преисполнены были жалоб — то на неправосудие начальства, как-то: сотника, есаула, дьяка и проч., то предавая сугубому проклятию противную сторону. Всякий, однако ж, надеялся взять верх, почитая дело свое правым...» (стр. 90-91, I).

Наконец, сыновья двух Иванов вспомнили о своих злополучных родителях и, чтобы доставить им хотя временное торжество над противником, вызвали из Миргорода пана Харитона ложным известием о пожаре его дома и болезни жены и дочерей. Пан Харитон поспешил домой, но убедившись, что он обманут, напился до бесчувствия, так что семья, считая его умершим, пригласила для чтения псалтыря дьячка Фому, который едва не умер от страха, когда мнимый мертвец очнулся и заговорил с ним (стр. 111-116, I).

Эта сцена, вследствие утрировки, принадлежит к слабым страницам самобытной части романа, но она выкупается дальнейшим, вполне реальным и безыскусственным описанием празднества в доме пана Харитона, прерванного неожиданным прибытием писца Сотенной канцелярии пана Анурия.

...«Все из почтения привстали, а хозяин, ласково обняв гостей, усадил на своем месте и предложил свой кубок с варенухой. Все глядели ему в глаза, ловили каждое слово и хохотали, когда сей глупец улыбался своим выдумкам. [неточная цитата: Когда он вылил в себя три кубка, то, избоченясь, произнес:... на самом деле:] Когда три кубка перелились в его утробу, то он, избоченясь, произнес:

— Что дашь, пан Харитон, за добрые вести, привезенные мною из города? Сам сотник, отдавая мне сей сверток бумаг, сказал: "Поезжай, дружище, и бумаги сии отдай самолично пану Харитону". Из сего заключаю, — продолжал Анурии, -- что они благоприятны, ибо в заключениях никогда не обманываюсь.

[неточная цитата:]

— Понимаю, понимаю! — сказал с улыбкою хозяин и поспешил принести гостю новую шляпу, новые сапоги но глиняную трубку, купленную в Полтаве.»

Пан Анурий принял благосклонно подносимое, с важностью вынул определение Сотенной канцелярии, надел очки и начал читать следующую бумагу, которая по своеобразному способу изложения и содержанию не уступает прошениям Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, поданным в миргородский поветовый суд в Гоголевской повести [содраны Гоголем у Нарезного].

[даю точную цитату:]

"Пан Харитон Заноза жалуется, что паны Ивановы, Зубарь и Хмара, сожгли у него голубятню и с голубями, коих было более двухсот; а паны Ивановы доказывают, что у старшего из них истреблена пасека, в коей было не менее пятидесяти ульев.

Сотенная канцелярия, по долгу своему вникнув в сии обстоятельства, определяет:

1. Предположа, что у пана Харитона при сгорении голубятни погибли все голуби, коих было счетом более двухсот, то есть двести один, то, назнача высшую цену за каждого по полушке, выйдет убытку на пятьдесят копеек с полушкой. Но как паны Ивановы клятвенно уверяют, что в пищу употребили только двадцать птиц, следовательно, настоящего, чистого убытку принесли на пять копеек, прочие же голуби частью разлетелись, частью сгорели. А как никто ни одному голубю не связывал и не обрезывал крыльев, то и прочие могли улететь: итак, они изжарились по доброй воле.

2. У пана Ивана старшего истреблено пятьдесят ульев, и по теперешней поре наполненных сотами. По справочным ценам каждой таковой улей стоит шестьдесят копеек: итак, всего убытку выйдет на тридцать рублей. Исключая из сей суммы пять копеек, пан Харитон причинил пану Ивану старшему истинного убытку на двадцать девять рублей девяносто пять копеек, каковые деньги в течение трех дней и должен непременно выдать писцу Анурию. Для необходимых расходов сотенной канцелярии удержится двадцать восемь рублей девяносто пять копеек, затем остающийся целый рубль имеет быть выдан пану Ивану старшему с распискою" (стр. 130-132, I).

Пан Харитон, не помня себя от бешенства, выхватил бумагу, изорвал в куски и кинул в лицо послу Сотенной канцелярии.

Со всех сторон послышался ропот, но пан Харитон ни на что не обращал внимания, он схватил за ворот пана Анурия, вытащил на двор и, бросив в одноколку, подал ему вожжи в руки. Не довольствуясь этим и двумя подзатыльниками, он поднял с земли березовый сук и начал поражать им то лошадь, то Анурия. Бедное животное, сколько было в нем силы, бросилось со двора на улицу, а пан Харитон туда же выскочил и кричал вслед писцу: «Скажи дураку сотнику и бездельникам членам сотенной канцелярии, что они беззаконники и что я завтра же еду в Полтаву позываться с ними в полковой канцелярии!»...

На другой день пан Харитон выехал из Горбылей в самом невеселом настроении духа, тем более, что узнал от приятелей, что его торжествующие враги вернулись из Миргорода и «подняли такое ликование, как бы сделали и Бог знает какое приобретение. Теперь он более, чем когда-либо, ненавидел их.

Следующее затем описание поджога мельниц в романе Нарезного настолько напоминает по общему тону сцену уничтожение гусяного хлева Иваном Ивановичем в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», что мы приведем это описание словами автора:

Лишь только пан Харитон «очутился на выгоне, то представились ему принадлежащие панам Иванам две ветряные мельницы в полном действии. Он подъехал ближе и остановился. Приехавшие с возами ржи и пшеницы крестьяне, сидя кружком, курили тютюн и рассказывали друг другу чудные были, кому-либо из них на роду приключившиеся; внутри мельницы раздавались веселые завывания мельника. Для всякого другого путешественника сия сельская картина показалась бы забавною; но пан Харитон, смотря на нее, повергся в большую мрачность и дал в духе своем место духу злобы и мщению. Он поехал далее и в первом переселке остановился под предлогом отдыха. Лошади пущены были на траву, а пан и его слуга разлеглись в тени древесной. Мог ли пан Харитон спать спокойно, когда ужасная мысль: "Ненавистные паны Иваны торжествуют!" — ежеминутно раздирала его сердце. Раз двадцать спрашивал Лука, не прикажет ли впрягать кобылу и седлать иноходца, и всегда получал в ответ: "Погоди!" Наконец настали сумерки глубокие, и пан Харитон вскочил с одра зеленого.

— Впрягай кобылу в возок и седлай коня, — сказал он слуге, — и жди меня здесь. Мне нужно на несколько времени отлучиться; но я скоро буду.

Он скорыми шагами пустился — кто не отгадает, куда, — прямо к мельницам. Достигнув своей цели, он не видал уже ни одной души живой. Предварительно собрано им в поле и снесено к обеим жертвам его ненависти множество сухого хвороста, сена, соломы и прочего дрязгу. Потом, высекая огня в трут, положил его в горсть сена и начал со всей силы махать рукою, в коей заключалась сия искра, а вскоре произвел пламя. Тогда, сунув клочок сей под главное мельничное колесо, начал подкладывать собранные им припасы, и когда увидел, что огонь коснулся строения и оно задымилось, то он часть горевших веществ сообщил и другой мельнице и, отошед саженой на сто вперед, остановился, дабы любоваться плодом своей храбрости. Пламень скоро охватил обе мельницы... Пан Харитон, видя, что мщение его в полной мере удовлетворено будет, пошел спокойно к своему становищу» [цитату поправляю] и вместе с Лукою отправился в дальнейший путь.

На другой день утром все в Горбылях узнали «о новой пакости, сделанной панам Иванам», и никто в целом селе не сомневался, что это дело раздраженного шляхтича.

## XXVI

Наступила глубокая осень, но о пане Харитоне не было никаких слухов. Поэтому жена его и дочери сердечно обрадовались, когда в одно утро вошла ключница с известием, что дьячок Фома ожидает их в

большой горнице с письмом из Полтавы. Жена Харитона ласково встретила и попотчевала дьячка, который должен был прочесть им полученное письмо, так как она и обе дочери были безграмотны.

Считаем не лишним привести здесь содержание характерного письма пана Харитона, тем более, что оно служит для автора поводом представить новый тип сельского дьячка, — еще более своеобразного, чем дьячок Варух в «Бурсаке», и изобразить его с свойственным ему [автору] юмором:

"Жена Анфиза и дети: Влас, Раиса и Лидия! Всем желаю здравствовать.

Было бы вам известно, что полтавский полковник не умнее миргородского сотника, а члены полковой канцелярии нахальнее, злобнее, прижимчивее, чем члены сотенной. Возможно ли? Они присудили, чтобы за бесчестие, причиненное мною при множестве свидетелей писцу Анурию, — великое подлинно бесчестие для канцелярского писца получить несколько ударов дубиною в спину от урожденного шляхтича, — заплатил я двести злотых! Да если бы я и до смерти убил негодяя Анурия, то нельзя требовать больше за сие увечье, как разве двадцать или тридцать злотых. Выслушав таковое нелепое решение, я твердо отрекся от исполнения, я твердо отрекся от исполнения, и бездушники определили отдать ему в вечное и потомственное владение мой хутор с крестьянами и со всеми угодыями... Однако ж, чтоб не ударить себя лицом в грязь... теперь же отправляюсь в Батурин, где до последнего издыхания намерен позываться в войсковой канцелярии с полковою и сотенною. Скорее соглашусь видеть вас в рубищах, босых, протягивающих руки для испрошения куска хлеба или даже умирающих с голода, чем поддамся моим злодеям. Когда Фома читает вам эти строки, то знайте, что я уже в Батурине. Прощайте! будьте здоровы! *Харитон Заноза*". [цитату поправляю]

Мать и дочери побледнели, узнав о новых подвигах пана Занозы, а у дьячка Формы пучок волос встал дыбом, но он прежде всего оправился; да и естественно. «Хотя он сердечно предан был пану Харитону, но все же не был ему ни брат, ни друг, а потеха первым хутора не лишала последнего ни одной полушки из обыкновенных его доходов».

— «Слава Богу! воззвал Фома, обратясь к образам и перекрестясь трижды, — слава Богу! теперь-то конец всем позываниям... Правда, с потерей хутора вы должны во многом себя ограничить; но это в существе ничего не значит. Начиная от моего блаженной памяти прадеда, дьяка Максима, до меня, нижайшего дьячка Фомы, никто не имел более имения кроме низменной хаты и небольшого огорода... — а припомните, видели ли вы когда меня печальным... Так-то и с вами будет... У вас остается еще этот просторный дом, большой сад, три хаты крестьян и довольное количество земли. Если пан Харитон вместо позывания займется хозяйством, то жизнь ваша потечет в покое и довольстве.»

Эти слова велемудрого Фомы ободрили сетующих женщин; они дали слово ждать с христианским терпением конца затем пана Харитона, причем просили дьячка навещать их сколько можно чаще и не оставлять благими советами.

Таким образом дьячок Фома сделался как бы дворецким в доме Анфизы. Он увещевал и домашних служителей, и сельских крестьян как можно меньше есть и пить, дабы безбедно прожить до нового хлеба.

«Когда же один старик спросил: "Для чего же ты, честной дьячок, за панским столом кушаешь и попиваешь за троих?"

— «Друг сердечный, отвечал Фома, — если я увещеваю сохранить строгую умеренность, то разумею время, когда вы садитесь за стол у себя дома. Если же, по воле Господней, случится кому-либо из вас быть приглашену в гости... о, тогда можете, даже обязаны насыщать чрева свои, елико возможно...» (стр. 52, II).

В то время, как Анфиза и ее дочери мало-помалу свыкались с новым образом жизни, а паны Иваны беспокоились об участи своих сыновей, пропавших без вести, незаметно подошел Светлый праздник. «Веселые толпы народа обоего пола и разного возраста бродили из улицы в улицу, и громкое пение раздавалось по воздуху; случившиеся на ту пору в Горбылях запорожцы, водя за собою гудошников и цимбалистов, тешили народ чудесною пляскою, борьбою и кулачными боями...»

На третий день праздника перед обедом Анфиза с детьми и дьячком Фомою сидели у окон на лавках и «смотрели на веселящихся», как вдруг услышали топот коней и увидели остановившуюся у ворот польскую бричку, а позади ее позади ее повозку пана Харитона. Из брички сошли сотник Гордей с Эсаулом, а из кибитки — писец Анурий и громогласно прочитал определение войсковой канцелярии, по которому у пана Харитона, «за буйные и законопротивные поступки велено отобрать Горбылевский дом с принадлежащими ему садами, огородами и полями и отдать во владение сотнику Гордею, а жене и де-

тям пана Харитона предоставить право выйти из дому в том одеянии, в каком застигнуты будут» (стр. 59, II).

Анфиза, выслушав определение войсковой канцелярии, «в полубесчувствии упала на скамью, у забора стоящую... Сам дьячок Фома, приглаживая волосы, не мог ничего выдумать и бросал пасмурные взоры то на страждущих, то на кучу любопытного народа, собравшегося у ворот дома». Но тут сквозь толпу пробрался незнакомый старик в богатой одежде и ласково предложил бесприютной семье убежище в своем доме до возвращения пана Занозы. Это был пан Артамон, дядя Ивана Старшего, который в первом томе романа выручил молодых философов после приключения на баштане.

Два Ивана искренно порадовались несчастью своего злейшего врага, но их веселье было непродолжительно, потому что вечером того же дня сотник Гордей вломился в дом Ивана Старшего в сопровождении сотских и десятских, а к Ивану Младшему явился писец Анурий с такой же свитой. Затем обоим Иванам было объявлено, что «за их убийства [неточная цитата; правильно:] буйства, и неистовства, зажигательства мудрая войсковая канцелярия присудила лишить [пропущено: вас] обоих движимого и недвижимого имения и [пропущено: предписала мне], отобрав от них [правильно: вас] оное, приписать [пропущено: к] сотенному имению...» (стр. 78, II).

Здесь собственно конец романа и его естественная развязка [дура окаянная! здесь самое интересное начинается!]; но автор, по обычаю романистов старого времени, еще находит необходимым [два однокоренных слова подряд! хороша писательница!] с нравоучительной целью довести «позывающихся» шляхтичей до полного раскаяния и наградить всяким благополучием. Таким образом, изобразив реальную и вполне возможную картину постепенного разорения трех семейств от долгой тяжбы, которая повела к обеднению принадлежавших им крестьян [в романе от этом нет ни слова] и разорению всего хозяйства, он сразу хочет поправить зло, накопившееся годами. Чудо это совершается при помощи добродетельного пана Артамона, который, не довольствуясь широким гостеприимством, которое он оказал разоренным семействам, выкупает из казны все имущество, отнятое у трех шляхтичей, приводит в цветущее состояние принадлежавшие им сады и поля, возобновляет постройки и устраивает благоденствие крестьян. Затем, когда пан Артамон окончательно убеждается в искреннем раскаянии трех шляхтичей и желании забыть старую вражду [выпущено самое интересно: интрига, примиряющая врагов], то водворяет их в их прежних владениях под условием «жить в мире и помогать друг другу» [где же тут заимствование и не самобытность, госпожа хорошая?].

## XXVII

Роман «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» при своем появлении в свет вызвал подробную рецензию в «Северной Пчеле» того же 1825 года (№ 94). Считаю не лишним привести ее, так как, с одной стороны, она наглядно рисует незавидное литературное положение Нарежного, а с другой — весьма характерна для тогдашней критики, которая справедливо упрекает автора в недостатке «образованного вкуса» [вот упрек, подходящий к любому сочинению Гоголя]; но при этом так же неразборчива относительно общего содержания романа, как и за четверть века тому назад.

Рецензент «Северной Пчелы» главным образом хвалит роман за его нравственное направление: «Если бы, говорит он, прекрасные наставления, украшенные остроумными замыслами и веселою игрою воображения, могли положительно действовать на людей, то многие, прочитав повесть Нарежного, раскланялись бы со стряпчими; но с нравоучителями бывает то же, что с купцами: все проходящие слушают похвалы товарам и очень немногие заходят покупать... В этой повести, как и в других сочинениях Нарежного, читатель найдет, что автор обладал творческою силою воображения, имел наблюдательный ум, много читал, еще больше думал и нуждался в одном — в образованном вкусе. С прибавлением сего последнего качества к числу прочих дарований... Нарежный стал бы наряду с почетными русскими литераторами. Теперь известность его ограничена, и если бы кто сказал, что он имел больше дарований, нежели сколько имеют многие, — по мнению приятелей знаменитые литераторы, — то сказал бы тот совершенную правду и однако ж ему не поверили бы...»

В этом отзыве упрек в недостатке «образованного вкуса» ясно формулирован рецензентом; это уже не прежние мелочные придирки к отдельным словам и претензии за несоблюдение принятых правил красноречия, обычные у критиков начала нынешнего века. Мы видим здесь вполне сознательное требование.

Что касается содержания, то рецензент «Северной Пчелы» в приведенном отзыве безразлично относится к хорошим и дурным сторонам романа и одинаково восхищается ими.

Исключение в ряду критиков Нарезного составляет кн. П. А. Вяземский, один из образованнейших людей того времени и, кроме того, талантливый, остроумный писатель и критик, который и тогда понимал значение Нарезного в русской литературе. Самобытная сторона романа «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» не ускользнула от его внимания, и он ставит ее на первом плане в своем «Письме в Париж» 1825 года, которое было впервые напечатано в «Московском Телеграфе» 1825 г. и подписано буквами А. М. (56). «Не удовлетворяя и в этом романе, пишет он, эстетическим требованиям искусства, Нарезный победил *первый* и покамест *один* трудность, которую, признаюсь, почитал я до него непобедимой. Мне казалось, что наши нравы, что вообще наш народный быт не имеет или имеет мало окончностей живописных. кои мог бы схватить наблюдатель для *составления русского романа*. Правда, что наш наблюдатель не совершенно русский, а малороссийский, что его два лучшие романа «Бурсак» и «Два Ивана» относятся к эпохе, когда Малороссия еще имела свою особенную и характеристическую физиономию...»

Этот отзыв современника, написанный в 1825 голу по поводу последнего напечатанного произведения Нарезного в высшей степени важен для нас, потому что здесь мы находим новое и окончательное подтверждение слов Белинского, который называет Нарезного «родоначальником русских романистов».

Далее в том же «Письме в Париж» кн. П. А. Вяземский, сопоставляя Нарезного с другими сочинителями подражательных романических произведений, хвалит его романы с наиболее слабой стороны их [дура!], а именно со стороны запутанной завязки, — и в этом отношении платит такую же дань понятиям времени, как и упомянутый рецензент «Северной Пчелы» [а сама-то не платишь?!]. Между прочим, он ставит в заслугу автору «Бурсака» и «Двух Иванов», что он «не дает читателю в первых страница романа отгадать завязку, которая становится утомительной, когда любопытство удовлетворено преждевременно; но он довольно искусно заводит читателя и при конце дает отчет ясный и сбыточный... Жаль, добавляет кн. Вяземский, что язык неприятный, грубый, иногда даже дикий, вкус неочищенный или, справедливее, совершенное отсутствие вкуса много вредят достоинству сих романов; но со всем тем они занимают место в числе замечательных произведений нашей ленивой и малоурожайной словесности. Несмотря на то, Нарезный умер, почти не слыхав доброго слова о себе от наших журналистов, которым недосуг разбирать книгу порядком...»

## XXVIII

Нарезный умер на сорок-пятом году жизни, за две недели до выхода в свет своего романа «Два Ивана, или Страсть к тяжбам», 21-го июня 1825 года<sup>1)</sup>. Смерть романиста прошла незаметно, о ней

<sup>1)</sup> Сведения о дне смерти и погребения В. Т. Нарезного доставлены в редакцию «Русской Старины» секретарем С.-Петербургской духовной консистории И. Тимофеевым.

узнали из краткого известия, помещенного в «Северной Пчеле» того же года (№75). Похороны его, вероятно, не отличались пышностью, судя по тому, что в церковных списках умерших в 1825 году возраст Нарезного дважды означен неверно, а в одном списке неверно записана фамилия. Так по кладбищенской ведомости Большеохтинской Святодуховской церкви за 1825 год под № 108 значится следующая запись:

«21-го июня умре от водяной надворный советник и кавалер Василий Трофимович Нарезный 50 лет и погребен протоиереем Воскресенской церкви Иаковом Воскресенским.»

В другом списке, а именно в метрике Воскресенской церкви (ныне Скорбящей Божьей Матери) за № 3 значится:

«Надворный советник и кавалер Василий Трофимович Оринский, 2 лет, умерший от водяной 21-го июня 1825 года, погребен на Большеохтинском кладбище протоиереем Иаковом Воскресенским.»

Причина такой странной неточности в показании возраста и даже фамилии умершего могла заключаться в небрежном ведении метрик тогдашним духовенством или же в каких-нибудь исключительных условиях смерти Нарезного. Ввиду этого считаем долгом упомянуть о случайно дошедшем до нас сведении, требующем подтверждения, будто бы несчастный романист «был подобран пьяным в бесчувственном состоянии где-то под забором», и если вообразить, что во время погребения не было из близких ему людей, то возраст его мог быть означен приблизительно. Если Нарезный действительно умер



при этих условиях, то становится понятной краткость приведенного выше известия об его смерти в «Северной Пчеле» и полное умалчивание остальных газет и журналов. Один только рецензент «Московского Телеграфа» 1825 года, и то мимоходом, по поводу появления последнего произведения Нарежного «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» упоминает о печальных обстоятельствах романиста. «В. Т. Нарежный, пишет он, скончавшийся в июле сего года, подавал некогда большие о себе надежды. Обстоятельства — тяжелая цепь, часто гнетущая таланты, остановила и Нарежного на его поприще...» (57).

Во всяком случае, как бы ни были печальны условия жизни и смерть Нарежного, это не имеет никакого отношения к плодотворной деятельности нашего первого самобытного романиста и к его историко-литературному значению.

Из посмертных неизданных сочинений Нарежного, насколько нам известно, уцелела только первая часть неоконченного романа «Гаркуша, малороссийский разбойник»<sup>1)</sup>. Этот роман по содержанию при

<sup>1)</sup> Рукопись этого романа (106 стр) составляет собственность «Литературного Фонда»; она была получена нами от бывшего председателя «Комитета для нуждающихся литераторов и ученых» Н. С. Таганцева и возвращена нами по принадлежности через бывшего секретаря общества В. И. Семевского. Полное тождество почерка данной рукописи с рукописью, находившейся у нас трех неизданных частей «Российского Жилблаза не оставляет никакого сомнения в том, что она написана самим автором.

надлежит к особому виду так называемых «разбойничьих романов» (Räuberromanen), богатых приключениями, которые одно время были довольно распространены в западноевропейской литературе и перешли к нам в переводах и переделках во второй половине XVIII столетия. Вообще, насколько можно судить по первой части «Гаркуши», роман этот может быть отнесен к позднейшим произведениям Нарежного, так как подобно им состоит из подражательной более слабой части и отдельной, самобытной, где недостатки выкупаются более или менее удачными сценами и описаниями.

Нарежный, повидимому, хотел изобразить в этом романе известного южнорусского разбойника Горкушу [правильно: Гаркушу], который во второй половине прошлого века прославился своими подвигами на далеком пространстве, от Умани до Полтавы и от Казани до лимана Днепровского, и после своей окончательной ссылки в Нерчинск в 1782 году еще долго жил в народной памяти. Украинцы приписывали ему похождения многих разбойников и указывали следы его даже в тех местностях, где он никогда не был, так что мало-помалу он сделался для них каким-то мифическим лицом. Естественно, что и Нарежный, проведя детство в Малороссии, мог слышать о нем много еще свежих преданий и рассказов, хотя сильно преувеличенных, но до известной степени имеющих фактическую основу<sup>2)</sup>. Между тем история

<sup>2)</sup> В пятой неизданной части своего романа «Российский Жилблаз» Нарежный изобразил в одной сцене действительного украинского разбойника Горкушу, которого он и там почему-то называет Гаркушей [это и есть правильное имя: Гаркуша].

«Гаркуши» в романе Нарежного, опять-таки судя по первой части, имеет мало общего с историей разбойника Горкуши, заслужившего известность в Малороссии (58).

Действительный Горкуша сначала поступает в запорожцы и в качестве товарища Гонты принимает деятельное участие в уманской резне за религию, а после уничтожения Сечи становится контрабандистом и, обобранный дочиста поляками, начинает промышлять чужою собственностью. Многочисленная шайка его пополняется беглецами, примкнувшими к нему после запрещения вольного перехода крестьян в Малороссии. Между тем история *героя романа* «Украинского разбойника Гаркуши» носит более честный и, так сказать, личный характер и представляет интерес психологический. Основной причиной разлада Гаркуши с окружающей средой является бедность и связанные с нею нравственные терзания, — тема, не раз встречаемая в произведениях Нарежного и, очевидно, хорошо знакомая ему. На этот раз он впервые выводит бедняка из крестьянской среды и изображает народный быт реальными чертами, без прикрас и напускной чувствительности тогдашних сочинителей сельских и пастушеских повестей.

Будущий разбойник Гаркуша представлен в виде нищего безродного пастуха, которому, помимо безвыходной нужды, приходится много терпеть от равнодушия и презрительного отношения людей «более сытых и лучше одетых, нежели он». Гаркуша жил одиноко в своей бедной уединенной хижине с двумя верными псами и несмотря на свою набожность «редко посещал Божий храм, — так как у него и самое

праздничное платье было хуже, чем у других будничные, — а довольствовался он во время священнодействия стоять на паперти и со смирением мытая творить свои молитвы»...

Между тем настал день рождения Гаркуши и день воскресный. Ему исполнилось двадцать пять лет. Гаркуша, как стал себя помнить, всегда посвящал его на славословие Божие, служил молебен и после отлично угощал — псов своих, ибо никто из людей не удостоивал его посещением, да он нисколько о том не печалился.

И на сей раз Гаркуша не отступил от своего правила. Он чисто-начисто выбрился, надел довольно чистую свиту и отправился в церковь, где стал у самого клироса, ибо никого еще там не было, и начал молиться, как умел...

«Мало-помалу церковь начала наполняться народом, наполнилась, и священнодействие началось. Когда Гаркуша со всем усердием творил земные поклоны, то некто из народа толкнул его в спину столь небрежно, что он плотно стукнулся лбом об пол. Поднявшись, он видит подле себя Карпа, племянника своего старосты.

— Посторонись! — сказал тот надменно.

— Некуда! — отвечал Гаркуша. — И всякий имеет такое же право сего от меня требовать, как и ты.

— Ба! — сказал племянник старосты, — так я равен тебе, негодный?

— Я такой же христианин, — отвечал сей и продолжал молиться; но соперник его шепнул что-то на ухо дьяку Якову Лысому, и сей знаменитый сановник, сошед крылоса с [у Белозерской: клироса], взял Гаркушу за руку, повел по церкви, потом, выведши за двери, сказал:

— Оставайся здесь, невежа, когда не умеешь смиренно стоять во храме, иначе — ты меня знаешь: покайся во грехе и смирись!

Несмотря на проливной дождь, ветер, град, словом, на все собравшиеся октябрьские непогоды, Гаркуша смиренно простоял на паперти до окончания службы, выждал всех людей и уж хотел вступить в церковь для отслужения молебна, как показался священник со своим причтом.

Сколько ни умолял его Гаркуша воротиться, удвоивал и утроивал обыкновенную плату, тщетно! «Для чего не сказал заранее», — был ответ, и скоро все скрылись.»

Этот случай решил дальнейшую судьбу Гаркуши. Он «С стесненным сердцем, со слезами на глазах воротился Гаркуша в свою хижину, и в первый раз ласки верных псов не могли развеселить его. Он отобедал без вкуса пасмурно сел на скамье, и — мщение представилось воображению его в прелестном виде добродетели или сознания своего внутреннего достоинства.»

Долго обдумывал он план мести и решил пустить в дело своих доморощенных кота и кошку; и для этой цели проморил их трое суток голодом в запертом чулане, а затем снес их на голубятню дьяка, где оставил на целую ночь. Не довольствуясь этим, он на другой день явился к своему врагу под предлогом покупки голубей, чтобы полюбоваться его отчаянием, так как дьяк любил своих птиц «более всего и охотнее лазил на голубятню, чем вступал в чертоги жида, содержавшего шинок, хотя и туда он ходил охотнее, чем на крылос [у Белозерской: клирос].»

Однако виновник уничтожения голубей был вскоре открыт, по жалобе дьяка «выстеган лозами» в земской избе и кроме того должен был заплатить рубль денег за нанесенный убыток. Гаркуша за это двойное и. по его мнению, несправедливое наказание решил снова отомстить дьяку: он забрался ночью в его сад и подпил все лучшие плодовые деревья. Не забыл он и своего главного крага, Карпа, племянника старосты, и за нанесенное им оскорбление отплатил еще большей обидой, так как начал ухаживать за невестой Карпа и соблазнил ее.

Несложная история отношений Гаркуши к Марине, начатых из желания отомстить врагу и перешедших в сердечную привязанность, принадлежит к лучшим страницам неоконченного романа Нарезного. Так же реально описана автором свадьба Марины с Карпом, гнев обманутого мужа, истязание несчастной женщины и насильственное, вынужденное у ней признание в присутствии свадебных гостей, родителей и родственников. Прошел месяц после свадьбы Марины; но Гаркуша напрасно поджидал ее в овине, обычном месте их прежних свиданий, и при встречах старался обратить на себя ее внимание. Он должен был убедиться, что безвозвратно утратил благосклонность своей возлюбленной, и решил отплатить ей за свою «мнимую» обиду. [исправленная цитата:] «В свободное время, ходя по улицам, по базару или сидя в шинке жида, повествовал он всякому любопытному и нелюбопытному, что он не только был доступным любовником Марины во время ее девичества, но что она и матерью будет его дитяти, а не Карпова.»

Такие речи недолго кроются в народе, и Марина, узнав о них, в свою очередь решила отомстить бывшему возлюбленному на его нескромность. Она велела позвать к себе дьяка Якова Лысого и в присутствии свидетелей объявила ему, что истребитель его голубятни и сада все тот же Гаркуша и что она готова подтвердить это под присягой. Дьяк вскипел гневом; по его настоянию собрался крестьянский суд, и решено было представить дело «на благоусмотрение» помещика пана Кремня, двор которого стоял на выгоне.

Но помещик, который является в романе олицетворением всех пороков, неожиданно принял сторону обвиняемого, так как хотел воспользоваться его услугами для своих целей, и объявил просителям, что считает Гаркушу совершенно правым и строго запрещает [исправляю изуродованную цитату:] «возобновлять вражды и неустройства... Произнесши слова сии с величайшею важностью, он вышел. Долго просители стояли безгласны, смотря друг на друга и не веря своему слуху. Наконец, утерши пот, в который их бросило, и почесавши затылки, побрели они с панского двора повеся головы.»

В ту же ночь пан Кремень отправил в путь Гаркушу с шестью дворовыми и велел им распотать плотину у мельницы соседнего помещика, пана Балтазара, своего непримиримого врага, которому старался вредить всеми способами. Новый слуга с успехом выполнил возложенное на него поручение и сверх того захватил с собой на обратном пути четыре крестьянские телеги с хлебом, привезенным накануне для помолу, и четыре лошади, чем доставил немалое удовольствие своему господину. Но легкая удача настолько вскружила голову Гаркуше, что при следующем походе вследствие собственной оплошности он попал вместе с товарищами в руки крестьян пана Балтазара и по его распоряжению заперт в гумне. Наступила ночь, и Гаркуша без труда [на самом деле с трудом, изобретательностью и ловкостью] вырвался из некрепкой тюрьмы; освободив себя и товарищей, он велел ожидать его на другом берегу реки, а сам, оставшись один, поджег солому в нескольких местах [огонь добыл трением!], после чего бросился бежать без оглядки. Когда он присоединился к товарищам, то, [исправляю цитату:] «оборотясь, увидел, что гумно пана Балтазара багрело в пламени; клочки соломы, извиваясь в воздухе, падали на крыши крестьянских домов, ветерок пособлял действию, и вскоре большая половина селения превратилась в огненное озеро. "Так мстит Гаркуша", — сказал он с улыбкою, но улыбка сия не была уже для него отрадною. Неизвестный голос говорил ему: "Это уже не шутка! Это другое дело, чем истреблять голубей и сад дьяка Якова Лысого! Зажигатель!"...» (65).

Пан Кремень сначала равнодушно принял известие о новом подвиге Гаркуши, но пришел в немалое беспокойство, когда из города приехал его сын и сообщил ему, что пан Балтазар подал на него жалобу по поводу истребления плотины и поджога селения и что завтра к ним [исправляю цитату:] «чуть свет прискачет сюда исправник с командою для захвачения обвиняемых. Отец. Милости просим! Как скоро увижу, что не будет способа отбояриться легче и дешевле, то Гаркушу с товарищами обвиню одних во всем и отдам обеими руками: пусть съедят их хоть с костями. На место их есть у меня ребята удалые!»

Гаркуша, сидя в сених, подслушал от слова до слова весь разговор между отцом и сыном и, не помня себя от ужаса и злобы, отыскал своих злополучных товарищей и уговорил их бежать вместе с ним. С наступлением ночи они залезли в панскую кладовую и, сделав запас оружия, съестных припасов и денег, пустились в путь.

На утренней заре, когда они прошли верст десять от селения и расположились завтракать у дороги, то увидели повозку, окруженную четырьмя конными, которая остановилась прямо против их лагеря. Гаркуша, не сомневаясь, что это исправник с командой, спокойно ожидал его приближения и слышал, как он, выйдя из повозки, отдал приказ «на всякий случай» задержать его (Гаркушу) с товарищами как «людей подозрительных». Гаркуша настойчиво убеждал блюстителя правосудия [на самом деле: начальника полиции] оставить их в покое и напомнил о заряженных ружьях. Исправник отскочил назад от этой угрозы, но, устыдясь команды, которая не шевелилась, повторил приказ: «Ребята, берите их!» и был убит наповал Гаркушей; товарищи последовали его примеру, и двое из команды разлеглись на земле; остальные бросились бежать.

После этого нового преступления Гаркуше осталась одна дорога — промышлять разбоем.

Здесь обрывается самобытная часть неоконченного романа [опять та же песня! ври да не завирайся!], которая, несмотря на правдоподобную завязку, живость отдельных сцен и положительные достоинства, читается с трудом, так как помимо тяжелого языка общее впечатление нарушается неестественными положениями, утрировкой в частности, лишними разглагольствованиями и неуместными ссвлками на исторических героев. Что касается остальной части рукописи, то она несомненно

представляет заимствование из какого-нибудь западноевропейского «разбойничьего» романа [совершенно как *Дубровский* Пушкина], судя по вычурным рыцарским речам Гаркуши, за которыми следует мелодраматическая сцена клятвы во взаимной товарищеской верности, сопровождаемая целованием в дуло заряженного ружья. Даже самое описание глубокой пропасти, поросшей лесом, где будущие разбойники находят убежище, является преувеличенным и если принадлежит Нарезному, то может служить свидетельством его поэтической и в данном случае слишком богатой фантазии [вот и проговорилась!].

## XXIX

Мы представили общий очерк литературной деятельности Нарезного и коснулись многих подробностей, ненужных при оценке писателей, стоявших в иных, более благоприятных условиях, но необходимых относительно Нарезного ввиду того, что наша публика только отчасти знакома с его отдельными сочинениями, а тем менее с его произведениями, помещенными в повременных изданиях конца прошлого и начала нынешнего века. Главная причина такого незаслуженного забвения заключается в том, что ни при жизни Нарезного, ни после, его настоящее значение не было выяснено в литературе и не сделано надлежащей оценки его сочинений. Вследствие того многое в его романах и повестях осталось непонятным, а тем более через несколько десятков лет при тех пробелах, какие до сих пор существуют в истории нашей романической литературы прошлого века и первой четверти нынешнего. Таким образом, для добросовестной оценки сочинения нашего первого романиста нам пришлось обратиться к предшествующей романической литературе и добавить много лишних объяснений.

С другой стороны, относительно Нарезного едва ли может быть поднят вопрос о том, заслуживают ли его сочинения такого подробного разбора? Если вообще история развития самобытного русского романа имеет значение для истории русской литературы, то имеют значение и сочинения писателя, который за первую четверть нынешнего столетия является единственным представителем русского самобытного романа, о чем свидетельствует кн. П. А. Вяземский в приведенном выше «Письме в Париж» 1825 г. Если не все написанное Нарезным имеет одинаковую важность и у него встречаются довольно слабые произведения, то это не дает нам права оставлять их без внимания. Во всяком случае для полной беспристрастной оценки писателя необходимо коснуться всех его трудов, и вопрос заключается только в более или менее подробном разборе сообразно с их относительным достоинством. К Нарезному это более применимо, нежели ко всякому другому писателю, потому что его произведения не только связаны с историей развития нашего первоначального романа, но и с развитием русской прозаической литературы вообще.

Так, юношеские произведения Нарезного весьма характерны для уяснения условий, в каких находились тогдашние прозаические писатели, которые, ввиду подавляющего господства стиха и драмы, стремились быть стихотворцами и драматургами и, насилуя свой талант в этом направлении, неизбежно прибегали к заимствованию и подражанию. Нарезный после нескольких неудачных стихотворных опытов обратился к драме, которая в те времена достигла известной степени развития и уже пользовалась правами гражданства в нашей литературе, и тогда им представлены были два значительные произведения, написанные в драматической форме: «Кровавая ночь, или Конечное падение дома Кадмова» и «Димитрий Самозванец». Несколькими годами позже, с напечатанием «Слова о полку Игореве» и русских былин (Киршей Даниловым [он ничего не печатал!]) Нарезный делает попытку русской исторической повести в «Рогвольде» и «Славенских вечерах».

Хотя «Славенские вечера» принадлежат к слабым произведениям Нарезного, но все-таки имеют историко-литературное значение, так как служат *выражением известного момента в истории нашей подражательной романической литературы*. Это уже не прежнее копирование и переделка какого-нибудь одного или двух образцов, а стремление создать нечто новое и подражание нескольким разнохарактерным образцам, — попытка неумелая, но уже представляющая переходную ступень к самобытному творчеству. В какой степени «Славенские вечера» удовлетворяли требованиям современной читающей публики, показывает тот факт, что ни одно из произведений Нарезного не заслужило таких восторженных похвал со стороны тогдашней критики, которая, при всей строгости к стилю, на этот раз восхищается и слогом «Славенских вечеров».

Этот факт сам по себе служит достаточным доказательством, насколько требования нынешней критики неприменимы к отжившим писателям вообще в частности и к Нарезному; об его произведени-

ях можно судить только в связи с условиями времени и в сравнении с предшествующей, а не последующей романической литературой. При этом мы не должны упускать из виду благоприятных условий литературной деятельности новейших писателей сравнительно с прежними условиями; широкого развития нынешнего русского романа, выработанного слога, вкуса и повышенного интеллектуального уровня читающей публики. В настоящее время не может быть и речи о тех трудностях, какие приходилось преодолевать нашим первым самобытным романистам. Здесь, как мы говорили выше, по поводу печального положения русских прозаических писателей конца прошлого и начала нынешнего века, — не было ни готовых образцов, ни традиций, «существовавшие правила творчества, преподаваемые теорией словесности, могли только стеснять писателей, задерживать их развитие...» (ч. I, стр. 11-12 [себя цитирует!]).

Русский роман, повторяем, в те времена был исключительно подражательный, с слабыми проблесками самобытности. Русская публика настолько привыкла к иностранным образцам и способу писания западно-европейских романистов, что русские сочинители как можно ближе придерживались их, чтобы угодить своим читателям. Нарезный по необходимости следовал общему направлению наряду с усиленным стремлением к самобытному творчеству, которое с историко-литературной стороны придает теперь особенное значение его произведениям; но в былое время это же стремление к самобытности только мешало их успеху. Полусамобытный-полуподражательный характер его романов и повестей прежде всего лишал их художественной цельности, что, нарушая общее впечатление, навлекало на автора заслуженный упрек в недостатке «образованного вкуса». Эта двойственность в произведениях Нарезного, которая ставила их в художественном отношении ниже общего уровня более слабых и даже бездарных романов и повестей того времени, особенно затрудняла критиков, которые в большинстве случаев мимоходом касались их или обходили молчанием. Свысока относился к ним и остальной литературный мир в лице своих лучших представителей, тем более, что Нарезный, живя вдали от него, шел своим путем, не поддаваясь влиянию нового времени.

При этих условиях Нарезный должен был неизбежно казаться *отсталым* своим современникам, хотя в сущности в своих романах и повестях он оказывается более *новым* и *самобытным*, нежели все его предшественники. Таким образом без преувеличения можно сказать, что его роман «Черный год, или Горские князья» был первым русским *сатирическим* романом, где он, не ограничиваясь сферой повседневных явлений, касается разных сторон общественной и государственной жизни. В своих двух сочинениях «Российский Жилблаз» и «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» он положил начало русскому *реальному нравоописательному* роману, равно как его «Запорожец» и «Бурсак» могут считаться первым более или менее самобытными произведениями в области русского *исторического* романа. В «Гаркуше» мы видим попытку нравоописательного романа из *народного* быта.

Не подлежит сомнению, что при таком разнообразии произведений и силе таланта, о котором свидетельствуют лучшие романы и повести Нарезного, он мог бы занять видное место среди русских первоклассных романистов, а для этого он должен был явиться в пору большей зрелости литературы и при более благоприятных условиях. Но тем выше приходится нам ценить оказанные им услуги русской романической литературе [следовало бы добавить: и Гоголю, не написавшему ни одного романа].

## ПРИМЕЧАНИЯ К II-й ЧАСТИ

[воспроизвожу со всеми нелепостями]

- 1) «Историческая Христианоматия» А. Галахова, т. II, стр. 292-293. Спб. 1877 г.
- 2) Черниговского наместничества топографическое описание и пр. соч. А. Шафонским, в Чернигове 1786 года, изд. М. Судиенко, в Киеве, 1851 г., стр. 63. См. также А. Лазаревский «Описание старой Малороссии» и пр. Киев 1888 г. Выпуск I. Предисловие, стр. II.
- 3) См. воспоминания о Малороссии конца XVIII века, в статье И. Тимковского: «Мое определение на службу», «Москвитянин», т. V, 1852 г., ч. I, стр. 1-26.
- 4) «Духовные школы в России до реформы 1808 года». Соч. П. Знаменского, Казань, 1881 г., стр. 20.
- 5) «Краткая история академической гимназии, бывшей при имп. моск. университете», проф. Страхова, в «Сборнике учено-литературных статей профессоров и преподавателей моск. унив.», изд. по случаю 100-летнего юбилея. Москва, 1855 г.

- 6) См. также «История имп. моск. университета», написанная проф. С. Шевыревым к тому же юбилею. Москва, 1855.
- 7) Число учеников обеих гимназий значительно превышало число студентов, как видно из таблицы 1787 г. (за пять лет до поступления Нарезного в гимназию), помещенной в книге «Историческое и топографическое описание городов Московской губернии с их уездами и пр. 1787 г.». Печ. в Москве, стр. 30-31.
- 8) «История имп. моск. университета! проф. С. Шевырева, стр. 195.
- 9) «Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. моск. университета» со дня учреждения 12 января 1755 года и пр. Москва, 1855, два тома.
- 10) «Москвитянин» 1851 г., часть III, статья И. Тимковского стр. 20.
- 11) На их записки ссылается проф. С. П. Шевырев в своей «Истории моск. универс.», стр. 270.
- 12) Первым периодическим изданием при университете, в котором участвовали и студенты, было: «Полезное увеселение», которое выходило в 1760, 1761 и 1762 гг. Издателем его был М. М. Херасков.
- 13) См. журнал «Приятное и полезное препровождение времени», 1798, ч. XIX, стр. 33.
- 14) а) «Geschichte (des griechischen und römischen Dramas)» von J. L. Klein, I. B. Leipzig. 1874 ss. 221-236, 321-357, 382-395. — б) «Les Tragédies d'Eschile», trad. en français par Ad. Bouillet, Paris, 1865. — в) «Les Tragédies de Sophocle» trad. en franç. par M. Bellaguet, Paris, 1879.
- 15) Акты, собранные «Кавказскою археол. комиссиею», т. II. Тифлис, 1868.
- 16) а) «История войны и владычества русских на Кавказе», Н. Ф. Дубровина. Спб. 1886, т. III — б) «Присоединение Грузии к России, 1799-1731 гг.» Истор. исслед. Ад. П. Берже, в «Рус. Стар.» 1880, книги V, VI, VII. — в) «Тифлисский Вестник» 1873 года, ст. «Беспорядки в Грузии» №№ 72-74, 76, 77 и 79.
- 17) См. «История войны и влад. русских на Кавказе», Н. Ф. Дубровина, т. III стр. 444, а также «Тифл. Вест.» 1873, № 74.
- 18) Ст. Ад. П. Берже «Присоединение Грузии к России», Р. Стар. 1880, кн. VII, стр. 369.
- 19) «История войны и пр. на Кавказе», Н. Ф. Дубровина, т. III стр. 515.
- 20) П. Соб. Сочинений И. В. Киреевского, т. I, М. 1861, стр. 42. — Атений 1829, ч. IV, стр. 318-320.
- 21) См. краткую историю основания Общества в чтениях «Беседы любителей Русского слова». кн. I Спб. 1811 г.
- 22) «История министерства Внутренних Дел» Н. Варадинова Спб., 1858 г., ч. I, стр. 22-69 и 104-187.
- 23) «Димитрий Самозванец», трагедия а пяти действиях В. Нарезного, соч. в 1800 г., напечатана в Москве 1804 г. — Второе издание вышло в Москве в 1830 году.
- 24) «Избранные места из русских сочинений и переводов в прозе, с прибавлением извести о жизни и творениях, которых труды помещены в сем сборнике», Спб., 1812 г., изд. Н. Греч.
- 25) П. С. З., т. XXIX, 22,208.
- 26) В. И. Семевский. «Волнения горнозаводских крестьян 1760-1764 гг.», «Вестник Европы», 1877 г. № № 1 и 2.
- 27) «Высочайше утвержденные доклады и др. сведения о новом образовании Горного начальства и управления горных заводов», ч. I. *Историческое описание горных дел в России, с самых отдаленнейших времен до нынешних.* Спб., 1807 г., стр. 155-157.
- 28) «Месяцеслов» (адрес-календарь), с росписью чиновных особ, или общий штат Российской империи, на лето от Р. X. 1811-1813 гг.
- 29) Воспоминания В. И. Панаева. См. «Вестник Европы» 1867 г., сентябрь и декабрь, стр. 123-124.
- 30) а) И. Серяков: «Поход Игоря против половцев», Спб. 1803 г. Стихотворное переложение. — б) А. Палицын: «Игорь, героическая повесть». С древней славянской песни, написанной в XII веке: перелож. стихами, Харьков, 1807 г. См. исследование Е. Барсова «Слово о полку Игореве и пр.», т. I, Москва, 1887 г.
- 31) «Оссиан, сын Фингалов, бард третьего века. Галльские стихотворения, перев. с французского Е. И. Костров. В двух частях. Москва 1792 г.
- 32) П. Морозов, «Е. И. Костров, его жизнь и литературная деятельность». Воронеж, 1876 г.
- 33) «Цветник» 1809 г., изд. А. Е. Измайловым и А. Беницким. Спб, июль, стр. 263-274.
- 34) Ibid. 1810 г., изд. А. Е. Измайлов и П. Никольский. Спб. февраль, стр. 123-147.
- 35) Ibid., июль, стр. 93-118.

- 36) М. И. Сухомлинов. «Исследования и статьи по русской литературе и просвещению», т. I. Спб. 1889, стр. 427, а также М. Богданович, «Царствование импер. Александра I», т. V, Спб., 1871 г., стр. 194-195.
- 37) А. Н. Пыпин. «Общественное движение в России при Александре I». Спб 1885 г., стр. 362.
- 38) «Чтения о русском языке», Н. Греч, ч. I, Спб., 1840 г., стр. 333.
- 39) В. С. Сопиков. «Опыт русской биографии». Спб. 1813-1821 гг.
- 40) О значении Петровской реформы, см. ст. А. Н. Пыпина, «Московская старина», «Вестн. Европы» 1885 г., январь.
- 41) Ibid. февраль и март.
- 42) «Русское масонство в XVIII веке», «Вестн. Евр.» 1867 г., январь, стр. 86.
- 43) См. брошюру: «Масон без маски, или Подлинные таинства масонские, изданные со многими подробностями точно и беспристрастно», пер. Иван Соц. Спб., 1784 г.
- 44) Ст. А. Н. Пыпина: «Русское масонство в XVIII веке», «Вестн. Европы», [1867] март; — а также сочинения М. Лонгинова — «Новиков и московские мартинисты», изд. 1867 г., стр. 258, прим.
- 45) См. статьи А. Н. Пыпина о масонстве, «Вестн. Евр.» 1867 г., январь и февраль; 1868 г., июнь и июль; 1869 г., ноябрь и декабрь; 1872 г., январь, февраль, июль.
- 46) Ibid, «Материалы для истории масонских лож», «Вестн. Евр.» «Вестн. Евр.» 1872 г., февраль, стр. 561.
- 47) Елагина. «Записка о масонстве», «Русск. Архив» 1866 г., изд. второе, стр. 593-594.
- 48) М. Лонгинов. «Новиков и московские мартинисты», изд. 1867, стр. 101.
- 49) «Вестник Европы» 1863 г., июнь, ст. А. Н. Пыпина «Русское масонство до Новикова» (отсюда заимств. приведенная выдержка из книги Рейнбека).
- 50) С. В. Ешевский. «Московские масоны прошедшего столетия» стр. 404-406, «Рус. Вестн.» 1864 г., № 8. См. также «Летописи рус. лит. и древ.» изд. Н. Тихонравова, т. V, М. 1863 г., ст. «Новые сведения о Новикове», стр. 51.
- 51) М. Лонгинов. «Новиков и московские мартинисты», изд. 1867, стр. 304.
- 52) «Истор. Христ.» А. Д. Галахова, т. II, стр. 292-293.
- 53) Там же.
- 54) «История русской словесности» А. Галахова т. II, Спб., 1868, стр. 183.
- 55) «Ист. Христ.» А. Д. Галахова, т. I.
- 56) П. Соб. Соч. кн. П. А. Вяземского, 1878, т. I, стр. 203-204. — «Моск. Телеграф», ч. VI, стр. 182-184.
- 57) «Моск. Телегр.» 1825, ч. IV, стр. 346.
- 58) См. статью Н. Маркевича «Горкуша украинский разбойник» в «Русском Слове» 1859 г. (сентябрь, стр. 138-244), где подробно изложено все следственное дело на основании допросов Горкуши и его товарищей, с приложением документов, автографов и пр.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### I

Послужной список дворянина Трофима Нарезного, в повете Гадяцком жительствующего

1798 года, апреля 26 числа

Трофим Нарезный, 52-х лет.

Женат на дочери дворянской Анастасии, 49 лет.

Детей имеет сынов двух: Василий, 18 лет, в императорском московском университете обучается; Феофана, 4-х лет, дочь Параскевию, 16-ти лет.

Людей за собою не имею, а имением недвижимым я по предкам, а собою для дневного пропитания приобретенным пахотною и сенокосною землею владею. Других же угодий никаких не имеется.

В повете живу, в местечке Устивице.

Чином корнет.

Нахожусь в отставке.

Грамоту получил из Киевской дворянской комиссии 1786 года, октября 24 дня, за подписью губернского предводителя дворянства Степана Тарновского и шести уездных депутатов: киевского — коллежский асессор Василий Покистенский, остерского — секунд-маиор Петр Чованович, пирятинского — секунд-маиор Лев Гербаневский, золотоношского — приват-маиор Николай Ноцоно, миргородского — секунд-маиор Антон Кириченко-Остромов, хорольского — титулярный советник Демяк Твердовский, дворянский секретарь Степан Силванский. На имя корнета Трофима Нарезного т род его во вторую ее часть внесен.

К сему формулярному списку корнет Трофим Нарезный подписался.

Ревизовал, и что грамота на имя корнета Трофима Нарезного имеется, только без номера, должного на оной быть, в том заверяю. Маршал Василий Чарныш.

## II

По указу Ея Величества Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны самодержицы Всероссийской и прочая, и прочая, и прочая.

Объявитель сего из польского шляхетства Трофим Иванов, сын Нарезный, бывший в службе Ея И. В. в Черниговском Карабинерном полку вахмистром, а ныне, по поданной от него челобитной, за имеющимися у него болезнями, далее военной службы продолжать не могущий из оно на собственное его пропитание по обязательству его остаться вечно в российском подданстве, с награждением корнетом мною уволен и по выключке из полку отпущен в дом его Киевского наместничества, Миргородского уезда, в местечке Устивице состоящий. Которому до присылке из Государственной военной коллегии, по сделанному от меня в ону представлению, надлежащего об отставке указа, и на корнетский чин, во свидетельство вышеописанного и свободного ради в доме прожития, а в пути пропуска, сей паспорт за подписом моим и с приложением герба моего печати, дан в Малороссии в селе Вишенках, Мая 15 дня 1786 года (на подлинном тако) Ея И. В. всемил-шей Государыни моей генерал-фельдмаршал главнокомандующий кавалерию и второю дивизию Киевской Черниговской и Новгородско северской генерал-губернатор, полков лейб-гвардии конного подполковник, кирасирского военного ордена полковник орденов всех российских императорских королевского прусского Черного Орла и голштинского святыя Анны кавалер Граф Румянцев-Задунайский.

С подлинным свидетельствовал значковый (?) товарищ Даниил Коломийцов.

Дворянства снеретарь Иван Туманский.

№ 879

## III

1786 года октября 24 числа. По указу Ея И. В., Киевского наместничества дворянское собрание слушав доношение корнета Трофима Нарезного и приложенной при оном пасшпорт от его сиятельства господина ггенерал-фельдмаршала, сенатора и многих орденов кавалера, графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского, сего года маия 15 числа ему данный, — определило: как с онаго явствует, что проситель Нарезный, за имеющимися в него болезнями от военной службы его сиятельством с награждением корнетского чина уволен. В высочайшей же Ея И. И. грамоте, на вольности и преимущества дворянству жалованной, в 78 пункте предписано во вторую часть родословной книги вносить роды военного дворянства по алфавиту. О коих в именном указе блаженной и вечно достойной памяти императора Первого 1721 года генваря 16 числа указано сими словами: все обер-офицеры, которые произошли не из дворянства оные и их потомки суть дворяне и надлежит им дать патенты на дворянство, для того, сооразуясь оно высочайшей грамоты 78 пункту, внести помянутого просителя Нарезного в родословную дворянскую киевского наместничества книгу во вторую часть и изготовить грамоту при выдаче которой имеет он внести в дворянскую сумму то число денег, которое от дворянского собрания определено будет, а пока она грамота изготовлена будет дать ему, Нарезному, свидетельство в том, что он действительно собранием дворянства признан дворянином. (Подлинный подписали:) Губернский предводитель дворянства Василий Капнист [тот самый, поэт]. Депутат уезда Киевского Димитрий Валяваг. Депутат Остерского уезда Петр Купчинский. Депутат Козелецкого уезда Василий Танский. Депутат уезда Хорольского Алексей Кодинец. Депутат уезда Золотоношского Николай Попевич. В должности секретаря Павел Роменский.



Выписка из журнала, учиненного в комиссии, высочайше учрежденной для проверки действий Полтавского дворянского депутатского собрания

Июня 10 дня 1842 года

Слушали: Дело из киевского в полтавское дворянское депутатское собрание и в описи по Гадячскому уезду под № 213 показанное, из коего значится, что состоящий в подушном окладе отставной корнет Трофим Иванов сын Нарезный, доказывая благородное свое происхождение, при доношении 1784 года [?] 8 дня в киевское дворянское депутатское собрание в засвидетельствованной копии представил пашпорт от г. генерал-фельдмаршала и кавалера графа Румянцева-Задунайского, ему, Трофиму Нарезному, 1786 года мая 15 дня за № 879 данный в том, что ре Нарезный служил а черниговском Карабинерном полку вахмистром, а, всходство просьбы его, за болезнию, уволен от оной с награждением чином корнета.

По сему пашпорту киевское дворянское депутатское собрание учиненным 1786 года октября 24 дня, за подписом губернского предводителя и пяти уездных дворянских депутатов, определением, в силу высочайшей грамоты 78 статьи, заключило: внести доказателя Нарезного во 2-ю часть дворянской родословной книги; в списке же от него, Нарезного, в 1798 году к делу сему доставленном прописано его семейство и владеемое им недвижимое имение, жительствоует в Гадячском повете. Грамоту получил в 1792 году, которой при деле нет и сведений по коим можно бы рассмотреть правильно ли внесены прошение и документы в законные книги и регистры, а равно и книг на выдачу грамот не доставлено.

Определили: как доказатель Трофим Нарезный чин корнета получил при отставке от службы, что относится не до потомственного, а до личного дворянства, то ревизионная комиссия означенного определения киевского дворянского депутатского собрания правильным и с законами согласным признать не может, полагает, всходство указа правительствующего сената 30 мая 1834 года 2 отделения 10 статьи 2 пункта, отставного корнета Трофима Нарезного с его детьми внести в список *неимеющих права быть записанными в дворянскую родословную книгу и, с приложением пашпорта, определения и выписки из журнала сего отослать оные во временное присутствие герольдии правительствующего сената в установленное на то время, а копии со всего этого передать тогда же в полтавское дворянское депутатское собрание.*

Полный журнал за подписом гг. председателя, членов комиссии и скрепою секретаря.

## V

### Аттестат

По указу его императорского величества, из императорского московского университета студенту из дворян, Василию Нарезному, корнета Трофима Нарезного сыну, в том, что он сентября 4 дня 1792 года записан в дворянскую московского университета гимназию, в которой обучался: латинскому и немецкому языкам, истории, географии и математике; в 1798 году произведен в студенты, а в 1799 году переведен в университет, где обучался: 1) логике и метафизике, 2) энциклопедии всех наук, 3) всемирной истории и географии, 4) чистой, и смешанной математике, и 6) опытной физике, с похвальным прилежанием и успехом, поступая добропорядочно; за что в 1800 году получил в награждение серебряную медаль. Почему, в силу высочайше апробованного в 1775 году генваря 12 о университете проэкта, и правительствующего сената того же 1775 генваря 24, и 1756 годов мая 17 чисел указов, достоин награждения обер-офицерского чина. Ныне же, по прошению его, от университета с сим уволен, с обязанием, дабы он в праздности не был, а явился к определению в службу, куда следует. Дан в Москве, за подписанием тайного советника, университета директора и кавалера, октября 10-го дня 1801 года.

Иван Тургенев

### Сведения

о службе надворного советника Нарезного извлеченные из дел Общего Архива Главного Штаба

Надворный советник Василий Трофимович Нарезный, из дворян, кавалер ордена Св. Анны 3 степени, обучался Российскому, Латинскому и Немецкому языкам, чистой математике и Геометрии, в

штрафах и под судом не бывал, женат на Александре Ивановой, имеет сына Владимира 5 лет, в службу вступил из студентов Императорского Московского Университета, в новооткрывшееся Грузинское Правительство с чином коллежского регистратора 3 октября 1801 года и находился у письменных дел при бывшем правителе Грузии, действительном статском советнике Коваленском; по открытии в Грузии Российского Правительства, определен секретарем в Лорийскую управу земской полиции 18-го мая 1802 года; уволен от сей должности 14-го мая 1803 года; определен в экспедицию Государственного Хозяйства Министерства Внутренних Дел 1-го сентября 1803 года, произведен в Губернские секретари 31-го декабря 1804 года; уволен 22-го мая 1807 года; определен помощником экспедитора Кабинета Его Императорского Величества в Горную экспедицию 30 мая 1807 года; по Именному Высочайшему повелению 1807 года сентября 8-го, произведен в титулярные советники, со старшинством с 31-го декабря 1806 года, по Именному Высочайшему Указу произведен в коллежские асессоры 1-го июня 1811 года; уволен от службы 25 июля 1813 года; определен столоначальником в Инспекторский Департамент Военного Министерства 11-го марта 1815 года, при новом образовании Департамента, поступившего в состав Главного Штаба Его Императорского Величества, утвержден столоначальником 20-го марта 1816 года; Всемилостивейше пожалован орденом Св. Анны 3 степени 12-го декабря 1816, по определению Правительствующего Сената 20-го декабря 1818 года произведен в надворные Советники со старшинством с 15-го февраля 1818 года, а 10-го сентября 1821 года, по прошению его, Нарезного, уволен из Департамента за болезнью. В походах и сражениях против неприятеля не бывал <sup>1)</sup>).

<sup>1)</sup> Помещенные здесь сведения о службе Нарезного сообщены Г. начальником Общего Архива Главного Штаба С. Н. Перетерским.

## Хронологический перечень сочинений В. Нарезного

Сочинения, помещенные в журналах

1) «Приятное и полезное препровождение времени» (редакторы Подшивалов и Сохацкий) Москва, 1798, ч. XVIII:

*Сотворение Розы*, перев. с немецкого, стр. 104-110.

*Берега Алты*, стихотв., стр. 281-288.

*К Ариштию из Горация*, ода 22, кн. 1, стр. 319.

*К другу моему*, стих. стр. 333-335.

Ibid. ч. XIX

*Освобожденная Москва*, стих., стр. 33-45.

Ibid. ч. XX

*Рогвольд*, стр. 353-364, **тоже** [то же?] 369-375.

*Песнь Владимиру киевских баянов*, стр. 378-388.

2) «Иппокрена, или Утехи любословия», 1799 г. (редакт. Сохацкий), часть I:

*Римская ревность*, стр. 401-415, 417-426.

*Снежинка*, басня, стр. 427.

Часть II (1799):

*Мстящие Евреи*, стр. 17-27; 33-43; 49-56.

*Розы*, басня, стр. 56.

*Дуб*, басня, стр. 58.

Ibid. «Иппокрена» и пр. [!] 1800, часть VII:

*Кровавая ночь*, или **Конечное падение дому Кадмова** [исправляю] (театральное действие), стр. 161-172.

3) «Цветник» 1810 (редакт.: А. Измайлов и П. Никольский):

№ 2: *Георгий и Елена* (повесть)

№ 7: *Анастасия* (повесть)

4) «Соревнователь просвещения и благотворения»:

1818 г. №№ XI и XII: *Любослав* (повесть).

1819 г. № VII: *Александр* (повесть).

# Сочинения В. Нарезного, вышедшие отдельными изданиями:

- 1) *Димитрий Самозванец*. Трагедия в пяти действиях. Сочинение В. Нарезного 1800 года. Москва, изд. 1804<sup>1)</sup>.
  - <sup>1)</sup> Ibid. Москва, изд. 1830 года.
- 2) *Славенские вечера*. Книжка первая. СПб. 1809. (С посвящением П. А. Буцкому)
- 3) *Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова*. СПб. 1814. Роман в шести частях. (Из них три последние были приостановлены цензурой в 1824 году.)
- 4) *Аристион, или Перевоспитание*. Справедливая повесть. 2 части. СПб. 1822. (С посвящ. Петру Александровичу Взметневу.)
- 5) Новые повести В. Нарезного. СПб. 1824 года. 3 части. (С посвящением К. Я. Командер):
  - ч. I: *Мария, Богатый бедняк*.
  - ч. II: *Невеста под замком, Турецкий суд, Заморский принц*.
  - ч. III: *Запорожец*.
- 6) *Бурсак*, малороссийская повесть. 4 части. Москва, 1824 года<sup>2)</sup>.
  - <sup>2)</sup> *Бурсак*, изд. 1860. Москва, в типографии В. Каткова.
  - Ibid. изд. Книжного Магазина «Нового Времени» СПб. 1881 и 1866 гг.
- 7) *Два Ивана, или Страсть к тяжбам*. 2 части. Москва, 1825, с портретом автора. Изд. Коммис. Имп. М. Унив. (С посв. Его Прв. *Ефодору Павловичу Вронченко*.) [в тексте было: *Ефодору Павловичу Вронченку*.]
- 8) *Славенские вечера*. 2 части. СПб. 1826.
- 9) *Черный год, или Горские князья*. Москва, 1829. Роман в четырех частях.
- 10) Романы и повести Василия Нарезного, СПб. 1835-1836 (в типогр. А Смирдина), в десяти частях:
  - I. *Бурсак*, часть первая.
  - II. Ibid. часть вторая.
  - III. *Два Ивана, или Страсть к тяжбам*, часть первая.
  - IV. Ibid. часть вторая.
  - V. *Аристион, или Перевоспитание*.
  - VI. *Черный год, или Горские князья*. части: первая и вторая.
  - VII. Ibid. части: третья и четвертая.
  - VIII. *Богатый бедняк и Запорожец*.
  - IX. *Мария, Невеста под замком*<sup>1)</sup>, *Турецкий суд, Заморский принц*.
  - X. *Славенские вечера*.Ibid. *Романы и повести Василия Нарезного*, изд. in 8° 1835-1836.
- 11) *Гаркуша, малороссийский разбойник*, неоконченный роман В. Нарезного, в рукописи (посмертное сочинение).